

ЖУРНАЛ «ЛЕХАИМ»

ИЮЛЬ 2010

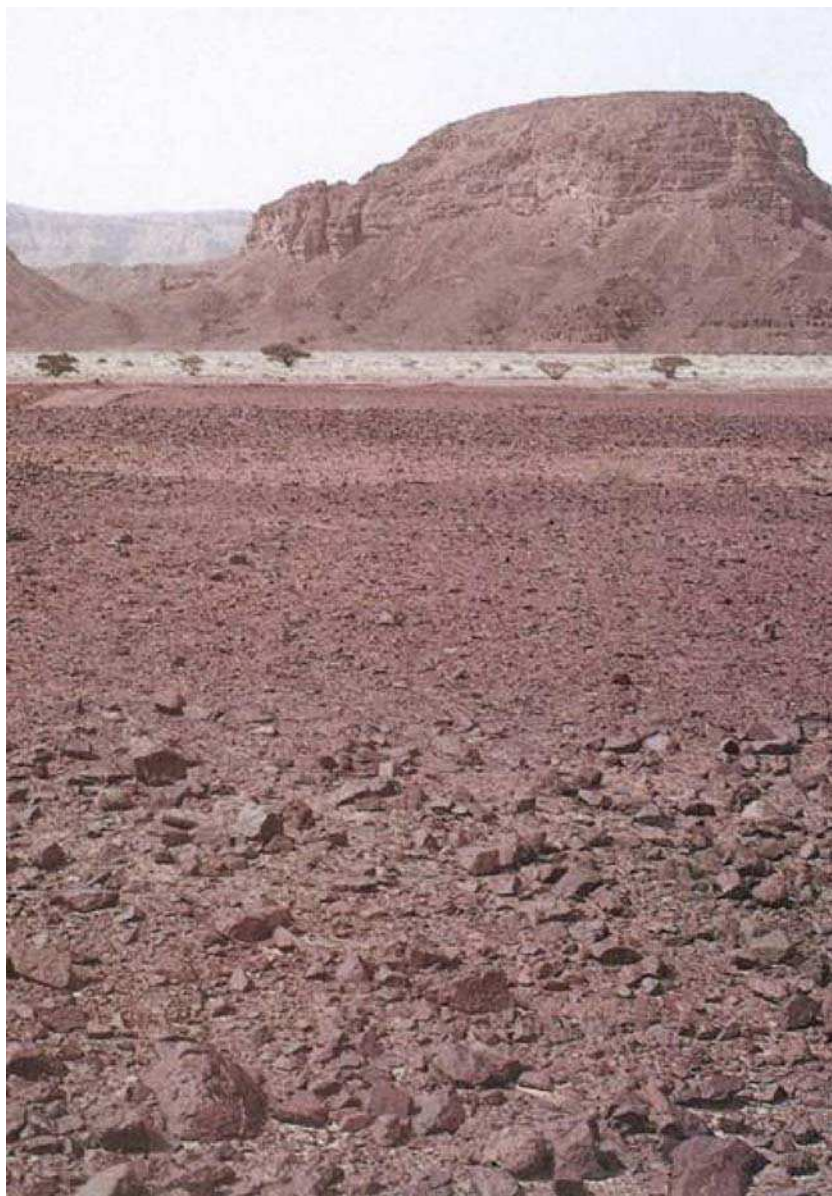
ТАМУЗ 5770

№ 7(219)

ЛЕХАИМ ИЮЛЬ 2010 ТАМУЗ 5770 – 7(219)

Сознание, определяющее бытие

לְיָהוָה אֱלֹהֵינוּ אֵין אֵילֹהִים אֲחֵרִים



Бесплодный ландшафт Тимны, место медных копей, которые использовались древними египтянами в XIV–XV веках до н. э. Копи разрабатывались также царем Шломо; добыча меди в этих местах была возобновлена израильтянами в современную эпоху и продолжалась вплоть до 1976 года, когда было признано, что дальнейшая разработка рудников нерентабельна

Анализ геохронологии

17 хешвана 5723 года (14 ноября 1962)

<...> Вы указали в начале Вашего письма, что всецело солидарны с целью моего письма, – а именно разрешить все сомнения по поводу того, противоречит ли наука заповедям Торы. Начну с двух предварительных замечаний.

а) Само собой разумеется, что я никоим образом не отвергаю науку или научные методы, – о чем прямо сказал в конце письма. Надеюсь, Вы не заподозрите меня в преуменьшении достижений науки, особенно в тех областях, где воззрения Торы согласуются с наукой даже больше, чем это утверждает сама наука; вот почему многие законы Алахи приводят к научным выводам (например, в медицине), придавая им характер объективной реальности.

б) Вам приписывают высказывание: дескать, раввинские проблемы можно обсуждать только с теми, кто изучает раввинизм, – также и рассмотрение научных проблем нужно оставлять тем, кто изучает науку. Не знаю, точно ли я цитирую, но игнорировать это замечание не намерен, поскольку согласен с ним.

Я изучал естественные науки в 1928–1932 годах в Берлине, в 1934–1938 годах – в Париже и с тех пор стараюсь следить за достижениями в научной области. Теперь перейдем к письму.

1) Конечно, я соглашусь, что ради обозначенной выше цели о научных теориях следует судить по стандартам и критериям, установленным в рамках самих научных методов. Этому принципу я следовал в своем письме, поэтому избегал ссылок на Писание.

2) Вы пишете, что аплодируете моему утверждению о том, что научные теории никогда не претендовали на окончательную истинность. Но я пошел еще дальше. Дело не в том, что наука не способна предложить конечную истину: современная наука сама для себя устанавливает пределы, утверждая, что ее выводы всегда будут «наиболее вероятными», но не окончательными; она рассуждает только в терминах «теорий». Таким образом, существует основополагающее концептуальное различие между современной наукой и науками XIX века: если в прошлом научные выводы почитались за «естественные законы» в узком смысле слова, то есть за однозначные и детерминированные, то современная наука уже не придерживается такого взгляда. Кроме того, этот взгляд противоречит концепции мира и познания мира (науки), содержащейся в Торе, – ведь идея чуда предполагает изменения в заведенном порядке вещей, а не свершение наименее вероятного события. Признание пределов науки, установленных самой наукой, способно отвести любые предположения о том, что наука может бросить вызов Торе.

3) Вы сетуете на несправедливые нападки на личную мотивацию ученых. Но в моем письме Вы таких нападков не обнаружите. Я намеренно ссылался на определенный круг ученых в конкретной области научных исследований – а именно на тех, кто создает гипотезы о событиях, случившихся тысячи лет назад. Это и эволюционная теория мира – гипотеза, ныне потерявшая актуальность, не только в высшей степени спекулятивная, но и не строго научная и внутренне противоречивая. Не имея твердого базиса, эти ученые, однако, отвергают любые другие объяснения (включая рассказ Торы): их мотивы я попытался проанализировать.

Я не обвиняю их в антирелигиозной предвзятости, тем более что некоторые из них, включая основоположников теории, были верующими. Я попытался объяснить, что их взгляды обусловлены обычным человеческим стремлением понять и получить результат. Кстати, у этого естественного стремления есть позитивные аспекты, и оно имеет основу в нашей религии: без стремления к конечному результату ничего не получится.

4) Ваше замечание о невозможности применения понятий «расщепление» (fission) и «синтез» (fusion) к химическим реакциям, разумеется, обосновано, и с ним я согласен. Полагаю, однако, что это не слишком повлияло на смысл сказанного: я дважды подчеркнул, что речь идет о химических реакциях. Несомненно, следовало бы использовать здесь понятия «соединение» и «разложение», хотя думается, что различная терминология в описании ядерных и химических реакций – вещь скорее условная, чем основополагающая. Тем не менее я буду придерживаться стандартной терминологии.

5) Вы ссылаетесь на мой тезис о том, что ученые знают очень мало о взаимодействии изолированных атомов и атомных частиц, и спрашиваете, какое это имеет отношение к теориям о возрасте Вселенной.

Тут следующая связь. Эволюционная теория, описывающая происхождение Солнечной системы и планеты Земля, откуда и выводится возраст Вселенной, предполагает (по крайней мере, это относится к большей части гипотез), что в начале существовали атомы и атомные частицы, которые потом стали уплотняться, объединяться и т. д.

Мне известно, что физические исследования в XX веке в основном были посвящены взаимодействию отдельных частиц – от атомов до самых элементарных из известных частиц. Но в 1931 году из атомных частиц были известны и исследовались лишь протоны и электроны. Пузырьковые камеры изобрели только в 1952 году, а ионно-полевой микроскоп (д-р Мюллер из Университета Пенсильвании?), способный проникнуть в сферу атомов и атомных частиц, – только в 1962 году.

Научное знание обогатилось с изобретением первого микроскопа, и у нас есть все основания полагать, что такой же прорыв произойдет благодаря ионно-полевому микроскопу (хотя ему предшествовал электронный). Вряд ли мы ошибемся, предположив, что наши знания в области нуклеоники, полученные за несколько прошедших десятилетий, крайне малы в сравнении с тем, что мы узнаем в будущем.

6) Вы не согласны с моим утверждением, что условия атмосферного давления, температуры, радиоактивности, вероятно, сильно различались на ранних этапах (эта мысль характерна для некоторых современных эволюционистов), и говорите, что эти условия были в основном воссозданы в лаборатории или наблюдаются в природных явлениях. Здесь, при всем уважении, у меня другое мнение, и думаю, что изучение источников его подтвердит.

7) Вы утверждаете: не существует свидетельств того, что всякий радиоактивный элемент порождает катаклизм, и дальше пишете, будто в моем письме нет четкого разделения между космогонией и геохронологией.

Такого различия я не делаю потому, что оно не имеет отношения к нашей дискуссии. Я писал о том, как теория эволюции противоречит рассказу о Творении в Торе. Согласно Торе, сотворение Вселенной, включая Землю и Солнце, произошло ex nihilo.

Теория же эволюции предлагает другое объяснение. Рассматривая эту теорию, я имел в виду, что сила всей цепочки измеряется по ее слабому звену, и попытался указать несколько самых слабых звеньев в обеих областях – космологии и геохронологии. Что касается геологии, тех изменений и смещений, которые могли происходить в эпоху, когда вся Вселенная находилась в состоянии сильнейшей атомной нестабильности, соударяющихся миров, нельзя исключать изменений-катаклизмов. Такие ядерные реакции породили бы изменения, которые не поддаются никаким эволюционным расчетам.

Подобным образом в эволюции растительного, животного мира и жизни человека на Земле радиоактивные процессы такого размаха породили бы неожиданные изменения и трансмутации, которые в обычном случае продолжались бы в течение длительного промежутка времени.

8) Наконец, Вы утверждаете, что решающий момент применительно к геохронологии – существование объектов и геологических слоев над и под поверхностью земли; именно это создает как бы физически наблюдаемые часы. Но я уже указывал, что такие критерии применимы только к настоящему и будущему, но ни в научном плане, ни логически не могут применяться к миру в его исходном состоянии.

Для иллюстрации возьмем радиоуглеродный анализ. Этот метод основан на предположении о том, что интенсивность космического излучения остается постоянной в течение всего рассматриваемого периода и по распаду ^{14}C определяется датировка. Но в этом критерии есть, по крайней мере, один изъян. Этот критерий предполагает, что сила экранирования (плотность и пр.) постоянна. Эволюционная же теория построена на предпосылке о самых радикальных изменениях.

Кстати, в последние годы в Южной Африке обнаружен такой хаос в геологических слоях, что это противоречит всем известным геологическим теориям. На эту тему были публикации, но у меня нет под рукой прессы, так что точнее сказать не могу. Если захотите продолжить дискуссию, пишите мне без колебаний...

НАШ ПУТЬ – СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ

Ааде Ёацад

В прошлой нашей беседе речь шла о связи между молитвой и выполнением заповеди любви к ближнему. По существу, когда мы любим ближнего, мы тем самым делаем хорошо самим себе. Прежде всего потому, что любовь – прекрасное чувство: когда мы полны любви, когда отстраняем от себя негатив, злые мысли, мы чувствуем себя счастливыми. Вроде бы каждый должен стремиться любить ближнего. Но на деле это получается не у многих. Возникает вопрос: почему?

Чтобы найти ответ, надо разобраться, что мешает человеку любить ближнего. Ни один человек не скажет: «Я не люблю ближнего, хотя он хороший человек». Тем более ни одному человеку в голову не придет сказать: «Я не люблю ближнего, потому что я плохой». Практически каждый уверен, что именно он-то и любит ближнего. Даже люди, которые совершают жестокие действия, прибегают к насилию, часто убеждены, что действуют «во благо». Жестокий отец говорит, что поднимает руку на ребенка, «чтобы тот слушался», – и уверен, что детям такое «воспитание» на пользу. Я уж не стану говорить о политических деятелях радикального толка, убежденных, что цель оправдывает средства и можно построить счастье людей на костях других людей. В XX веке нашей стране, к сожалению, пришлось пережить большие горести и принести много жертв на алтарь «любви к простому человеку», которой гордился коммунистический режим.

В общем, кого ни спроси, все верят в то, что любят ближнего. Но в Торе сказано не просто «возлюби ближнего»: сказано «возлюби ближнего как самого себя». А что это значит – «как себя»? Как можно вообще любить другого человека «как себя»?

С точки зрения еврейской морали человек должен любить себя, это естественное его состояние. При этом человеку свойственно любить себя даже без особых причин! В Вавилонском Талмуде сказано: «Человек близок к самому себе, и нет человека, который сочтет себя злодеем». На первый взгляд эта мысль не слишком согласуется с нашими представлениями о том, что есть поступки хорошие и плохие, и человек часто совершает плохие поступки сознательно, а не просто «по недомыслию». На самом деле каждый человек всегда объяснит себе причины своих поступков в благожелательном духе, какими бы неправильными, плохими и даже отвратительными эти поступки ни были на самом деле. У каждого человека есть негативные стороны, у каждого есть негативные проявления. Но самому себе человек склонен прощать: просто потому, что он «близок к самому себе».

Очевидно, что принцип «люби ближнего как самого себя» – очень трудная для соблюдения заповедь. Возможно, даже самая трудная. Мудрецы Талмуда учат: «Суди ближнего своего только в хорошую сторону». Даже если ты убежден, что ближний поступил неправильно, ты должен найти оправдание: судить его точно так же, как судишь собственные поступки. Только так можно полюбить другого человека – не только те его черты, которые нравятся, но и его негативные стороны. «Да, я понимаю, что имярек иногда поступает плохо, и последствия этих его поступков отражаются на мне – но я все равно его люблю» – вот что значит по-настоящему выполнять заповедь любви к

ближнему. Это очень сложно, но только когда мы можем любить так сами, мы вправе просить Б-га любить нас, несмотря на то, что мы несовершенны, что в нас самих есть негативные стороны...

Вспомним историю про хасидского праведника по имени Мордехай Дубин. Однажды зимой его арестовали по ложному доносу, но потом, разобравшись, выпустили. Дело было в субботу: Мордехай опасался, что его заставят нарушить какую-нибудь из субботних заповедей, поэтому ждал в участке до вечера. Когда наконец он вышел на улицу, было уже темно, общественные места закрылись, люди от холода все попрятались по домам. Несчастный Мордехай Дубин пытался найти дом, где живут евреи, которые могли бы приютить его на ночь, но даже не у кого было спросить. Он долго бродил по заснеженным улицам и очень замерз. Наконец увидел дом, у двери которого прибита мезуза. Но время уже совсем позднее, ни одно окно в доме не освещено: жильцы явно легли спать. Мордехай долго стучал в дверь – никто не отзывался. Скоро холод его совсем пробрал, он почувствовал, что еще немного, и он просто сядет под дверью, закроет глаза и заснет до самого Б-жьего суда...

Что же за чудо его спасло? Сам Мордехай Дубин потом рассказывал: «Когда сил совсем не осталось, когда я уже смирился с тем, что замерзну на улице, мне пришла в голову такая мысль: а что будет с тем евреем, который завтра утром выйдет за порог и увидит на своем крыльце мое мертвое тело?! Да он, несчастный, всю жизнь переживать будет, что не услышал и не открыл дверь! Не дай Б-г, с ним самим еще что-нибудь случится от переживаний! Нет, я уж лучше через силу встану и продолжу стучать. Стучал-стучал – и в конце концов хозяин проснулся и впустил меня».

Вот это наш путь – спасение через любовь. Если бы этот человек думал только о себе, его бы ничего не спасло. И если бы он любил ближнего «как все», а не «как самого себя» – он тоже наверняка замерз бы под чужими воротами. Спасение пришло только потому, что человек оказался способен полностью сосредоточиться на интересах ближнего – того ближнего, которого он до сих пор и не знал... Он действительно возлюбил ближнего, как самого себя, – и Б-г тут же послал спасение.

ЧЕЛОВЕК, ДОСТОЙНЫЙ ПОЛУЧИТЬ ТОРУ

Аָאָוִי עֵעֵ עֵאָאָוִי

Еврейский месяц ав обычно воспринимается сквозь призму трагических событий 9 ава, когда – с перерывом в несколько столетий – были разрушены Первый и Второй храмы. Однако применительно к месяцу ав весьма справедливо известное изречение: Всевышний не посылает болезнь, не приготовив прежде лекарства. Итак, Храм был сожжен девятого числа. А 1 ава, как принято считать по традиции, произошло событие, судьбоносное для дальнейшего существования еврейского народа: в Иерусалим из Вавилонии прибыла группа переселенцев, возглавляемая книжником Эзрой.



Коев в облачении. Иллюстрация из книги Йоханнеса Браниуса. Амстердам. 1698 год

К тому моменту, когда Эзра принял решение о репатриации, в Иудее уже существовала довольно многочисленная община евреев, вернувшихся из Вавилонии в соответствии с указом первого персидского царя Кира. Переселенцам даже удалось, вопреки противодействию местных язычников и самаритян, отстроить Храм, сожженный Навуходоносором, и возобновить регулярные жертвоприношения. И тем не менее, народ ощущал, что находится в духовном тупике.

В библейскую эпоху иудаизм в непосредственном смысле слова был религией Откровения. Пророки, духовные лидеры народа, «напрямую» получали свыше необходимую информацию. Пророки предсказывали будущее, укрепляли веру людей чудесами (подобно Элияу на горе Кармель, где тот публично посрамил жрецов Баала), побуждали грешников к раскаянию (подобно Натану в истории Давида и Бат-Шевы), помогали народу правильно определить религиозные приоритеты, объяснив, к примеру,

что соблюдать заповеди по отношению к ближним гораздо важнее, чем совершать жертвоприношения и выполнять прочие ритуалы.

Первых «репатриантов», вернувшихся в Иудею вместе с Зерубавелем^[1], также сопровождали пророки. Однако в этот период в духовной структуре мира произошли какие-то изменения. Поэтому, как утверждает Талмуд, со смертью последних библейских пророков – Зхарьи, Хагая и Малахи – пророчество в Израиле прекратилось. Из-за этого возникла острая необходимость в «реконструкции» религиозной жизни, а главное – в новых духовных лидерах, которые направляли бы народ в отсутствие явного Откровения.

В отсутствие пророчества сама логика выдвигала на первое место Храм и его служителей – священников (коаним) и особенно первосвященника. И действительно, во времена Второго храма, по сравнению с эпохой Танаха, роль священства значительно возросла, а в годы правления Хасмонеев первосвященники стали не только религиозными, но и политическими лидерами еврейского народа. Однако «священническая модель» таила несколько опасностей. Во-первых, право служить в Храме имели только коены – потомки первосвященника Аарона. В соответствии с подобной религиозной моделью народ неизбежно разделится бы на небольшую наследственную религиозную элиту и многочисленных мирян, лишенных возможности войти в число «избранных». Во-вторых, если в эпоху Танаха все евреи жили в Земле Израиля, то во времена Второго храма большая часть людей проживала в различных общинах диаспоры (Вавилонии, Египте, Северной Африке, Италии...). В ту пору лишь немногим удавалось посетить Иерусалим чаще одного-двух раз за всю жизнь, для большинства совершить даже одно паломничество в Храм казалось совершенно неисполнимым предприятием. Поэтому, чтобы евреи диаспоры не утратили связь с иудаизмом, нужна была какая-либо религиозная модель, не слишком соотносимая со святилищем. И наконец, главное: духовный авторитет коаним был связан почти исключительно с их служением в Храме. Значит, если бы «священническая модель» оказалась единственной или даже основной, то после разрушения Второго храма еврейский народ вновь остался бы без духовного руководства, что почти неизбежно привело бы к ассимиляции.

Книжник Эзра ни в коей мере не покушался на статус Храма и коенов. Напротив, еще обсуждая с персидским царем свои полномочия, он добился освобождения священников от налогов, а также «выбил» из казны значительные средства на нужды святилища, что было подтверждено специальным царским указом:

Î ò ì áíý, òàðý Áððàéííðéíü, ääàòüü ìíáéáíéá äíüí ìéðíáéüáððáíéòáéýì, éíòíðüá çà ðáéíð: äíü, ÷äü ìíòðááüò ó äáñ Áçäðà-íüýüáííéé, ó-éòáéü çáéííá Á-äí íáááñ íá, íáí äáéáíí ääáéòá ìíðáððà äí ìòà òáéáííóíá, è íòáíéüü äí ìòà éíðíá è áéíá äí ìòà äáòíá, è äí ìòà æá äáòíá ì äíüá, à ìéé äáç íáíçíá-áíéý éíéé-áíòáá Áíü ÷òí ííáéáíí Á-äíí íáááñ üí, äíéáíí äáéòüüü ì òüáíéáí äéý äíí à Á-äí íáááñ íá [ìí íòðéòá ÷òíáú éòí íá íðííòáð ðééé íá äíí Á-äí íáááñ íá]; ääáú íá áúéí äí äáá Áä íá òáðíòáí, òàðý è ìíííáé äí.

^[1] Зерубавель (ок. 570 – после 521 года до н. э.) – сын Шалтиэля и внук Йеояина, предпоследнего царя Иудеи, изгнанного в 597 году до н. э. в Вавилонию и, согласно традиции, ставшего первым экилархом. Само имя Зерубавель – аккадское и означает «семя Вавилоня». Завоевав в 538 году до н. э. Вавилон, персидский царь Кир II опубликовал указ, согласно которому евреи могли вернуться на свою родину из изгнания. Вернулись лишь 42 360 евреев в сопровождении 7337 рабов и рабынь. Во главе репатриантов встали Зерубавель и Йеошуа бен Йеоцадак, внук Сераи, последнего первосвященника Первого храма. Прибыв в Иудею, изгнанники восстановили и заселили часть ее разрушенных городов, и Зерубавель стал первым сатрапом персидской провинции Яхуд. Зерубавель и Йеошуа восстановили жертвенник, начали строить Второй храм и приносить жертвы. Видимо, позднее между Зерубавелем и Йеошуа произошел разлад, и пророк Зхарья пытался помирить их. В 521 году до н. э. на персидский престол вззошел царь Дарий I. Боясь влияния Зерубавеля и опасаясь, чтобы тот не провозгласил себя царем, Дарий отозвал его назад в Вавилонию. После Зерубавеля функции сатрапов в Иудее стали выполнять первосвященники Иерусалимского Храма. Значение Зерубавеля состоит в том, что он был первым еврейским (пусть даже и зависимым) правителем после разрушения Первого храма. – *Примеч. ред.*

*È àààì ààì çìàòü ÷òíáú íè íà èíã èç ñáýüáííèéíá èèè èáàèòíá íáàòíá
íðèáàòíèéíá íáðèíáàè è ñéæáùèò ìðè ýòíì áíì á Á-æèàì, íá íàèáàòüíè è ííáàðè,
íè íàèíáì, íè ííòèèíú*

(Ýòðà 7:21-24)

Однако параллельно он, вместе с несколькими единомышленниками, провел ряд важнейших реформ, благодаря которым возникла новая религиозная модель, независимая от Храма.

Прежде всего Эзра, согласно Талмуду, постановил, что трижды в неделю – в субботу, понедельник и четверг – во всех еврейских общинах будут публично читать Тору (Бава кама, 82а). Эти дни были выбраны не случайно... Суббота – день покоя, когда евреи не заняты работой, торговлей или домашними делами, и, значит, у них есть время послушать Тору. А понедельник и четверг были в то время рыночными днями, когда жители мелких селений, не имевшие своих свитков Торы, собирались в ближайшем городе и могли пойти в местную синагогу.

Согласно Талмуду, первоначально Тора была записана древним кнаанским письмом (его образец можно увидеть на некоторых монетах достоинством в шекель). Однако ко времени Эзры почти никто уже не мог разбирать эти буквы. Поэтому Эзра переписал Тору привычным нам арамейским шрифтом (Сангедрин, 21а). Кроме того, Эзра и его единомышленники тщательно выверили и отредактировали текст Торы, а также записали несколько книг, вошедших впоследствии в Танах: книги Эзры и Нехемьи, книгу пророка Йехезкеля, 12 книг «Малых пророков», а кроме того, книги Даниэля и Эстер (Бава кама, 15а).

Еще одно нововведение Эзры и его единомышленников касалось еврейской литургии. Во времена Танаха не существовало общепринятых еврейских молитв: просьбу ко Всевышнему или благодарность Ему излагали своими словами. Однако когда евреи вернулись на родину после семидесяти лет изгнания, Эзра вместе с Мужами Великого Собрания создал стандартный текст ежедневной молитвы. Изначально он включал 18 благословений, поэтому получил название «Шмоне эсре» («Восемнадцать»; другое название этой молитвы – «амида» [«стояние»], поскольку ее следует читать стоя).

Первоначально обязательных молитв было две, утренняя и дневная, – в соответствии с двумя обязательными храмовыми приношениями. Кроме того, в память о работах, которые делали в Храме вечером, была установлена третья молитва, вечерняя, со временем тоже ставшая обязательной. В субботы, новомесячья и праздники, когда в Храме совершались дополнительные жертвоприношения, были установлены также и дополнительные молитвы (Брахот, 26б).

Эти реформы Эзры определили дальнейшую судьбу еврейского народа. Во-первых, со временем они привели к появлению принципиально новых религиозных центров – синагог, где собирались евреи, чтобы послушать чтение Торы и обязательные молитвы. (Поскольку молитвенников в те времена не было, молитвы читали наизусть, что для большинства людей представляло непреодолимые трудности. Поэтому один человек читал вслух, а другие собравшиеся слушали и отвечали «Амен».) В отличие от Храма, синагогу можно было строить в любом месте. А во-вторых, повсеместное изучение Торы привело к появлению новой религиозной элиты – мудрецов – знатоков Торы (хахамим). Причем, в отличие от священства, доступ в эту элиту был открыт всем, независимо от происхождения и социального положения.

До 70 года н. э. Храм, синагога и дом учения существовали параллельно, дополняя и поддерживая друг друга. Однако после разрушения Храма именно институты, возникшие благодаря реформам Эзры, обеспечили сохранение еврейского народа, позволив ему пережить трагедию 9 ава.

НЕ БЫЛО ПРАЗДНИКОВ У ИЗРАИЛЯ, ПОДОБНЫХ ПЯТНАДЦАТОМУ АВА

Àëàèíá àð Ýéüèéí

Праздник 15 ава возник в эпоху Второго храма, когда в годы правления Нехемьи было принято решение регулярно доставлять в храм дрова для жертвенника: «И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена, из года в год, привозить их к дому Б-га нашего, чтоб они горели на жертвеннике Г-спода, Б-га нашего, по написанному в законе» (Нехемья, 10:35). Эти дрова доставляли в Храм девятью партиями, в строго установленные сроки. Первую партию приносили в Храм 1 нисана, а последнюю – 15 ава (Мишна Таанит, 4:5). В этот день и был установлен праздник, который Иосиф Флавий называл «праздником ношения дров»^{2[1]}.



Согласно Мишне, доставка дров в святилище была мужским делом. Однако 15 ава стало праздником женщин, точнее, незамужних девушек, вышедших в этот день танцевать в виноградниках в своих лучших одеждах:

Сказал раббан Шимон бен Гамлиэль: не было праздников у Израиля, подобных пятнадцатому ава и Йом Кипуру, когда дочери иерусалимские выходят в белых одеждах, которые они одалживают, чтобы не вводить в смущение тех, у кого их нет. Каждую одежду обязаны окунуть в микве. Итак, дочери иерусалимские выходят и танцуют в виноградниках. И что они говорили? Юноша, подними глаза свои и посмотри – кого выберешь ты себе? Не засматривайся на красоту – обрати внимание на семью.

(I èøíà Øààíèò, 4:8)

Некоторые исследователи полагают, что этот обычай возник в связи с тем, что 15 ава в Палестине начинался сбор винограда, который заканчивался накануне Судного дня. Однако мудрецы Талмуда предложили несколько других объяснений.

Наиболее интересное объяснение принадлежит, на наш взгляд, Рабе бар Бар-Хане (Вавилонский Талмуд, Бава батра, 121б): по его мнению, во времена Судей именно 15 ава мужчинам из колена Биньямина разрешили взять себе жен из других колен Израиля. Напомним, о чем идет речь. После того как жители города Гива, расположенного в уделе Биньямина, жестоко надругались над наложницей некоего проезжего левита, прочие колена объявили им войну. Сначала удача сопутствовала Биньямину, чья армия одержала две победы. Однако в третьей, решающей битве объединенные силы 11 колен нанесли ему сокрушительное поражение и, перебив всех женщин колена Биньямина, собрались в Масифе и торжественно поклялись: «Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Биньямина в замужество» (Шофтим, 21:1).

Это угрожало тем, что одно из колен Израиля полностью вымрет. Однако евреи одумались (по мнению рава Йеуды, это произошло 15 ава) и даже нашли возможность решить проблему, не нарушая формально всенародной клятвы:

И сказали старейшины общества: что нам делать с оставшимися – касательно жен, ибо истреблены женичины у Биньямина? И сказали: наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Биньямина, чтобы не исчезло колено от Израиля; но мы не можем дать им жен из дочерей наших; ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Биньямину. И сказали: вот, каждый год бывает праздник Г-сподень в Шиломе, который на север от Вефиля и на восток от дороги, ведущей от Бейт-Эля в Шхем, и на юг от Левоны. И приказали сынам Биньямина и сказали: пойдите и засядьте в виноградниках (Вавилонский Талмуд, Таанит, 30б) и смотрите, когда выйдут девицы шиломские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждый жену из девиц шиломских и идите в землю Биньяминову; и когда придут отцы их или братья их с жалобой к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне и вы не дали им; теперь вы виновны. Сыны Биньямина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли и возвратились в удел свой, и построили города и стали жить в них.

(Oíòòèì, 21: 16-23)

Казалось бы, это объяснение настолько соответствует описанным в Мишне обычаям 15 ава, что на этом можно было бы остановиться. Мудрецы, однако, предложили еще несколько вариантов.

По мнению рава Йеуды, 15 ава Моше официально разрешил евреям брать жен из других колен. Произошло это, как он полагал, при следующих обстоятельствах. Приняв решение о том, что дочери умершего отца наследуют его родовой удел, Моше одновременно запретил им выходить замуж за представителей не своего колена: «И каждая дочь, наследующая владение из каких бы то ни было колен Израиля, кому-либо из рода отчего колена ее должна стать женою, – ради того, чтобы каждый из сынов Израиля получал в наследство владение своих отцов. И не будет переходить владение от колена к другому колону, так как к своему владению прилепится каждое из колен сынов Израиля» (Бемидбар, 36:8-9). Этот закон предваряется словами: «Сказано там же (Бемидбар, 36:6): “Вот что повелел Г-сподь дочерям Целофхада” (девушкам, получившим удел своего умершего отца)». Из этого рав Йеуда сделал вывод, что одновременно Моше разрешил

всем остальным женщинам выходить замуж за евреев из других колен (Вавилонский Талмуд, Бава батра, 121б).

Гипотезы других мудрецов и вовсе не связаны с темой отношений полов. Так, по мнению рава Дими бар Йосефа, в последний год странствования по пустыне к 15 ава умерли последние выходцы из Египта и народ Израиля получил право войти в Страну Израиля (Вавилонский Талмуд, Бава батра, 121б).

По легенде, в течение всего времени, пока сыны Израиля были обречены находиться в пустыне, в каждый канун 9 ава Моше-рабейну отдавал приказ объявить в стане: «Идите копать!» – и все выходили, выкапывали себе могилы и на ночь ложились спать в них. Назавтра утром раздавался призыв: «Отделитесь, живые, от мертвых!» – люди вставали и обнаруживали, что 15 тыс. оставались лежать в могилах. В 40 году после исхода из Египта тоже сделали так, однако тогда из могил встали все. Многие заподозрили, что в отсчете дней месяца допустили ошибку, и, чтобы избавиться от сомнений, каждую ночь, вплоть до ночи на 15 ава, все ложились спать в могилах. Увидев же, что настало полнолуние, но никто не умер, поняли: счет дней был правильным и приговор Всевышнего исполнен полностью.

По мнению рава Уллы, 15 ава последний царь Северного царства Ошеа бен Эла убрал заставы, поставленные на дорогах, ведущих в Иерусалим, первым царем Израиля Иеровоамом, дабы его подданные не совершали паломничество в Иерусалим, оставшийся после раскола столицей Южного царства, Иудеи (Вавилонский Талмуд, Бава батра, 121б). Благодаря этому его подданные впервые за много десятилетий получили возможность безбоязненно и легально посетить Храм, построенный царем Шломо. Впрочем, этот запоздалый всплеск благочестия не спас Северное царство: на девятый год правления Ошеа столица Израиля Шомрон была взята войсками ассирийского царя Саргона, который сровнял город с землей и переселил уцелевших жителей в другие провинции империи.

Наконец, по мнению рава Матены, праздник 15 ава был установлен в память о событии, случившемся уже после разрушения Храма. По легенде, император Адриан, подавив восстание Бар-Кохбы и взяв последний оплот повстанцев – крепость Бейтар, запретил евреям хоронить погибших и даже повелел разбить обширный виноградник и соорудить вокруг него ограду из тел убитых повстанцев. И лишь после смерти Адриана евреям было дозволено предать погибших земле. А произошло это, по мнению рава Матены, 15 ава (Вавилонский Талмуд, Бава батра, 121б).

Согласно Мишне, падение Бейтара стало одним из пяти трагических событий, постигших еврейский народ 9 ава (Мишна Таанит, 4:6). Таким образом, гипотеза рава Матены связывает воедино две главные даты этого летнего месяца.

Впрочем, эта связь незримо присутствует и во всех других объяснениях. Соответственно Талмуду, Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. Напротив, все события, которые, по мнению мудрецов, произошли 15 ава, свидетельствуют о любви и единстве. Говоря языком каббалы, 15 ава – своего рода «исправление» предшествующей трагической даты.

Поэтому кажется несправедливым, что сегодня нет каких-либо религиозных обычаев и ритуалов, непосредственно связанных с этой датой. Тем более что, на наш взгляд, 15 ава – не только израильский ответ на День святого Валентина и смысл этого праздника гораздо шире.

ЦАРСТВЕННОСТЬ БЕЗ КОРОНЫ

Ī eōāyēü Ēāḏā-Ēāāī Īā

И сегодня в проблемах освоения Страны Израиля угадывается древний грех разведчиков, оболгавших Святую землю (подробно об этом см.: Бемидбар, 13-14). Не случайно нас называют «народом Книги», ведь всю нашу жизнь, с ее иллюзиями и срывами, мы рассматриваем в свете событий, изложенных в Танахе. И подобно тому как след золотого тельца виден в каждом еврейском грехе, так и неправильное отношение к Земле Израиля со времен посланных из пустыни разведчиков – источник множества несчастий, пережитых и переживаемых еврейским народом с тех давних пор.



Возвращение разведчиков из Земли обетованной.
Гравюра Гюстава Доре. 1865 год

...Обратимся к тексту Торы. Моше послал двенадцать разведчиков, представлявших все колена Израиля, чтобы они сообщили народу, насколько хороша Земля обетованная. Как известно, закончилось это трагедией. Большинство разведчиков стали запугивать народ Израиля трудностями предстоящей борьбы и не советовали ему входить в «землю семи народов». Всевышний вынес евреям суровый приговор, согласно

которому все поколение Исхода погибнет в ходе сорокалетних скитаний по пустыне, а в Землю обетованную войдут лишь дети вышедших из Египта.

Но нас интересует сейчас то, что произошло сразу же после вынесения этого приговора. Моше сурово осуждает евреев, которые, несмотря на наказание и вердикт, по которому им предстояло провести в пустыне последующее сорокалетие, пытались прорваться в Страну Израиля без разрешения Всевышнего. «Почему вы преступаете веление Г-спода, ведь это не будет успешным!» – говорит он евреям (Бемидбар, 14:41). На иврите последние слова этой фразы звучат следующим образом: «ве-ги ло тицлах», то есть буквально «она («это») не преуспеет». Раши (1040–1105), известнейший комментатор Писания, комментируя слово «ги», поясняет: «То, что вы делаете, не преуспеет». Другой комментатор Писания, рав Авраам Ибн-Эзра (1089–1164), предлагает два объяснения этому слову: подъем на гору или действие, направленное против воли Всевышнего и Моше, не увенчается успехом.

Попытка прорваться в Страну Израиля после вынесения Всевышним вердикта о сорокалетнем скитании в пустыне была, видимо, предпринята большинством народа. И действительно, из текста следует, что к числу маапилим, то есть прорывавшихся, принадлежали почти все, кроме Моше и небольшой группы людей, находившихся вместе с ним вокруг скинии Завета. История спора Всевышнего и Моше, с одной стороны, и возжелавшим прорваться в Землю обетованную большинством евреев – с другой, привлекает внимание многих комментаторов.

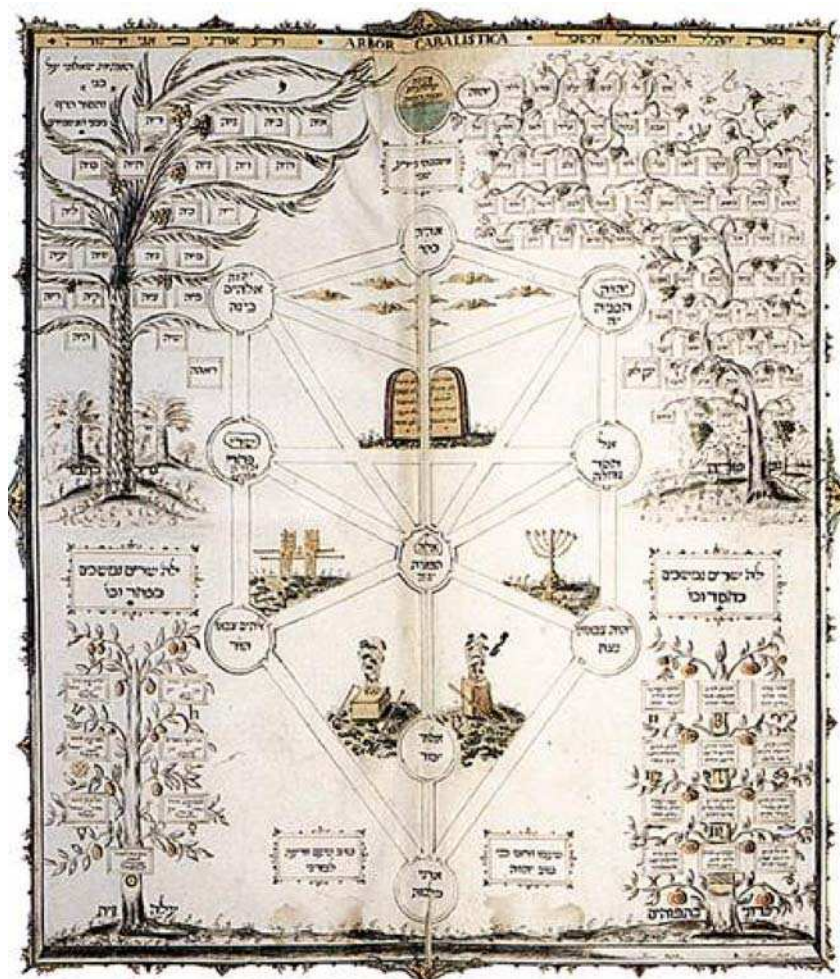
Обсудим комментарий хасидского цадика раввина Цадока а-Коена из Люблина (1823–1900). В своей книге «Цидкат а-цадик», гл. 46, он задает вопрос в «талмудическом» стиле. Ведь общеизвестно, что поколение вышедших из Египта стояло на очень высокой духовной ступени (вспомним, что эти люди были свидетелями египетских казней, рассечения Красного моря и дарования Торы на горе Синай!). И как же осмелилось это поколение на то, чтобы «фронтально» противостоять Всевышнему и Моше?! Свой ответ, представляющий собой апологию маапилим, рав Цадок основывает на известном законе мудрецов: «Все, что говорит тебе хозяин дома, ты обязан делать, кроме одного – когда он говорит: выходи!» Простой смысл этого высказывания мудрецов такой: хозяин дома вправе пересадить гостя в другое место в доме, может предложить ему заняться тем или иным делом. Однако полномочия хозяина имеют границу: выгнать гостя он не вправе.

Это бытовое постановление мудрецов рав Цадок трактует во «вселенском» масштабе: Всевышний – хозяин этого мира, люди – гости в Его мире, а евреи – особые гости, приглашенные жить во «дворце» Г-спода – Стране Израиля. Если Всевышний следует Собственным законам, то Он не может выгнать нас из Своего дома.

Итак, апология еврейского большинства строится примерно следующим образом: хотя сегодня Сам Всевышний против «прорыва» в Святую землю, все же завтра он задним числом согласится с евреями. Разумеется, пишет рав Цадок, действия «прорывающихся» можно назвать только дерзкими. Развивая эту теорию далее, он цитирует еще одно знаменитое изречение мудрецов (Сангедрин, 105): «Дерзость – это царственность без короны». Обычное понимание этой фразы в чем-то сродни известной русской поговорке: «Смелость города берет». Разумеется, сравнив два этих высказывания, я сделал упор на начало: «Дерзость – это царственность». Вторая часть высказывания содержит элемент критики дерзких людей: хотя им многое удастся, все же это, как правило, несанкционированный, неправильный успех. Однако рав Цадок предлагает свое объяснение этого высказывания мудрецов, основанное на каббалистическом учении о сфирот.

Для этого рав Цадок расшифровывает высказывание о дерзости с помощью каббалистической терминологии. «Царственность» – это не что иное, как сфера Малхут, отождествляемая с Общиной Израиля (Кнессет Исраэль). «Корона», названная в этом месте Талмуда словом «тага», – это высочайшая сфера Кетер («Венец»), часто отождествляемая с непознаваемой волей Всевышнего. И при таком прочтении изречение мудрецов звучит следующим образом: дерзость (прорывающихся) – это проявление царственности, лишённое воли Всевышнего.

Книга Зоар, главный каббалистический труд, неоднократно подчеркивает, что залог успеха в любом серьезном деле – это единство и гармония Б-жественных сфирот. С одной стороны, ясно, что маапилим не смогут достигнуть полного успеха из-за того, что есть разрыв в гармонии и единстве сфирот. С другой стороны, в комментарии рава Цадока отчетливо просматривается апология Общины Израиля. Из преступного сообщества упрямцев-нарушителей маапилим превращаются в представителей Царственности. Подобно всей общине сынов Израиля, маапилим (хотя бы частично) правы даже в своих ошибках.



Десять сфирот. Копия иллюстрации из манускрипта каббалиста Авраама-Коена де Эррера.

1675 год

Вернемся к раву Цадоку. Наш центральный стих «это не будет успешным» рав Цадок предлагает понимать так: «Да, в этот раз ваши действия не увенчаются успехом. Зато в следующий раз увенчаются. И когда этот следующий раз наступит? Во времена прихода Мессии!» Иначе говоря, аналогичное дерзание евреев в мессианскую или

предмессианскую эпоху будет успешным. И мы видим, что комментарий рава Цадока внушает надежду: разрыв между сфирой Царственности (решением Общины сынов Израиля) и сфирой Кетер («Венец», непознаваемая воля Всевышнего) не вечен и не доходит до уровня того, что каббалисты считают тяжелейшим грехом. Наступит время, когда воля Всевышнего присоединится к воле сынов Израиля.

Мне же остается только спросить: наступило ли это время уже теперь? Что еще предстоит испытать многострадальному народу Израиля до того, чтобы он окончательно соединился с волей Всевышнего? Обещанное нам в конце времен «Единство Имени Творца», понимаемое как гармоничное слияние Б-жественных сфирот, не статический, раз и навсегда достигнутый результат и установленный факт. Несмотря на множественность сил и влияний, с виду управляющих нашим миром, главная функция еврея в мире – привести мир к этому единству, которое, безусловно, возникнет в результате наших усилий, слез и молитв.

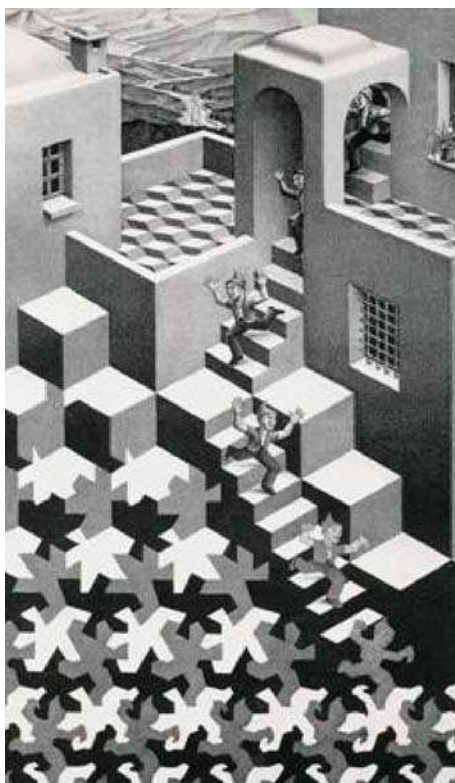
...На протяжении многих поколений комментаторы пытаются объяснить неожиданное упрямство евреев, поставивших себе целью прорваться в Землю Израиля, только что ими отвергнутую. Это дерзкое упрямство имеет, по мнению многих еврейских мыслителей, Б-жественные корни: ведь Община Израиля – земное воплощение Б-жественной Царственности. И в конце времен воля Всевышнего непременно присоединится к желанию евреев жить в Стране Израиля.

ИУДАИЗМ И КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Ēāḏāōī ēāē Ēēōī āḏ

Когда в начале 1997 года мировые СМИ сообщили о первом успешном клонировании млекопитающего – овцы Долли, стало очевидно, что появление первого человеческого клона не за горами. И проблемы, прежде отданные на откуп научно-фантастической литературе, пришлось решать вполне реальным людям – ученым, политикам, религиозным деятелям. И если вначале реагировали на это в основном эмоционально, то уже довольно скоро правительства, ученые советы и религиозные организации выступили с вполне продуманными и обоснованными заявлениями об отношении к новой проблеме.

Не осталась в стороне и еврейская религия. В течение последующих лет вышло несколько статей и исследований, где подробно разбирался вопрос о потенциальных последствиях клонирования. Не пытаясь проанализировать позиции современных авторитетов иудаизма в полном объеме, перескажем основные идеи, изложенные в их работах.



Мнение о том, что наука опровергает религиозные постулаты, а религия взирает на науку настороженно и свысока, широко распространено. И, как многие распространенные мнения, - ошибочно.

Наука занята вполне конкретными делами: ученые собирают данные о свойствах и поведении объектов наблюдения; выдвигают гипотезы и создают теории, объясняющие эти данные; проверяют гипотезы и совершенствуют теории. Наука не

претендует на то, чтобы устанавливать истины. Теория – не истина, ибо в любой момент ее могут опровергнуть новое наблюдение или результат эксперимента. Более того, в этом и состоит одно из главных свойств научной теории.

Религия же занимается поиском истины. Истины с прописной буквы. В самой что ни на есть последней инстанции. Никакие новые наблюдения и эксперименты не изменяют отношения религии к понятиям «правильно» или «неправильно», «морально» или «аморально».

Поэтому религия и наука вполне могут сосуществовать и даже сотрудничать. Примеров тому достаточно. Чтобы определить, можно ли замыкать электрическую цепь в субботу (то есть включать свет), раввины пришли к физикам и попросили объяснить современную теорию электрического тока. Выводы из этих объяснений лежат в основе религиозного закона о том, что замыкание цепи нарушает субботу. Пожелав узнать, вправе ли прибегнуть к искусственному оплодотворению пары, которые не могут иметь детей, раввины обратились за консультацией к биологам и медикам, после чего приняли положительное решение.

Клонирование – не исключение. Чтобы определить, как отнесется иудаизм к клонированию человека, нужно понять, о чем, собственно, идет речь.

Клонирование, реальность и фантастика

Как ни странно, определение клонирования очень простое. Это неполовой метод размножения, тогда как большая часть живой природы размножается половыми методами, то есть в создании потомства участвуют мужская и женская особи. Каждая дает потомству половину генетического материала. Такой метод обеспечивает внутривидовое разнообразие. Однако иногда для размножения используется только один пол. Пример такого размножения у растений – почкование. Другой пример – проращивание отростков.

У животных неполовое размножение встречается гораздо реже, поскольку даже животные-гермафродиты – это все-таки два пола, хотя и в одном организме. Пример неполового размножения у животных – это партеногенез. При этом новая особь появляется в результате деления неоплодотворенной яйцеклетки. Партеногенез встречается у некоторых видов насекомых, а среди хордовых – у амфибий и пресмыкающихся.

В отличие от естественного неполового размножения, клонирование – это искусственное создание организма, генетически идентичного исходному. Применительно к млекопитающим и человеку, это значит, что клон генетически неотличим от своего «родителя».

Это сходство породило огромное количество мифов и предрассудков, которые широко распространились благодаря популярности идеи клонирования в научно-фантастической литературе. Среди сюжетов, которыми писатели и режиссеры пугают подростков, а журналисты – неискушенных читателей, особое внимание привлекают такие: клонирование доблестного воина, позволяющее создать непобедимые армии; выращивание миллионов покорных и безропотных рабов; производство клонов для обеспечения искусственными органами власть имущих и очень богатых людей; создание клона как двойника для последующей подмены; искусственное продление жизни путем пересадки мозга/электронной передачи сознания в тело молодого клона. Все это выглядит весьма устрашающе, не правда ли?

И все это совершенно оторвано от реальности. Нужно помнить, что генетическая идентичность вовсе не означает идентичность физическую, психологическую, интеллектуальную. В этом несложно убедиться, проанализировав характеристики однояйцевых близнецов. Обычные (не однояйцевые) близнецы – результат оплодотворения сперматозоидами нескольких яйцеклеток. Соответственно, каждый из эмбрионов получает свой уникальный генетический код. Однояйцевые же близнецы появляются в тех случаях, когда оплодотворенная яйцеклетка делится на две идентичные, полученные клетки разделяются, и каждая развивается в отдельный эмбрион. Таким образом, однояйцевые близнецы имеют совершенно одинаковые наборы генов. Поэтому они очень похожи внешне, у них похожие характеры, привычки и пристрастия. Но при этом никому не приходит в голову считать их одним и тем же человеком.

Клоны различаются гораздо больше. Во-первых, клон взрослого человека не появится на свет взрослым. Ему придется пройти те же самые девять месяцев внутриутробного развития, родиться и вырасти. Во-вторых, кроме ядерной ДНК – генетического материала, находящегося в хромосомах в ядре клеток, существует еще и так называемая митохондриальная ДНК (мДНК). Она содержится в митохондриях – внутриклеточных фабриках производства белков. Набор мДНК уникален для каждой женщины. Поэтому, если донором яйцеклетки для клона будет не мать оригинала, а другая женщина, то, при полной идентичности ядерной ДНК, мДНК будет совершенно иной. И хотя ученым до сих пор не удалось связать мДНК с физическими данными человека, они не отрицают большой вероятности такой связи.

Но даже если предположить, что ученые смогут создать клона, скопировав не только ядерную, но и митохондриальную ДНК, придется учесть следующее: клон будет расти в другое время, с ним и вокруг него будут происходить другие события, и это, несомненно, окажет влияние на его личность.

Кроме того, в отличие от фантастики, в реальной жизни все еще не существует устройства, способного заменить женский организм в деле вынашивания зародышей. Поэтому клон должен быть выращен в теле суррогатной матери. А современная наука практически не сомневается, что внутриутробное развитие влияет как на физический вид, так и на личность будущего ребенка. И даже если предположить, что клон предстоит вынашивать той же женщине, которая вынашивала оригинал, произойдет это в другое время, она будет чувствовать себя иначе, чем при первой беременности, и т. п. Даже в таком случае клон и оригинал будут отличаться больше, чем однояйцевые близнецы.

Клонирование – реальные вопросы и дилеммы

Однако это вовсе не значит, что клонирование людей, если оно станет возможным, не вызовет никаких проблем. За последние годы было высказано множество серьезных возражений и поставлен вопрос об этической и моральной целесообразности этой идеи. Перечислим основные из этих возражений.

Восстание против Творца. Большинство религиозных лидеров разных направлений отметили, что создание человеческой особи «нетрадиционным» методом – это попытка подняться на один уровень с Творцом, и назвали это стремлением обожествить человека и науку.

Уничтожение эмбрионов. При экспериментах с человеческими эмбрионами часть из них неизбежно уничтожается или гибнет. Многие религии квалифицируют это как убийство.

Отношение к клону: человек или не человек. Поскольку клона получают не при обычном зачатии, к нему будут относиться не как к человеку, а как к лабораторно выведенному подопытному животному.

Физическое здоровье клона. При эксперименте, в результате которого на свет появилась овца Долли, было использовано 277 яйцеклеток. Лишь 29 развилось до состояния морулы или бластулы (ранние уровни развития эмбриона, при котором его пересаживают в матку суррогатной матери), и лишь один эмбрион прижился, благодаря чему и родилась Долли. И хотя с тех пор процент успешных клонирований животных увеличился, он все еще очень низок. Кроме того, ученые признают, что многие из клонов появляются на свет с серьезными физическими отклонениями: ожирением, деформацией органов и т. п. Возникает вопрос, стоит ли создавать ребенка-клона, зная о возможности этих нарушений?

Родители клона: отношения с донором. Это включает в себя целый спектр проблем: кем будет приходиться клону оригинал его генетического материала – старшим братом-близнецом? Отцом? Или, если это женщина, – матерью? Будет ли донор яйцеклетки его матерью? Или, может быть, суррогатной матерью? Кем будут приходиться ему родители оригинала? Тоже родителями? Дедушкой и бабушкой? Как отнестись к ситуации, когда для спасения жизни ребенка, больного, например, лейкемией, родители создают для него младшего брата – клона, чтобы впоследствии располагать возможностью пересадки костного мозга? Морально ли такое поведение?

Религиозная принадлежность клона. Специфическая проблема иудаизма будет состоять в том, как определить, еврей ли клон.

Реальное клонирование

Чтобы попытаться ответить на все эти вопросы, необходимо сначала понять, как именно происходит клонирование. По состоянию науки на сегодняшний день наиболее перспективный метод клонирования – «пересадка ядра соматической клетки» (англ. SCNT – Somatic Cell Nuclear Transfer). Именно этим методом были созданы Долли и все последующие клоны-животные.

Попробуем кратко объяснить суть этого метода. Из соматической (то есть любой, кроме половой) клетки донора ДНК выделяют ядро. Затем его помещают в чашку Петри вплотную к неоплодотворенной яйцеклетке, из которой предварительно извлечено собственное ядро. Далее определенным образом (чаще всего с помощью электрического разряда) стимулируют деление этой яйцеклетки. Из-за отсутствия собственного ядра яйцеклетка при делении использует генетический материал ядра, помещенного рядом. И, продолжая делиться, развивается до состояния морулы или бластулы, после чего полученный эмбрион пересаживают в организм суррогатной матери. Появившаяся на свет особь будет иметь ту же ДНК, что и донор генетического материала. (И митохондриальную ДНК донора яйцеклетки.)

Таким методом уже были получены клоны овец, коров, лошадей, мышей, кошек, одной собаки и одной панды. Однако, когда ученые попытались клонировать приматов, их ждала неудача. После ряда экспериментов ученые предположительно определили, в чем проблема, но как ее решить, наука пока не придумала. Была даже одна достоверно документированная попытка клонирования человека, однако развитие яйцеклетки остановилось после второго или третьего деления.

Репродуктивное клонирование – возможности и проблемы

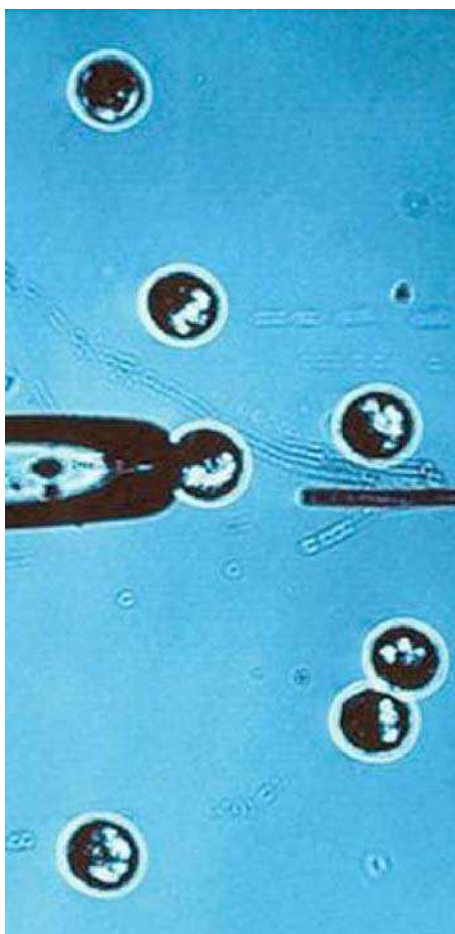
Вероятнее всего, рано или поздно наука преодолеет технические препятствия, стоящие на пути рождения первого клона человека. Но вот решатся ли ученые довести такой эксперимент до конца – неясно. Подавляющее большинство современных ученых крайне негативно отнеслось к самой идее репродуктивного клонирования человека. Если рождение Долли стимулировало работы по клонированию животных и с тех пор наука довольно сильно продвинулась в этом направлении, то попытки клонирования человека серьезные ученые пока отставили.

Но джинн выпущен из бутылки, и в ходе дискуссии о моральных аспектах репродуктивного клонирования появилось несколько возможных сценариев его практического применения. Перечислим наиболее серьезные из них:

- ребенок для пары в случае, когда обычное искусственное оплодотворение невозможно;
- пара, которая хочет родить клона старшего ребенка, больного тяжелым, но излечимым заболеванием, чтобы приобрести донора тканей (костного мозга и т. п.);
- пара, потерявшая ребенка в раннем возрасте, – чтобы справиться с психологической травмой.

У противников клонирования все это вызвало множество возражений. Среди них такие:

- ребенок будет генетическим двойником своего отца или старшего брата/сестры, и у него возникнут психологические проблемы с самоидентификацией. Ему придется жить «прожитую» или «чужую» жизнь;
- кто будет родителями такого ребенка, а кто – его братьями или сестрами?
- этично ли по отношению к ребенку заранее обрекать его на донорство для старшего брата (или отца?), не вызовет ли это тяжелой психологической травмы?



Фотография бластоцисты мыши (удерживается пипеткой), которая была получена с помощью оптического микроскопа.

Бластоциста – зародышевый пузырек, полый шар, содержащий эмбрионные стволовые клетки, формирующие зародыш на самом раннем этапе его развития. Центр генных исследований scf Эдинбургского университета, Шотландия

Терапевтическое клонирование

Как уже говорилось, большинство ученых выступили против клонирования человека из-за моральных и этических проблем. Исследования этого направления не привлекли ни крупных ученых, ни серьезных источников финансирования. Казалось бы, на этом все и закончится.

Ситуация резко изменилась в 1998 году, когда ученым из Мэдисонского университета совместно с их коллегами из Лечебного центра «Рамбам» при Хайфском техникуме удалось выделить эмбриональные стволовые клетки. Особенность этих клеток в том, что их последующие деления ведут к образованию той или иной ткани в организме человека. Ученые предположили, что, если разгадать механизм, заставляющий стволовую клетку делиться в клетки определенной ткани, это позволит искусственно выращивать нужные ткани и даже целые органы.

Если такой процесс окажется возможным, он откроет новые страницы в лечении целого ряда тяжелых заболеваний. В первую очередь учеными были названы диабет, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, гепатиты и другие заболевания печени, кожные заболевания, ожоги. Вновь выращенную ткань можно будет пересадить взамен ткани, пораженной болезнью, и таким образом добиться излечения или существенного улучшения состояния больного.

Однако главная проблема пересадки органов и тканей не исчезнет: речь идет об иммунном отторжении чужеродных тканей. И тут ученые вспомнили о клонировании. Они предложили создать эмбрион, используя ядро соматической клетки больного человека как источник генетического материала. Такой эмбрион будет клоном больного. Если выделить стволовые клетки такого эмбриона, а затем вырастить из них нужную ткань, то ее ДНК совпадет с ДНК больного и при пересадке не вызовет иммунную реакцию отторжения. Эта идея получила название «терапевтического клонирования».

Таким образом, вопрос клонирования человеческих эмбрионов вернулся на повестку дня. И хотя никто уже не говорил о репродуктивном клонировании, морально-этические претензии были предъявлены и терапевтическому клонированию. Первыми выразили их религиозные деятели, утверждавшие, что выделение стволовых клеток из эмбрионов ведет к остановке его развития, а значит – это убийство. Политики многих стран высказывали опасения, что если разрешить ученым заниматься терапевтическим клонированием, то они обязательно пойдут дальше и в конце концов произведут на свет живого клона.

А где же раввины?

В пределах иудаизма дискуссия о клонировании человека не достигла такого размаха, как в среде политиков и лидеров других религий. Дело в том, что иудаизм отличается прецедентным подходом к проблемам. Это значит, что проблемы решаются по мере их появления. Поскольку клонирование человека еще не имеет практического применения и даже не приблизилось к нему, то, по мнению большинства законоучителей, говорить пока еще не о чем. Однако появилось несколько статей, где были теоретически рассмотрены главные направления отношения иудаизма к клонированию, если оно станет реальностью. Перескажем их основные положения в следующей части нашей статьи.

(Окончание следует)

БРАТЯ БЕЛЬСКИЕ

ĪààĭĀàôê

В «Чейсовской коллекции» издательства «Текст / Книжники» в ближайшее время выходит монография П. Даффи о легендарных братьях Бельских, которые в 1941 году организовали партизанский отряд и спасли жизни более чем тысячи евреев.

Мы предлагаем читателям фрагменты этой книги.

(См. интервью с Ароном Бельским, получившим премию ФЕОР-2009 в номинации «Мужество»: Лехаим. 2010. № 2.)



Группа партизан из отряда Бельских в лагере для перемещенных лиц в Италии с портретом Асоэля Бельского после известия о его гибели. Из архива Михаила Лейбовица

*Á éáñ áúéí ÷òí-òí çí áéíí íá
è á óúáσáí íéó:áá í ú í íáèè ñí ðýò àò úñý í áεáó ááðááñýí è.*

Òíááí Ááéúñéé.

Из неопубликованных мемуаров, 1955

*Éáñ áúéè áíðíòáí è áí áí áσíéé í èð
Òáí æéèè èçñè, ááçúí óú, éþáíáí èéè,
ðáçáí éí èéè, íò σáéúí èéè, áéáεáí í úá,
í ðí éáεáí í úá, í áðò èçáí ú, ááéáóú, í áúá-í èéè, í ðáñéááóú úá, ááðááðú. Éóáá áúá í í è
í íáèè í íéòè? Í ðáñò óí èá çáéíí è íò òí ðáí óá ñáýý íò í áú áñò áá, í í è í íáèè í éáçáò úñý*

*ò íéúéí á éám Í í ÷ áéíáé á éám í á í íááíéáá í ñò áááò úñ ÷ áéíáéíí ; í í í áééé
í íáí ýò úñ, ééé í éí í ÷ àò áúí í ááááé ðí ááò ú*

Ðí ááò Í í áá Ó ááðéíí.

Из книги «Леса:
тьнь цивилизации», 1992

*Í í ñááí áí èþ ñ ááò òí ýò í í ñò í áúéí í íáí áí í ðáþ. Á éááò í ú áúéé íáí áí ú. Á í ò
áá, ÷ òí ý í í áá áí í áááò ú Ó í áá áúéá íáí áí áá*

Чарлз Бедзов

* * *

Это одна из самых необыкновенных историй второй мировой войны – до сих пор никому не рассказанная.

В 1941 году родителей и двоих из пятерых братьев убили нацисты – рядовой случай во время войны. Но примечательно то, как на это отреагировали те, кто остался в живых. Вместо того чтобы бежать или пасть духом, эти трое – Тевье, Асоэль и Зисл Бельские – бросили вызов нацистам и их союзникам, создав в лесу неподалеку от родной деревни еврейский партизанский отряд. За время войны они сумели спасти от гибели около 1200 еврейских жизней.

Используя свои знания дремучих лесов, окружавших белорусские города Новогрудок и Лида, Бельские ускользнули от рук нацистов и основали тайную лесную базу, а затем начали убеждать других евреев вступить в их ряды. Когда нацисты начали планомерно уничтожать местное еврейское население – за первый год войны было убито свыше десяти тысяч евреев, – Бельские делали все, чтобы выжить своих собратьев из гетто. По мере того как в лагерь каждый день прибывало все больше и больше евреев, начал образовываться сплоченный лесной отряд, по сути дела, целая деревня, которую называли «лесным Иерусалимом». Спали в землянках. В отряде была синагога, баня, театр и искусные сапожники. Влюбленные встречались, женились, заводили детей.

Но по мере роста их славы росли и усилия нацистов, направленные на уничтожение упорных братьев. В конце концов Бельские были вынуждены оставить базу и перевести свой многочисленный отряд на новое, более безопасное место. И хотя многие высказывались за создание небольшого мобильного отряда, сосредоточенного исключительно на борьбе против нацистов, Тевье Бельский был непреклонен. «Лучше спасти одну старушку-еврейку, – говорил он, – чем убить десять немецких солдат».

В июле 1944 года, после двух с половиной лет, проведенных в лесах, Бельские узнали о том, что немцы отступают под натиском Красной Армии. Свыше тысячи спасенных Бельскими евреев – целых и невредимых – вышли из лесов.

* * *

На исходе девятнадцатого столетия Элишева и Зисл Бельские, дед и бабка Тевье, Асоэля и Зисла, обосновались на небольшом участке земли в небольшой деревне Станкевичи, расположенной в Белоруссии на территории царской России. Это была скорее даже не деревня, а с десяток бревенчатых избушек, приютившихся на гребне холма

в одном из самых бедных и отсталых уголков Европы. Дом Бельских стоял в стороне от общины, на склоне, на берегу небольшого озера, питаемого рекой. И они действительно были отщепенцами: Бельские были единственными евреями в деревне.

Все имущество семьи, сданное им в наем одним неудачливым польским аристократом, питавшим слабость к азартным играм и спиртным напиткам, состояло из водяной мельницы и пары конюшен. Вскоре по прибытии на новое место жительства Зисл с младшим сыном Давидом начали собственное дело на водяной мельнице, дробя зерно и перемалывая муку.

У остальных детей Элишевы и Зисла на тот момент уже были собственные семьи. Они жили в городах, как, впрочем, большинство евреев, обитавших в пределах черты оседлости. Это была широкая полоса земли, протянувшаяся от Балтийского до Черного моря, где по указу российского императора разрешалось селиться евреям. Их жизнь в этом гетто зависела от многочисленных дискриминационных и постоянно менявшихся указаний и постановлений. Они были вынуждены платить многочисленные обременительные налоги, а также занимать даже самые низшие гражданские посты.

Вскоре после того, как семья обосновалась в деревне Станкевичи, император издал несколько антисемитских указов, запрещавших евреям продавать, покупать или арендовать сельскохозяйственное имущество. Стареющих супругов сильно беспокоило это нововведение; они переживали из-за того, что недалек тот час, когда их начнут выселять из собственных домов.

Но с той жизнестойкостью, которая была так необходима евреям для выживания под царским гнетом, Давид придумал способ остаться всей семьей в Станкевичах. Он заключил сделку с одним из соседей, поляком по имени Кушель, переписав управление имуществом на имя этого добропорядочного католика. Тот согласился с тем, что его участие в семейном бизнесе Бельских будет только юридическим, и, таким образом, эта сделка помогла Бельским оставить за собой семейный бизнес. Но вся эта ситуация пагубно отразилась на здоровье Элишевы, которая на тот момент перенесла ряд серьезных болезней. Она умерла в одной из больниц Вильно, столице Литвы, расположенной к северу от Станкевичей.

К началу двадцатого века молодой Давид созрел для того, чтобы создать собственную семью. Женившись на девушке по имени Бейлэ Менделевич, дочери лавочника из соседней деревни Петревичи, он зажил мирной жизнью деревенского мельника. Его вполне устраивала такая доля: продолжить дело отца, который, в свою очередь, с радостью наблюдал за появлением на свет нового поколения. К 1912 году, когда Зисла не стало, Бейлэ произвела на свет четырех детей – Велвла, Тевье, Тойбу и Асоэля и ждала пятого. Новорожденного мальчика в честь деда назвали Зислом. Его также знали под именами Зуся или Зусь.



**Хозяйство Бельских в Станкевичах.
Начало XX века. Асоэль – крайний справа, Зисл – третий справа. Из коллекции
Арона Белла (Бельского)**

Дети Давида жили простой деревенской жизнью задолго до появления электричества и водопровода в той части Белоруссии, которая веками находилась под пятой своих более могущественных соседей: России, Польши и Литвы. Это был мир простых деревянных домов с соломенными крышами, где самой большой ценностью для крестьянина были лошадь и четырехколесная телега. Проходили годы, и у Бельских появился самый разнообразный скот: коровы, лошади и несколько овец. Все, что они ели, производилось их собственным трудом. В доме у родителей была своя комната, в то время как дети занимали оставшееся пространство: спали по несколько человек на одной кровати, а летом, уставшие после целого дня тяжелой работы, – в сарае на сене.

Что касается образования детей, его пределы варьировались, но по большей части они недалеко продвинулись в религиозных или светских школах. Время от времени Давид нанимал приходящего учителя. Иногда ребенка отправляли к родственникам в Новогрудок, ближайший к ним город со значительной долей еврейского населения, с тем, чтобы он посещал местную школу. Ближайшая синагога также находилась в городе. Путь длиной в пятнадцать километров занимал около трех часов езды на телеге, что сильно затрудняло регулярное посещение служб. Поэтому местом молитвы для них сделался один частный дом: на шabat и в праздники Бельские посещали дом неких Дзенсельских, которые жили в двух километрах по лесной тропинке в деревне под названием Большая Изва. Как и Бельские, Дзенсельские работали на мельнице и были единственными евреями у себя в деревне.

Иногда службу проводил сам Давид, используя свиток Торы, находившийся в доме Дзенсельских. Бесспорно, он не был хорошо образован, зато обладал певучим мелодичным голосом и прекрасной памятью на религиозные тексты.

Их дети быстро овладели местными языками – белорусским, польским и русским, причем с той беглостью, которая никогда не давалась большинству белорусских евреев, осевших в еврейских общинах в местных городах. Семейный бизнес Давида требовал, чтобы он постоянно входил в контакт с соседями, православными белорусами и поляками-католиками. Полностью отдавая себе отчет в том, что он – гонимый еврей,

живущий во времена, когда антисемитские настроения – неотъемлемая часть повседневной жизни, Давид выработал у себя миролюбивый характер.

Когда прибывшие из города чиновники царского правительства объявили о том, что подозревают семью во владении землей в нарушение императорского указа, Давид и Бейлэ предложили им сесть за стол у себя в доме. Они потчевали их едой и водкой до тех пор, пока те, напившись до положения риз, не выползли из дома, едва держась на ногах. В конце концов рапорт так не был составлен. В другой раз, когда к ним явились разбойники, вымогая вещи и деньги, Бельские отнеслись к ним с тем же гостеприимством, выставив на стол неизменный штоф водки.

Давид Бельский не был бойцом.



Тевье Бельский. 1927–1929 годы. Из архива Лильки Бельской

* * *

В годы войны Давиду Бельскому удалось завершить свое так называемое «партнерство» с Кушелем и переписать имущество на свое имя. С помощью жены и детей он расширил свое дело, наезжая то в Новогрудок, то в Лиду, расположенную в тридцати километрах на северо-запад, и поставляя туда свой товар. Соседи-крестьяне были поражены размахом его производства, и многие были склонны считать Бельских весьма зажиточными. На самом деле Бельских едва ли можно было назвать богачами, но дела их шли намного лучше по сравнению с нищим крестьянским большинством, которое составляло их окружение.

– В нашей деревне была небольшая мельница, но совсем не такая, как у них, – говорила Мария Нестор, белоруска, родившаяся в 1911 году и выросшая неподалеку от Станкевичей. – У них была настоящая мельница, и она пользовалась большой популярностью.

Бейлэ Бельская, крепкая энергичная женщина, продолжала производить на свет детей с методичной регулярностью. Между 1912 и 1921 годами она родила еще четверых – троих мальчиков, один из которых умер вскоре после рождения, и девочку, вторую по счету у супругов.

Тем временем старшие дети достигли переходного возраста. В старшем, Велвле, обнаруживались задатки серьезного молодого человека со способностями к учебе. Тевье, родившийся в 1906 году, выказывал более отважный и боевой характер. Он не собирался, как его отец, терпеть неуважение грубых крестьян, которым ничто не доставляло такое удовольствие, как третировать тех, в ком они обнаруживали малейшую слабость.

После того как какие-то местные мужики украли у Бельских копну сена, бесстрашный Тевье глаза в глаза обвинил их в воровстве.

– Возвращайся-ка лучше домой, – сказал ему один из мужиков. – А не то я тебе задам.

Парень вернулся домой и рассказал Велвле об угрозе мужика. Тот только плечами пожал. Но двух младших братьев Тевье, Асоэля, который был двумя годами моложе, и Зисла, шестью годами моложе, возмутила эта история, и они решили свести с мужиками счеты.

Вооружившись косами, братья пришли к обидчикам. После обмена возбужденными репликами один из братьев замахнулся на мужика косой. Мужик, не ожидавший такой решительности, струсил и дал деру, а за ним последовали его приятели.

Позже выяснилось, что один из мужиков, который арендовал часть семейного поля, тоже потихоньку присваивал их сено. И снова Тевье вызвался исправить ситуацию. Снова взяв в руки косу, он приблизился к вору, у которого тоже была коса. Тот был в компании четырех друзей.

– Убирайся отсюда, а не то я тебе голову отсеку, – крикнул ему мужик.

Но Тевье проигнорировал эту угрозу и, сбив мужика с ног, принялся молотить его кулаками.

Четыре друга громко захохотали при виде своего поверженного приятеля.

– Молодой еврей разделался с мерзавцем, который наводил страх на всю деревню, – сказал один из них.

С того дня на сено Бельских никто больше не посягал. А Тевье завоевал себе репутацию за свою свирепость; в нем обнаружилось первые проблески того, что он позднее назовет «еврейской гордостью».

*Ī adāā ā nāi āēēnēlā
Āī ū Ī āō dēēāāē*

ПОСЛЕДНИЙ НЕВОЛЬНИК НА ГОРЕ НЕВО

Î ðòèõï òáïðáí èè Î áíááüüòàì à «Áà, ý èáæóá çàì èá áíáàì è øááüý...»

Ááüü èè Ñíøèèí

Текст

1. Áà, ý èáæóá çàì èá áíáàì è øááüý,

2. Î î ò î, ÷ ò î ý ñèáæó çàó:èò èáæáüé

øéíèüü èè:

3. Î à Èðáñí íé í èí ù áàè áíáá èðááèé çàì èý,

4. È ñèàò áá ò ááðáááò áíáðíáíèüü úé,

5. Î à Èðáñí íé í èí ù áàè çàì èý áíáá èðááèé,

6. È ñèàò áá í á:áýí í î-ðàçáíèüü úé,

7. Î ò èè áü áüñü áí èç - áí ðèñáíò î í èáé,

8. Î í èóáà í á çàì èá í ñèááí èè æèá í ááíèüü èè¹.

Стихотворение написано в мае 1935 года в Воронеже; домашнее название – «Красная площадь» (далее – КП).

Читатели

Одними интерпретаторами оно расценивалось как просоветское, но написанное то ли через силу и в расчете на публикацию, то ли, напротив, искренне и бескорыстно; другими – как завуалированно-фрондерское. В первом случае КП представляла антитезой смежному с ней по времени написания и связанному с ней текстурально четверостишию:

Èèøèá í áíý í îðáé, ðàçááá è ðàçèàòà

È ááá ñò î í á óí î ð í áñèèüñò ááí í é çàì èè,

× áá áíáèèèñü áí? Áèáñòý ù áá ðáñ:áòà -

Ááá øááüý ù èõü î ò í ÿ ò ù áí í á í í æè.



Колонна футбольного клуба «Спартак» на Всесоюзном параде физкультурников. Москва. Красная площадь. 1939 год

Крайне пренебрежительна оценка, данная КП Н.Я. Мандельштам: «Все стихи в начале тетради группировались вокруг “Чернозема”. Там были idiotские стихи – первая попытка выполнить “социальный заказ”, из которой ничего не вышло. От этих стихов О. М. сам моментально отказался, признав их “собачьей чушью”. Из них он, вернее, даже не он, а Харджиев сохранил “Красную площадь”, надеясь, что это протолкнет книгу. Я не уничтожаю их, потому что они все равно когда-нибудь найдутся, – О. М. успел послать их кому-то – в Союз или Фадееву в журнал. Но О. М. твердо хотел их уничтожить. Сохранились они, вероятно, и в письмах Рудакова жене» [6, 340].

Действительно, стихотворение приведено в письме С.Б. Рудакова жене от 18 мая, в неокончатальной редакции. Здесь КП цитируется в двусмысленном контексте – то ли как образчик «мелочей неживых и грязных», то ли, наоборот, как пример «гениального Мандельштама», который был бы невозможен без него, Рудакова, как редактора-ассистента [11, 51]. Фраза под текстом стихотворения: «Об этом – потом. Это часть, а важно целое и то, чего не рассказать» говорит скорее в пользу второй возможности (как, впрочем, и соответствие КП установке на «стихи с буквальным названием современности»²¹ [11, 44], по-видимому, от Рудакова Мандельштамом и воспринятой). А в письме Рудакова от 18 июня [11, 61] запечатлено высказывание Мандельштама, охотно цитируемое комментаторами и позволяющее предположить, что поэт видел в КП чуть ли не торжество своего творческого метода (об этом высказывании по существу будет речь в своем месте).

Последующие оценки в основном отмечены недоумением, вызванным невразумительностью этого, по слову Н.А. Струве, «большевизирующего» стихотворения

(«Оно начинается с трагического признания <...> переходящего в славословие Красной площади <...> Кто же тут невольник? Тот, кто лежит в земле, или те далекие эксплуатируемые крестьяне рисовых полей, о которых якобы печется Москва?» [13, 95]), и располагаются между двумя полюсами, заданными, с одной стороны, сверхжесткой позицией Н.Я. Мандельштам, с другой же – серьезностью основного подтекста – пушкинского «Памятника». Этот подтекст обнаружил и прокомментировал К.Ф. Тарановский, первым обратившийся к изучению КП⁹. Отметив, во-первых, что стихотворение написано через сто лет после пушкинского, вероятно, с оглядкой на тот кризисный биографический контекст, который сообщает «Памятнику» полновесное значение предсмертного монолога, и, во-вторых, что локус лирического субъекта («я лежу в земле») соответствует коннотациям надгробия, присущим у Пушкина самому слову *памятник* (ср.: [1, 143–149]), исследователь увидел конкретную переключку с «Памятником» (а точнее, с его первыми 8-ю стихами) в следующих случаях:

Í àò, àííÿ í á òí ðó- àóà à çàâò í íé èèðá
Ì íé í ðàò í àðæèâò è ò èáíÿÿ óáæèò <...>
Ñéóð íáí ì í á í ðíéâò ì ì àíé Ðíè àæèéíé,
È í àçíâò ì áíÿ àíÿé ñòòèé á í áé ÿçúé <...>

ср.:

Àà, ÿ èáæó á çàí èá, àíáì è óááÿÿ,
Í í òí, ÷ òí ÿ ñéæó çàò:èò èàæáúé
óéíéüü èé <...>

.....

...áíéíéü á í íáéóí í ì ì èðá
Æèá áóâò òí òü í áéí í èèò.

ср.:

Í í èóà í à çàí èá í ì ñéáí èé æèá í ááíéüü èé

К.Ф. Тарановский считает КП стихотворением искренне-просоветским, но, безусловно, не рассчитанным на прижизненную публикацию [14, 199]. Придавая «положительное семантическое значение» эпитету *всего круглей* как варианту понятия *пуп земли*, восходящему к близкой Мандельштаму концепции Москвы как Третьего Рима / Третьего Интернационала, Тарановский продолжает: «...отвердевание “ската” на Красной площади (который является метонимом Кремля) можно объяснить как метафору нарастающей решимости Кремля исполнить свою историческую миссию, достичь цели, сформулированной в последней строке стихотворения» [14, 195].

Исследователь признает: эпитет *нечаянно-раздольный* потенциально означает, что «отвердевание ската, широкого и свободного, может ускользнуть от контроля власть имущих, вырваться из их рук» [14, 195], – однако сторонится интерпретационных стратегий,

основанных на подобного рода скрытых смысловых потенциях. «Мнения о стихотворении “Да, я лежу...” сильно разделились. Труднее всего полемизировать с критиками, согласными с нами, что Мандельштам в нем описывает Красную площадь как центр мира и говорит об исторической миссии России, но только, в отличие от нас, иначе объясняют тональность стихотворения, – они в нем чувствуют иронию; по их мнению, последняя строка: “Покуда на земле последний жив невольник” значит: *никогда*, ибо рабству нет конца. Замаскированную иронию почти невозможно ни доказывать, ни оспаривать <...>» [14, 208].

Эта реплика адресована М. Йовановичу, который полемизировал с Тарановским в своей статье 1976 года, доказывая, что эпитет *всею круглей* отсылает к «одному из более скрытых символов Красной площади – к образу *Лобного места*, в геометрическом отношении также обозначающего “круглость”» (с дополнительной опорой на семантику, связанную с круглой формой лба, и коннотацию рубки круглых голов, усиленную словом *скат*) [15, 172]. Сходные выводы, без учета его статьи, впоследствии делались не единожды. Последняя строка стихотворения, по мнению Йовановича, «утверждает мысль, что русская история насилия продлится до конца всемирной истории рабства» [15, 173–174]. Оппонент Тарановского приходит к заключению, что стихи тяготеют к общему для разных текстов данной поры творчества семантическому кругу – «“отрицательному”, полемическому по отношению к официальной идеологии сталинской эпохи»; «их зашифрованный смысл имеет негативное отношение к идее Москвы – Третьего Рима, интересующей раннего Мандельштама <...> Эта идея исчезает из творчества Мандельштама воронежского периода, в котором раскрывается противоположная идея – сути централизованного государства, его продолжительной истории, его насилия, а также его резко отрицательного международного значения» [15, 175].

Позицию М. Йовановича отчасти дублирует не знакомый с его работой Р. Войтехович. У Тарановского, по его словам, «получается, что большая часть образов стихотворения характеризуется положительной оценочностью, и только первые две строчки связываются с “кладбищенской” темой “Памятника” Пушкина. На основании этого делается окончательный вывод о том, что стихотворение говорит об исторической миссии России, с одной стороны, и о жертвах истории – с другой» [5]. Несогласный с этим разграничением, автор статьи предпринимает ревизию содержания второй части КП, в частности – роли образа *рисовых полей*: по его мнению, «это заболоченные низины, противопоставленные “поднебесному” центру империи», а Красная площадь «прямо проецируется на <...> все империи, начиная с эпохи Горация».

М.Л. Гаспаров в своих комментариях, наоборот, разделяет точку зрения Тарановского, противопоставляя друг другу КП (относимое к ряду стихотворений 1935 года о «новом примирении с действительностью» – тех самых, что заодно с КП были названы Н.Я. Мандельштам «маленьки<ми> “уродц<ами>”» [6, 360]) и «Лишив меня морей...» [9, 795], а в предисловии к тому же изданию дает яркую, хотя и схематичную, характеристику гражданской позиции Мандельштама воронежского периода, в целом сместившейся от самоубийственного тираноборчества предшествующей поры к прославлению вождя и, вероятно, отразившей поставленный поэту в Воронеже диагноз «шизоидная психопатия», означающий расщепление личности. Существенно, что эта персональная смена курса была вполне бескорыстной и сопутствовала внутренней подготовке к самопожертвованию – теперь уже не во имя сопротивления режиму, а во искупление своей вины за это сопротивление; «он на каждом шагу чувствовал: если он и принимает этот режим, то режим не принимает его, и этот путь навстречу действительности – путь к гибели: не от врагов, а от неведущих друзей, что еще трагичнее» [9, 26]. Последний тезис необходимо учитывать при анализе КП, обнаруживающей генетическое родство с более ранними мандельштамовскими стихами о казни лирического субъекта.

В принципе, мы можем теперь утвердительно ответить на вопрос, который был поставлен еще в 1961 году В. Вейдле (в статье, сопровождавшей первую публикацию стихотворения): «...разве с большевением совместима его первая строчка<?>» [3, 80]. Но поскольку КП написана в самый разгар мандельштамовской идеологической ломки, когда параллельно писались взаимоисключающие по смыслу гражданские стихи, остаются открытыми вопросы более фундаментальные: действительно ли эти стихи отмечены «большевением»? Действительно ли в КП и откровенно бунтарском «Лишив меня морей...» зафиксированы противоположные колебания идеологического маятника? Если это так, то почему «Лишив меня морей...» – стихи настолько откровенные, что их нужно было записывать шифром, а КП – настолько темные, что интерпретаторы десятилетиями не могут прийти к минимальному консенсусу, разрываясь между пушкинским мятежным следом и внешними признаками неумелого восхваления режима?

Прототекст

В раннем наброске, большинство сегментов которого были сохранены при дальнейшей работе, выведены три аллегорические фигуры, наделенные признаком одушевленности – *деготь, школьник и невольник*:

Там деготь прогудел, лазурью шевеля:

Пусть шар земной положит в сетку школьник.

На Красной площади всего круглей земля,

Покуда на земле последний жив невольник.

В зависимости от своего трудового статуса эти трое связаны с тремя формами исторического времени: деготь, символ освобожденного труда, репрезентирует исторически актуальное настоящее; не работающий пока школьник – будущее-в-настоящем, счастливый конец истории; невольник, работающий на эксплуататора, – прошлое-в-настоящем, пережиток. Очень существенно, что в то время как безвольные агенты прошлого и будущего наделены персональностью, инициативный и вербальный деготь – деперсонализирован. Исторический удел прогрессивных людей – гореть и сгореть во имя прогресса, поэтому в актуальном настоящем нет людей, а есть экстракт их доброй воли – деготь.

Подтексты

«*Мистерия-Буфф*». Даваемое школьнику аллегорическое задание, грамматически напоминающее лозунг, отсылает к тому изобразительному ряду, который глядел на советского человека с плакатов, почтовых марок, газетных страниц и т. д. и где одно из первых мест, начиная с советского герба и заканчивая пропагандистскими мультфильмами, принадлежало образу земного шара. Но основной объект мандельштамовской аллюзии – несомненно, творчество Маяковского (пять лет со дня смерти которого исполнилось в апреле 1935 года). Еще со времен статьи «Буря и натиск» (1923) для Мандельштама «фирменным» атрибутом Маяковского являлся школьный глобус: «Подобно школьному учителю, Маяковский ходит с глобусом, изображающим земной шар, и прочими эмблемами наглядного метода <...>» [7, II, 297]. Этот словесный портрет, равно как и аллегорика КП и особенно четырехстрочного наброска, были подсказаны прежде всего «Мистерией-Буфф» (1-й вар. – 1918, 2-й вар. – 1921). Напомню содержание пьесы. В начале действия декорация изображает «шар земной, упирающийся полюсом в лед пола. По всему шару лестницами перекрещиваются канаты широт и долгот». Накал революционной борьбы вызывает таяние льдов и новый потоп: «Весь

мир, / в доменных печах революций расплавленный, / льется сплошным водопадом». У полюса собираются терпящие бедствие представители враждебных друг другу классов – *чистых* и *нечистых*. Они решают построить ковчег. Во время плавания, после того как чистые съедают всю провизию, добытую трудом нечистых, нечистые сбрасывают их за борт. Избавившись от эксплуататоров, нечистые тем не менее впадают в уныние из-за голода; тогда их посещает «из будущего времени / просто человек», попеременно схожий то с Моисеем, то с Христом: «Старый с посохом. / Молодой без посоха. / Эх идет по воде, что посуху»^[4]. Внушив нечистым веру в светлое будущее, он призывает их: «На пророков перестаньте пялить око, / взорвите все, что чтили и чтут. / И она, обетованная, окажется под боком – / вот тут!» (1-й вар.). Теперь нечистые преисполнены решимости: «Кругом потопа смертельная ванная. / Пускай! / Найдется обетованная»^[5]. Они покидают ковчег, взобравшись вверх по мачте и попав этим путем в ад. Голодающим чертям не удастся схватить их^[6], и нечистые взбираются еще выше и оказываются в раю. Здесь, вопреки ожиданиям, они не находят никакой пищи для тела^[7] и потому продолжают свое восхождение, круша рай. Над раем нечистые наконец обнаруживают обетованную землю (в 1-м варианте пьесы – «обетованную страну»), местонахождение которой, должно быть, связано тут с понятием *алиш* – восхождения в Святую землю^[8]. Выходцы из разных стран, они сперва с разочарованием узнают родные места – каждый свои («Москва^[9], Манчестер, Шуя – / не в этом дело: / главное – / опять очутились на земле, / опять у того же угла» – «Кругла земля, проклятая, / ох и кругла!»), но вдруг осознают, что те совершенно преобразились: перед нечистыми открывается благоустроенный и никем не заселенный мир, где их встречают наделенные речью орудия труда и машины («Революция / прачка святая, / с мылом / всю грязь лица земного смыла. / Для вас, / пока блуждали в высях, / обмытый мир / расцвел и высох!» – 1-й вар.). Таким образом, земля обетованная оказывается землей будущего, очищенной потопом от чистых^[10]; нечистым предстоит заселить ее^[11].

Градусная сетка и державное яблоко; «Летающий пролетарий». «Канаты широт и долгот» обладают амбивалентным семантическим потенциалом: это и пути рабства, от которых земной шар должен быть избавлен посредством революций, и страховочные приспособления наподобие корабельных снастей, позволяющие спастись при потопе (ср. в пьесе восклицания скатывающихся вниз, к основанию земного шара^[12]: «Крепчает! / Держитесь за северную широту!»^[13] – «Яреет! / Хватайтесь за южную долготу!»). У Мандельштама столь же двусмысленно назначение сетки, в которую должен быть положен земной шар: под нею понимается что-то вроде сачка, который то ли страхует земной шар во время потопа, то ли удерживает его в положении *невольника*. Поскольку визуальный прообраз *сетки* – конечно, градусная сетка («канаты широт и долгот»), ясно, что школьнику предлагается распорядиться земным шаром так же уверенно, как он распоряжается его моделью – школьным глобусом. Но само поручение – положить земной шар в сетку – остается загадочным. Оно походит на метафору с опущенным условным планом (каким-нибудь понятным, узнаваемым действием, которое, в силу структурного сходства с действием непонятным, помогло бы его понять), но этот условный план здесь либо вовсе отсутствует, либо не поддается убедительной реконструкции, ведь в широкой практике ни одно сетчатое вместилище не имеет эксклюзивной связи с тяжелым шаровидным содержимым^[14]. Оказионально подобная связь возникает опять-таки у Маяковского – в поэме 1925 года «Летающий пролетарий», где описана спортивная игра будущего, в которую наравне со взрослыми играют школьники в промежутке между занятиями: «Подбросят / мяч / с высоты / с этакой, / а ты подлетай, / подхватывай сеткой»^[15]. <...> Наконец / один / промахнется сачком. / Тогда: / – Ур-р-р-а! / Выиграли очко!»



Эскиз декорации, сделанный В. Маяковским к 1-му действию «Мистерии-Буфф» – «Потоп». 1919 год

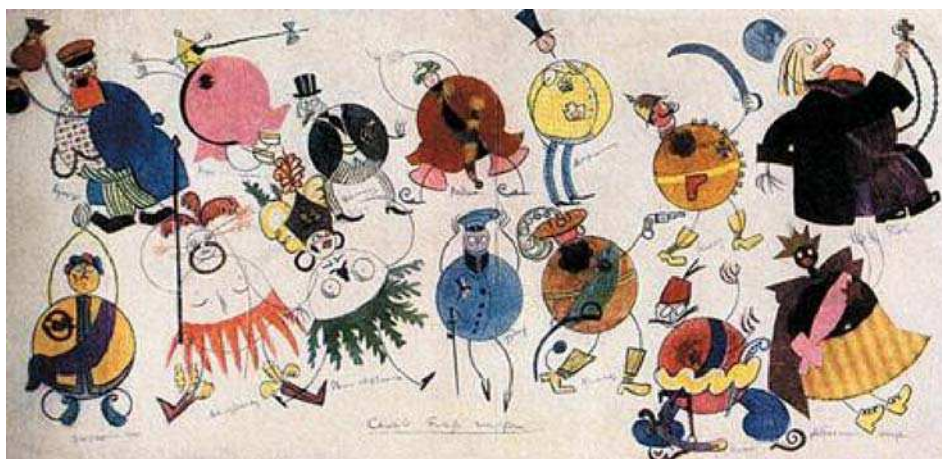
Деготь и нечистые. Благодаря «Мистерии-Буфф» образ дегтя, пачкающего лазурь, поддается более специфичной интерпретации: это квинтэссенция класса *нечистых* и в то же время аналог наделенных речью вещей как формы инобытия этого класса^[6] – тех самых, что в пьесе устремляются навстречу нечистым, представляя им обетованную страну и обращаясь к ним с императивными призывами. Жалоба нечистых: «Кругла земля, проклятая, / ох и кругла!» – получает затем новый смысл: сделав полный круг, нечистые очутились на том же месте, но уже в счастливом будущем. Слова «На Красной площади всего круглей земля» указывают, по-видимому, на то, что Красная площадь, будучи самым центром обетованной страны, является вместе с тем и входом в эту страну будущего (противоречие тут мнимое, ведь у поверхности шара не может быть ни центра, ни периферии). Обитатели этой страны пока что – полезные вещи, продукты утилизации прогрессивного человечества, «большевики» (в широком смысле слова). Следовательно, *там*, с которого начинается четырехстрочный набросок, означает: в обетованной стране будущего.

Надвѣи потоп; יאמרעו עו סקיתאניא в пустыне. Исходная оппозиция чистых и нечистых заменена у Мандельштама оппозицией невольника и школьника. В обетованную страну будущего войдет школьник; он получает указание от дегтя: положить земной шар в сетку, – аналогичное повелению, полученному Ноем от Б-га: построить ковчег в преддверии потопа. Вслед за Маяковским Мандельштам контаминирует два сюжета священной истории – Всемирный потоп и сорокалетние скитания евреев в Синайской пустыне – и отождествляет сушу, показавшуюся из-под схлынувшей воды, с Землей обетованной. В свете этого получает объяснение та странность, что исключительное закругление земли на Красной площади ограничено темпорально: «На Красной площади всего круглей земля, / Покуда на земле последний жив невольник». Подобно тому как ни одному еврею, рожденному в рабстве, не дано было войти в Землю обетованную, страна будущего закрыта для невольника, и покуда жив хоть один невольник, вход в будущее – через Красную площадь – непреодолим^[7] (в силу той самой логики, на которой основывалась жалоба нечистых: сколько ни иди в обетованную страну, возвращаешься в исходную точку^[8]). Смерть невольника симметрична его рождению, и только она аннулирует его статус. После того как последний из рожденных в неволе исчезнет с лица земли (возможно, перейдя в *вещи* благодаря революции, эквивалентной исходу из Египта^[9]), земля на Красной площади утратит свой эксклюзивный признак, и сегодняшний школьник, рожденный после революции, то есть свободным, войдет в обетованную страну будущего.

Труба архангела; «Интернационал»; «Маяковскому». Структурный прототип невольника – пушкинский *пиит* – своим присутствием в *подлунном мире* обеспечивает память о погребенном собрате, тождественном лирическому субъекту. Если допустить в

наброске подспудное брожение образов, получивших экспликацию только при дальнейшей работе над замыслом, то и здесь, возможно, невидимый лирический субъект локализован под землей. В этом случае слово *там* означает прежде всего «на поверхности земли», а *лазурь* интенсифицирует отличие этого *там* от подразумеваемого *здесь*, то есть под землей, в изоляции от воздуха и неба. Поскольку стихи моделируют будущую ситуацию (ведь поэт пока еще не лежит в могиле), естественно предположить, что поверхность земли, в которой он лежит, и есть обетованная страна, но пока что не заселенная свободным человечеством в лице школьника, а только вещами в образе дегтя; в канун потопа деготь шлет послание школьнику, находящемуся пока за пределами обетованной страны, по ту сторону закругления земли на Красной площади. В то же время гудок, производимый дегтем, эвфемистически замещает архангельскую трубу, по сигналу которой мертвые – *толпа голодная рабов* из «Интернационала» – должны восстать из могил, а трубящий деготь отождествим с самим Маяковским, когда-то изображенным Мариной Цветаевой в виде архангела пролетарской революции на фоне дымящих труб: «Превыше крестов и труб, / Крещенный в огне и дыме, / Архангел-тяжелоступ – / Здорово, в веках Владимир!» («Маяковскому», 1921). Еще один аспект эпитета *всего круглей* (выражающего идеальную выпуклость) – противопоставленность земли на Красной площади могиле поэта как полноты – пустоте. Темпоральная ограниченность этой полноты («...всего круглей земля, / Покуда <...>») оказывается в отношении хиазма с неозвученным эсхатологическим мотивом восстания лирического субъекта из могилы.

«Смерть поэта». Собственно лексический переход от *пишта* к *невольнику* обеспечивается, конечно, хрестоматийным, хорошо знакомым *школьнику* уравнением, в котором оба понятия приведены к общему знаменателю в образе убитого Пушкина: «Погиб поэт – невольник чести»^[20].



Интертекст

«К *Вяземскому*». Четверостишие «Лишив меня морей...» обращено к властям, сославшим поэта в Воронеж, и своей начальной строкой вторит знаменитому пушкинскому обобщению:

Í à áññ ñò è è è ý ÷ à è í à à è -

Ò è ð à í, í ð à à à ò à è ù è è è ó í è è

Почему *í à í à à è*? Прагматическое содержание «Лишив меня морей...» сводится к следующему: вы были не в силах заставить меня молчать, ведь шевелящиеся губы от меня неотторжимы; поэтому вы с той же целью отняли у меня свободу передвижения, и ваш расчет оправдался. Эти выкладки вызывают грустное возражение – причем не только задним числом, в биографической ретроспективе, но и сами по себе, с точки зрения своих логических оснований: что мешало власти попросту убить того, чьим молчанием ей хотелось бы заручиться? Поэт, естественно, тоже размышлял над такой возможностью, что и привело его к утверждению, с которого начинается КП. Можно попытаться восстановить общий ход этих размышлений^[21].

И / Но. Прежде всего, очевидно, сформировалась идея, что поэт и в могиле способен шевелить губами. И здесь мы сталкиваемся с проблемой разночтений между окончательной редакцией и промежуточной, зафиксированной в письме С.Б. Рудакова. Она содержит лишь два значимых отличия: *И* вместо *Но* в стихе 2 и эпитет *многопольный* вместо *добровольный* в стихе 4. В зависимости от того, в каких отношениях находятся утверждения, составляющие соответственно стихи 1 и 2, – конъюнкции, как в промежуточной редакции («И то, что я скажу»), или дизъюнкции, как в окончательной («Но то, что я скажу»), общий смысл фразы меняется коренным образом. От сказанного в «Лишив меня морей...» нам не удастся перебросить к каждому из двух этих вариантов один и тот же логический мостик.

И... Власть убивает поэта, надеясь, что он, так сказать, *весь умрет*, то есть рассчитывая все-таки отнять у него шевелящиеся губы, – но убеждается, что ее *расчет* на сей раз не оправдался. Подтверждение этого неприятного для власти открытия как раз и дано в начале промежуточной редакции: «Да, я лежу в земле, губами шевеля, / И то, что я скажу, заучит каждый школьник» (иными словами: «Как видите, и лежа в земле, я все-таки шевелю губами, и более того – то, что я скажу, не останется со мной в могиле, но выйдет наружу и будет заучено грядущим поколением»).

Но... Власть убивает поэта, зная, что он и в могиле продолжит шевелить губами, но полагая, что по сравнению с *упором насильственной земли* погребение будет еще более надежной изоляцией – собственно, доведением *блестящего расчета* до его логического предела. Однако же именно будучи доведен до предела, расчет перестает быть блестящим: «Да, я лежу в земле, губами шевеля, / Но то, что я скажу, заучит каждый школьник» (иными словами: «Несмотря на то, что губами я шевелю, лежа в земле, то, что я скажу, не останется со мной в могиле и т. д.»).

«Лишив меня морей...» → КП. Итак, содержание первой части подземного монолога, обращенной поэтом к власти или, возможно, к себе самому, показывает, что КП развивает, а не опровергает бунтарские мотивы из «Лишив меня морей...». Вторая часть

монолога (стихи 3–8) – это текст в тексте, завещание, дословно то, что «заучит каждый школьник».

Окончание следует

Литература:

1. Алексеев М.П. Стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»: Проблемы его изучения. Л., 1967.
2. Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души: Работы 1978–2003 годов. М.: НЛО, 2003.
3. Вейдле В. О последних стихах Мандельштама // Воздушные пути. Альманах II / Редактор-издатель Р.Н. Гринберг. Нью-Йорк, 1961. С. 70–86.
4. Видгоф Л.М. Москва Мандельштама: Книга-экскурсия. М., 2006.
5. Войтехович Р. Дополнения к интерпретации стихотворения О. Мандельштама «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» // Русская филология. № 7. Тарту, 1996. С. 186–196. Цит. по: TSQ. № 13 (Summer 2005) <<http://www.utoronto.ca/tsq/13/vojtehovich13.shtml>>.
6. Мандельштам Н.Я. Третья книга / Сост. Л.Ю. Фрейдин. М., 2006.
7. Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. / Сост. и коммент. П. Нерлера и А. Никитаева. М., 1993–1999.
8. Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений / Вступ. статьи М.Л. Гаспарова и А.Г. Меца. Сост., подгот. текста и примеч. А.Г. Меца. СПб., 1995.
9. Мандельштам О. Стихотворения. Проза / Сост. Ю. Фрейдина. Предисл. и примеч. М. Гаспарова. Подгот. текста С. Василенко. М., 2001.
10. Мачерет Е. О некоторых источниках «Буддийской Москвы» Осипа Мандельштама // Acta Slavica Iaponica. Т. 24. 2007. Р. 166–187.
11. О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступ. ст. Е.А. Тоддеса и А.Г. Меца. Публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой и А.Г. Меца. Комментар. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса, О.А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О.Э. Мандельштаме. СПб., 1997. С. 7–185.
12. Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002.
13. Струве Н. Осип Мандельштам. London, 1988.
14. Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000.
15. Јовановић М. Заметки о «Нерукотворном памятнике» Мандельштама // Зборник за славистику Матице српске.

[1] Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, стихотворения Мандельштама цит. по: [8]. (Первая цифра в квадратных скобках обозначает номер издания в списке литературы в конце статьи, вторая, если она есть, – номер страницы в этом издании.)

[2] Здесь и далее в цитатах курсив источника.

[3] В публикации 1971 года (Mandel'stam's Monument not Wrought by Human Hands // California Slavic Studies. Vol. VI. Festschrift for G. Struve. P. 43–48), интегрированной затем в его книгу «Essays on Mandel'stam» (Cambridge, Mass., 1976). В последние годы жизни ученый подготовил расширенный русский вариант этой книги, увидевший свет только в 2000 году (см. [14]).

[4] Иисусово хождение по водам, поминаемое здесь по ассоциации с потопом, как бы уравнивается не упомянутым здесь переходом Моисея через расступившееся Черное море. Контаминация черт Моисея и Христа, в русской традиции типичная для панегирических уподоблений монарха-Кормчего начиная с петровского барокко и охотно подхваченная риторикой «большевистского вождизма» (выражение М. Вайскопфа [2, 423]), характерна и для Мандельштама – как безотносительно к этой традиции, в стихах 1910 года: «И в пустоте, как на кресте, / Живую душу распиная, / Как Моисей на высоте, / Исчезнуть в облаке Синая» («Мне стало страшно жизнь отжить...»), так и в прямой зависимости от нее, в стихотворении 1918 года «Прославим, братья, сумерки свободы...», где тот, «кто в смутное время принимает ответственность за власть революционного народа <...> в целом уподоблен Моисею или Христу» [12, 131].

[5] Подразумевается, конечно, не ванная, а ванна: Маяковский пошел на поводу у равносложной рифмы.

[6] В этом эпизоде получает смысл использование библейского деления животных на чистых и нечистых с точки зрения их пригодности или непригодности в пищу. Ср. слова Вельзевула: «Сами знаете, какие теперь люди? / Изжаришь, так его и незаметно на блюде. / Нет этих мешочников в ризе. / Сами понимаете – продовольственный кризис. / Притащили на днях рабочего / из выгребных ям, / так не поверите – нечем потчевать» (1-й вар.).

[7] Возможно, слова Мафусаила, занятого подготовкой к торжественному приему праведников: «Доишь облака, сын мой? <...> Надоишь – и на стол. / Нарезьте даже / облачко одно, / каждому по ломтику», отразились еще в стихотворении Мандельштама 1923 года: «Давайте бросим бури яблоко / На стол пирующим землянам / И на стеклянном блюде облако / Поставим яств посередине» («Опять войны разноголосица...»).

[8] Во 2-м варианте нечистые сперва находят паровоз и пароход (оба наделены речью) и добывают для них топливо – уголь и нефть. Работая в шахтах, они слышат отдаленный шум производства («колес грохотание, / фабрик дыхание мерное...»), доносящийся из земли обетованной, куда они и отбывают на паровозе.

[9] Москва включена в перечисление только во 2-м варианте пьесы.

[10] Ср. финал стихотворения «Христофор Колумб» (1925): «я б Америку закрыл, / слегка почистил, / а потом / опять открыл – / вторично».

[11] О библейских мотивах «Мистерии-Буфф» в контексте большевистской мифотворческой поэзии (включая поэму Демьяна Бедного «Земля обетованная» 1918 года) см.: [2, 417–421].

[12] Мотив, перекочевавший в «Юбилейное»: «Можно / убедиться, / что земля поката, – / сядь / на собственные ягоды / и катись!» Параллель между этими строками и КП не встречалась мне в научной литературе, но она не единожды отмечалась культурными читателями в сетевых дискуссиях.

[13] Этот оксюморон, по-видимому, призван передать смятение.

[14] Футбольное выражение «положить мяч в сетку (ворот)», означающее «уверенно забить гол», конечно, несовместимо с мандельштамовской поэтикой, избегающей жаргонизмов и субкультурной фразеологии.

[15] Эти строки Маяковского, в свой черед, обнаруживают любопытное сходство с мандельштамовскими 1912 года: «...И, с тусклой планеты брошенный, / Подхватывай легкий мяч!» («Я вздрагиваю от холода...»).

[16] Ср. в знаменитом «Товарищу Нетте – пароходу и человеку» (1926): «Мы идем / сквозь револьверный лай, / чтобы, / умирая, / воплотиться / в пароходы, / в строчки / и в другие долгие дела». Искренней верой в этот утилизирующий метемпсихоз проникнуто написанное в тот же период стихотворение «Ужасающая фамильярность».

[17] Ссылный Мандельштам должен был с новой остротой пережить свое ощущение советской Москвы в 1920-х годах как Запретного Города, квинтэссенции азиатского Среднего царства, отвернувшегося от Европы и христианства, – см.: [4, 71], [10, 171–172]. Этими представлениями, скрещенными с советским утопическим эсхатологизмом, не в последнюю очередь объясняется политическая двойственность авторской позиции в КП.

[18] Р. Войтехович резонно замечает: «Гиперболизированная превосходная степень определения “земли” (“всего круглей”), с одной стороны, действительно, может намекать на возвышенность Красной площади <...> но, с другой стороны, она относится не прямо к площади, а к земле, шарообразность которой не допускает сравнительных степеней» [5]. Можно поэтому предположить, что, говоря о беспримерном закруглении земли на Красной площади, Мандельштам предвосхищает ироническую формулировку Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие».

[19] Ср. неодушевленные категории «ничто» и «все» в «Интернационале»: «Nous ne sommes rien, soyons tout!» («Сегодня мы ничто, а завтра будем всем» в пер. Н. Минского).

[20] Ср. повторы с инверсиями и вариациями в стихах 3–6, имитирующие школьное заучивание.

[21] При этом нужно иметь в виду, что, пытаясь прояснить темные места посредством сопоставительного анализа стихотворения с близкими ему по теме и времени создания, мы зачастую можем в лучшем случае догадываться о последовательности их появления, поскольку датированные черновики не сохранились [6, 343]. В случае с «Лишив меня морей...» и КП, между которыми несомненно тесная смысловая связь, приходится постулировать направление поэтической мысли (соответственно от первого ко второму), не зная, в этом ли порядке они были написаны.

ТРИМАЛЬХИОН

Ἀδελφεὲ Ἐπίκουρι ἀί

Ἰὶ ἀϊῶ ἰάφουίαι (ἀαῖι ἰαι), φῆῖαυῖαι ἀϊῖῖ -ἀῖῖαι.

Ἀδῖῖαῖῖ ἂ φῆι ἰεῖῖ ἀῖῖῖ ῖ

Ἰ δῆ φῆι ἰεῖῖ οῖῖῖ ἂῖ, ἂ ἰῖῖῖῖῖῖῖ..

«АНТИГОНА» СОФОКЛА В ТОЛКОВАНИИ МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА, «ВВЕДЕНИЕ В
МЕТАФИЗИКУ»

Сказано поэтом: «Бросьте баркас в басурманское море». Бросили. И вот история о корабле язычников, что плыл в Великом море. А на корабле был один еврейский юноша. Поднялась на них в море великая буря. Что они сделали? Каждый схватился за своего идола, но без толку. Тогда сказали еврею: «Почему ты не встанешь и не помолишься?» Он встал, помолился, и море успокоилось. Когда же пришел корабль в порт, каждый сошел на берег, чтобы купить себе все, что нужно. Спросили еврея: «Неужели ты ничего не хочешь купить?» Ответил он им: «Что вы хотите от бедного чужеземца?» Сказали ему: «Это ты-то бедный чужеземец? Вот эти – их боги в Вавилоне, а они здесь. Эти – их боги в Риме, а они здесь. Ты же – куда ни пойдешь, твой Б-г с тобой!» И потому написано: «Есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Г-сподь, Б-г наш, когда ни призовем Его?» (Дварим, 4:7). Так в Иерусалимском Талмуде (Брахот, 9:1).



**Вилла на берегу моря. Фреска.
Стабии. Около I века н. э.**

Удивительно! Что же это за юноша такой? Почему он не сошел на берег? Разве он не знает, что в каждом порту есть синагога, есть лавка с кошерным мясом, есть стол и кров для еврея? Ведь вот он называет себя «чужеземец», ахсанай – от греческого слова ксенос. Но в Талмуде и «гостеприимство» – ахсанья, от греческого слова ксения. Евреи гостеприимны к евреям, особенно же к ученикам мудрецов, к тем, кого называют цурба ме-рабанан – «раввинская косточка». Как-то раз собрались наши наставники и начали хвалить ахсанью. Сказал рабби Авин, левит: «Каждый, кто наслаждается пиром с учениками мудрецов, как будто наслаждается сиянием Шхины, ибо сказано: “И пришел Аарон и все старейшины Израиля есть хлеб с тестем Моше перед Б-гом” (Дварим, 18:12). А разве перед Б-гом они ели? Ведь они перед Моше ели! Но в Торе написано “перед Б-гом”, чтобы научить тебя, что каждый, кто наслаждается пиром с учениками мудрецов, как будто наслаждается сиянием Шхины». Шхина же есть Присутствие Г-сподне.

Корабли пашут киями Великое море, везут на себе евреев и язычников, юношей и их наставников. Скорее, скорее, им нельзя опоздать на пир! Ведь каждый, кто наслаждается их обществом, приобщается к красоте и истине. И вот четверо входят на пир в богатый дом: Энколпий, Асклит, Гитон и Агамемнон. Агамемнон – ритор и учитель риторики, Асклит и Энколпий – молодые люди, получившие изрядное образование, а Гитон – юноша 16-ти лет, предмет страсти и ревности Асклита и Энколпия. Что же до хозяина дома, Тримальхиона, то его жизнь изображена у входа, на стенах портика. Здесь

нарисован невольничий рынок, юный Тримальхион, кудрявый раб, вступающий в Рим, и он же через пару лет в роли раба-казначей. А теперь, много лет спустя, он сам – владелец рабов, латифундий и погребов со старым фалернским вином. И хотя Тримальхион и велел написать на своей могиле, что никогда не слушал философов, здесь, на пиру, он ценит мудрость и изящество. Потому и пригласил Агамемнона и его друзей. Но контroversии, школьные упражнения Агамемнона на судебные темы, Тримальхиону не понравились. Лучше расскажите нам, профессор, о странствиях Улисса, как ему Полифем палец щипцами вырвал!

Да и гости на пиру похожи на хозяина. Один из них разгневался на Асклита и Гитона. Подумаешь, эти образованные! А умеют ли они вычислять проценты в деньгах и весе? Ах, они рождены свободными римлянами, римскими всадниками! А может, мы царские дети? Ведь и имя Тримальхион значит «Трехцарственный». Малка – по-арамейски царь. Увы, увы, прав этот гость. На самом деле Асклит, Гитон и Энколпий – проходимцы, бегущие из города в город от гнева обманутых клиентов и оскорбленных богов. И буря их не потопит. Спасутся с тонущего корабля и – опять за свое плутовство. Такими их выставил в романе «Сатирикон» Петроний Арбитр. Да и сам Петроний был из их числа. Арбитр вкуса, соратник Нерона по разврату и роскоши, покончивший с собой по приказу императора.

А вот что рассказал рабби Хия бар Абба о еврейском пире: «Как-то раз пригласил меня один человек в Лаодикее и поставил перед нами круглый стол об одиннадцати ногах, а на нем – все, что сотворено в шесть дней творения. И мальчик, сидя посередине стола, возглашал: “Земля, и все изобилие ее, и все живущие на ней – все принадлежит Г-споду” (Теилим, 24:1). И почему же он возглашал это? Чтобы хозяин дома не возгордился. Спросил я хозяина дома: “Сын мой! За что удостоился ты такой чести?” Ответил тот: “Я был мясником. И всю неделю лучшие куски говядины я откладывал на субботу”. О таких, как этот мясник, мы читаем: «Рабби Ишмаэль, сын рабби Йоси, спросил Йеуду Князя: “За какие заслуги евреи в Вавилоне живут долго?” Ответил Йеуда Князь: “За то, что учат Тору”. “А в Земле Израиля?” – “За то, что отделяют десятины”. – “А во внешнем мире?” – “За то, что чтут субботы и праздники”» (Берешит раба, 11:4).

«Внешний мир» – это бесприютный мир двух империй – Римской (за пределами Земли Израиля) и Сасанидской, Персидской (за пределами Вавилона). Там евреи не учат Тору, не отделяют десятину для священников давно сожженного Храма. Там нужно много удачи и труда, чтобы из рабов выбиться в хозяева. А когда выбьешься, приглашаешь заезжих ученых гостей, сажаешь мальчика посередине стола, велишь ему читать наизусть Тору. И стол твой круглый – дискос по-гречески, и яства на нем – яства кошерные, и гости возлежат в пиршественной палате – триклинии – на ложах, убранных подушками. А что мальчик читает Тору, так это не только удерживает тебя от гордости, но и улаждает твой слух. Как Тримальхиону скучны школьные судебные контroversии, так и тебе скучны алахические тонкости. Вот веселые и страшные истории – это тебе по вкусу. Может быть, даже прочтут тебе по латыни услужливые рабы «Библейские древности», книгу увлекательную и подробную. Говорят даже, что ее написал некий Филон.

Трактат Гитин полон историй о евреях, взятых в плен и уведенных во «внешний мир». Например, там есть история о любовных амулетах, средствах к возбуждению желания: «Раньше знатные римляне брали с собой на брачное ложе перстни с геммами, ныне же привязывают сынов Израиля к спинкам кроватей» (58a). В такой позиции сыны Израиля, прекрасные юноши, учат Тору. И вот история о четырехстах мальчиках и девочках, которых везут на корабле для разврата. Сначала бросились в море девочки. А потом мальчики применили логический прием «от легкого к более строгому»: если

девочки, созданные для близости с женщиной, поступили так, то мальчики, для этой близости не созданные, тем более должны поступить так. И бросились в море (376). Или история о том, как рабби Йеошуа бен Хананья отправился в великий город Рим. Сказали ему: «Есть в городе юноша с прекрасными глазами. Красив он, и вьются волосы его». Рабби Йеошуа выкупил юношу, и тот стал знаменитым ученым, рабби Ишмаэлем бен Элишей. И были у рабби Ишмаэля двое детей – девочка и мальчик. Они попали в плен и оказались у разных хозяев. Однажды хозяева встретились. Один сказал: «Есть у меня раб, красивее которого нет во всем мире». Другой сказал: «Есть у меня рабыня, красивее которой нет во всем мире. Давай поженим их и поделим приплод». Всю ночь сидели брат и сестра в разных углах комнаты, а утром узнали друг друга и умерли (58а). В мидраше Эйха раба эту же историю рассказывают о детях рабби Цадока.

Или вот история о дочери первосвященника. Тот, кто взял ее в плен, всю ночь насиловал ее, а наутро надел на нее семь одеяний и вывел на продажу. Подошел один урод и сказал: «Покажи мне красоту ее». – «Пустой человек, если хочешь взять ее – бери, ибо нет красивее ее в целом мире». – «И все-таки я хочу видеть ее». Снял с нее продавец шесть одеяний, а седьмое разодрала на себе она сама, вывалялась в пыли и сказала: «Владыка мира! Пусть нас Ты не пожалел, но почему к святости Имени Твоего нет у тебя жалости?» И ее оплакивает пророк Ирмеяу: «Дочь народа моего, опояшься вретисом и вываляешься в пыли, скорби, как скорбят о единственном сыне, причитай горестно, ибо внезапно губитель придет на нас» (6:26). Сказано не «на тебя», а «на нас», то есть и на Меня, и на тебя придет губитель! На Израиль и на Святого Израилева.

Губитель приходит на прекрасных возлюбленных из Шир а-ширим: на Шломо и Шуламит, на Г-спода и Его народ. И если мы найдем в этих историях только свидетельства разврата в Римской империи, то ошибемся, не заметим сияния красоты, о котором Талмуд твердит неустанно. Ведь не впустую сказано, что «каждый, кто наслаждается пиром с учениками мудрецов, как будто наслаждается сиянием Шхины». Платон же полагал, что сияющую красоту видели наши души за небесной грядой. Когда же души упали в тела, мы стали видеть сияние красоты телесным зрением. Глядя на красоту юноши, душа согревается, избавляется от муки и радуется. Но это лишь первый шаг к созерцанию красоты самой по себе, созерцанию не телесному, а умственному, доступному лишь тем, кто ищет мудрости. Так в диалоге «Федр». Что же, неужели мы скажем, что есть в Талмуде «платоническая любовь»? Хас ве-халила, да не будет! А о том, что есть общего между Талмудом и Платоном, – об этом все мои эссе.

М. Бен-Ами: нетерпение сердца

Ī äëë Ī ĩđđĩ ĩä

× ò ĩ çà äđä ĩ ŷ ÷ ò ĩ äü ě ĩ,

× ò ĩ çà ě ĩ ä ě, ÷ ò ĩ çà ĩ ě ě ü.

Семен Фруг

1.

Мордехай Бен-Ами (Марк Яковлевич Рабинович; 1854–1932), беллетрист, публицист и сионистский деятель, удостоился при жизни высоких оценок литературной критики, называвшей его одним из самых талантливых еврейских писателей. Но личные отношения Бен-Ами с современниками неизменно отличались конфликтами. Х.-Н. Бялик, один из самых близких друзей писателя по одесской колонии еврейской интеллигенции, преодолевал эти трудности[1], а С.М. Дубнов, сотрудник Бен-Ами еще по «Восходу» 1880-х годов, – нет. В своей «Книге жизни» историк зафиксировал все разногласия с «фанатиком еврейского национализма», «горячим», «слишком густо окрашенным» «одесским ругателем», «ярким русофобом» и т. п. Дубнов старался быть объективным и отмечал, что его друг-враг «имел от природы доброе сердце»[2]. Окончательная оценка оказалась скорее негативной: «Умер в Палестине Бен-Ами, 78 лет. Встали в памяти одесские годы, соседство на Базарной улице, жизнь в Люстдорфе летом 1891 года. Но на этот раз не так волновали эти воспоминания. Не было у меня душевной связи с Бен-Ами, воплощением “шефох хамосхо”[3] и “хасидского” фанатизма»[4]. Итальянская исследовательница Лаура Сальмон, автор основательной и пока единственной монографии о Бен-Ами, увидела в дубновском отношении несправедливость, ставшую одной из причин забвения яркого писателя[5]. Что же вызывало постоянные раздоры между Бен-Ами и деятелями еврейского ренессанса, как правило ценившими солидарность?



Главная синагога Винницы, одного из крупнейших еврейских местечек в Подолии. Вторая половина XIX века

2.

Сам Мордехай Бен-Ами в своих мемуарных сочинениях неизменно возвращался к своему раннему детству в подольском местечке, к атмосфере счастья в бедном еврейском доме: «...всем лучшим, что создал, я всецело обязан той патриархальной еврейской среде, где протекло мое детство. <...> Помню, как отец мой на смертном одре говорил моей бедной матери: “Тот, кто заботится о всем народе Израильском, не оставит ни тебя, ни моих детей”. Никогда я не слышал благословения индивидуального характера – всегда к пожеланиям личных благ добавляли: “тебе и всему народу Израильскому”»[6]. Идишское местечко стало идеальным полюсом в его жизни, а последовавшие за смертью отца сиротство, «страстная школа обид и вопиющей несправедливости», через которую он прошел в городе, сформировали уязвленность и обидчивость, ту обидчивость, которая была, по мнению Ф.М. Достоевского, национальной чертой еврейской интеллигенции[7]. Бен-Ами учился в одесской талмуд торе, а потом (по поддельной метрике) – в гимназии; получив аттестат зрелости, отправился в Киев изучать медицину, но через два года вернулся в Одессу и продолжил учебу на историко-литературном факультете.

Он всегда был активен и инициативен: в 1881 году, почувствовав запах погрома в одесском воздухе, он с другими студентами организовал первую в России еврейскую самооборону. В следующем году отправился в Париж для ведения переговоров со Всемирным альянсом о помощи жертвам погромов. Наблюдая во Франции склонность евреев к ассимиляции, начал писать очерки, которые посылал в «Восход». Из-под его пера выходили памфлеты о деградации личности: «Что же ты мне сделаешь, когда я терпеть не могу жидов, – вся раскрасневшись, перебила ее своим хриплым басом мадам Гензеншмальц (героиня очерка, мещанка и антисемитка, сбежавшая из Москвы в Женеву. – Н. П.). – Из-за них мне никогда покою нет. Нельзя улицы пройти без того, чтобы все не указывали: жидовка, жидовка. Из-за этих жидов и из Москвы нас выгнали. А там у нас такое хорошее, все благородное общество было» («Письма на ветер»)[8].

В дальнейшем эта инвективная линия продолжилась в многочисленных публицистических статьях и воспоминаниях: «Глас в пустыне», «Воспоминания о старой Одессе», «Черная кайма», «Годы гимназии». Острую полемику в еврейской прессе вызвали обвинения, высказанные Бен-Ами в адрес композитора А.Г. Рубинштейна и скульптора М.М. Антокольского, которые, по его словам, «с жалкою презренной трусливостью скрывали свое еврейство»[9]. Дубнов писал, что Бен-Ами «знал либо праведников, либо злодеев», у него были лишь две оценки: либо «восхитительно», либо «отвратительно»[10]. Первая была связана с прошлым общины, с ее религиозными традициями, и поэтому автора рассказов «Лаг ба-омер», «Ханука», «Маленькая драма», «Бааль тфила», «В ночь на Ошана раба», «Субботние свечи», «Седер на глухой станции» называли «поэтом субботы». Его бедные герои, преимущественно дети, преодолевают огорчения и потрясения, возвышаясь над реальностью силой духа и смирением. Когда у мальчика Лейбеле, героя «Маленькой драмы», в канун Песаха, которого он ожидал как чуда, в общинной бане украли новые сапоги, отец утешает его: «Не плачь, Лейбеле, не плачь, сын мой. Так оно должно быть. Ты слишком много радовался. А бедняку слишком радоваться нельзя...»[11]

Но то было прошлое; в настоящем же Бен-Ами ужасала скорость, с которой происходило разложение общинного уклада, – надо было застать его островки. Во время поездки на отдых в Литву он собирал примеры исключительности прибалтийских евреев, которые – в отличие от ассимилированных южных – «еще сохранили полное право на этот благороднейший из всех титулов». «Почти рядом с синагогой стоит крошечная

деревянная лавочка, немного больше будки караульного. Днем я тут видел двух женщин, мать и дочь. <...> Я подхожу и довольно нескромно заглядываю через одну из щелей. Что за волшебство! Будка потеряла всякий след лавочки и превратилась в прелестную тихую обитель, где все сияет миром и счастьем. Недаром наши талмудисты считают субботу одним из ценнейших даров, данных Г-сподом Израиллю»[12]. В ротницкой общине он удивлялся «нищим оборванцам», которые «понимают Талмуд, Мидраш, пророков», на лицах которых – «благоговейное внимание», «духовный восторг» и «сияние»[13].

Прочтя в 1897 году в Одессе книгу Теодора Герцля «Еврейское государство», Бен-Ами обрел надежду. Став, по выражению Дубнова, «воинствующим герцелистом», он встретился с отцом сионизма, подружился с ним, помогал в подготовке I-го Сионистского конгресса. Но главное свое предназначение Бен-Ами видел в литературной пропаганде национальных идей. В том же 1897 году, в предисловии к первому сборнику своих сочинений, он писал: «...пускай сами евреи будут проникнуты истинной любовью к еврейскому народу и к еврейству – и это совершенно достаточно. Не от других мы должны ожидать спасения. Это вечное ожидание чужих милостей, это вечное стояние на лапках перед чужим столом в ожидании крох парализуют совершенно наши нравственные силы, развращают наш характер, выработывая в нас много низменных, недостойных черт»[14]. В отличие от других русско-еврейских писателей, он апеллировал к народу, а не к интеллигенции, которой не доверял, – прожив за границей (в Швейцарии) около 20 лет, этот «вечный эмигрант» так и не вошел ни в одно из ее объединений[15]. Д. Овсянико-Куликовский называл его одним из наиболее ярких представителей «еврейского народничества».



Еврейский погром в Одессе. 1905 год.
Открытка

3.

Народничество Бен-Ами было не только идеологическим принципом, но и страстным переживанием, что выражалось, например, в его отношении к своему псевдониму («Сын моего народа»), которым он пользовался с 1881 года и который передал своим детям как фамилию[16]. В очерке Шолом-Алейхема «Забыл свое имя»[17] Бен-Ами, гуляя вместе с друзьями в Альпах, рассказывает об одном эпизоде, случившемся с ним в 1905 году, когда он решил уехать с семьей за границу, подальше от погромов. Для этого надо было раздобыть паспорт.

Пройдя все семь кругов ада, вошел я к нему в кабинет и застал в самом разгаре работы: он скрипел пером. <...> Подхожу к столу, без единого слова подаю ему бумаги.

Начальник заглянул в бумаги и – ко мне: «Как тебя звать?» Я молчу. Видя, что я молчу, он повысил на несколько тонов голос: «Как тебя звать? Как твое имя?!» Мое имя!!! Слышите, клянусь жизнью, в эту минуту я, как нарочно, забыл, что, кроме моего псевдонима, у меня есть еще и собственное имя. Но как, скажите на милость, забыл?! Совершенно-таки забыл! Начисто забыл! Все имена во всем мире я помнил; все имена моих родственников, друзей и знакомых стояли перед моими глазами, и только одно имя, мое собственное имя, ушло туда, куда уходит милая святая суббота, исчезло бесследно! Неслыханное дело! «Б-же милостивый! Как мое имя? Как меня зовут? Ну???» Хоть убейте, забыл! Что тут делать? Начальник смотрит на меня, как на наглеца. «Вот-вот, – думаю я, – он разразится трехэтажным благословением с разворотом, позвонит, и войдут два ангела-хранителя, зацапают меня, как бес зацапал меламеда, и со всеми почестями отведут прямо в холодную!» А я это ненавижу, эту шутку я уже отведал! Довольно! Больше не хочу!

Есть, однако, на свете великий Б-г, и Он спас правого. Он подал мне мысль, чтобы я тверд был как камень. Эти людишки, если вести себя дерзко, да еще говорить с ними, повысив голос, тотчас обмякают, хоть вей из них веревки. Так и было. Сейчас вы услышите, какой разговор произошел между нами. Передаю его дословно.

Он. Как тебя звать?

Я. Кого? Меня?

Он. А кого же? Меня?

Я. Точно так, как значится в этих бумагах.

Он. А как значится в этих бумагах?

Я. А читать ты умеешь?

Он. Кто? Я?

Я. А то кто же? Я?

Он (громким голосом). Ка-а-ак! Ты смеешь со мною так разговаривать?

Я (тоже громким голосом). А ты знаешь, с кем ты разговариваешь?

Услышав мой резкий тон, какого отродясь не слышал от еврея, начальник заглянул в бумаги и вслух прочел мое имя – только это мне и нужно было[18].

Рассказ психологически достоверен: Бен-Ами жил под псевдонимом, как под знаменем, а банальная отцовская фамилия растворилась ввиду ненадобности. Личностное отношение к национальным проблемам было отражением цельности его натуры, но оно исключало способность к компромиссу, между тем как друзья не забывали напоминать «горячему» русофобу, что пишет-то он по-русски. Когда приходилось давать историческую оценку лучшим людям еврейского народа, из-под его пера выходили теплые и поэтичные портреты Фруга, Бялика, Герцля и других[19], но в личном общении и в переписке по конкретным поводам широта взглядов и глубина анализа ситуации тонули в страстности проклятий.



Письмо М. Бен-Ами к Ахад а-Аму от 8 августа 1901 года

4.

В Архиве Национальной библиотеки (Иерусалим) хранится большая пачка писем Бен-Ами Ахад а-Аму конца 1890-х – начала 1900-х годов, когда Бен-Ами со своими друзьями участвовал в деятельности Одесского комитета (Общества вспомоществования евреям – земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине). Мы выбрали два письма, датированные 1901 годом и посвященные главной для обоих корреспондентов теме – судьбе палестинских колоний. Ахад а-Ам, ранее, в 1891 и 1893 годах, посетивший Палестину, написал серию статей «Эмет ме-Эрец-Исраэль» («Правда из Земли Израиля»), в которых подвергал критике недостатки колонизации; среди прочего он писал о вреде, который причиняет колонистам опека администрации барона Эдмона де Ротшильда. В 1900 году Ротшильд передал свои права на управление палестинскими колониями Еврейскому колонизационному обществу (ЕКО). Начались разногласия в суждениях об этом шаге. Бен-Ами, ценивший, прежде всего, национальные устремления человека, восхищается преданностью Ротшильда палестинскому делу и противопоставляет его «своим», «жалким людишкам». Главный из них – М. Моргулис, один из старых активистов одесского еврейства, постоянно менявший свои убеждения, бывший в 1890–1897 годах секретарем Одесского комитета, но с появлением политического сионизма ставший его противником; тот самый «обезличенный», «корректный», «гладкий и скользкий» человек, которого Дубнов противопоставлял «колючему, как еж» Бен-Ами[20], воплощал собой вредительство и предательство, то есть пороки, в которые Бен-Ами всегда целился. Автор письма подвергает Моргулиса последовательной обструкции, и нервное это письмо не просто личная исповедь другу – это призывающая к действию прокламация, которую автор разрешал показывать другим и, при желании, публиковать.

Дорогой товарищ!

Я очень рад, что Вам хоть немного лучше. Довольно у нас всяких моральных болячек, зачем нам еще телесные. Как видите, хоть один уполномоченный хоть на что-нибудь оказался способным раз в своей жизни.

Письмо (открытое) Ротшильда я читал. Вы знаете мои взгляды на Ротшильда. Это феноменальное явление в наше время. Подобного не сделал еще ни один барон в мире, и тем более еврейский, да еще при французских и еврейских крепостных. Из всего, что он дал, что говорил, явствует, что он проникнут высокими и благородными национальными стремлениями. И одно это заслуживает уже высокого звания. Затем, разве мы лучше поступали? Мы меньше развращали колонистов? У нас результаты лучше? Правда, что на все дело имел влияние его способ колонизации. Я, однако, уверен, что и без того мы бы достаточно развратили их своей тряпичной снисходительностью и поощрением их инорерства [\[21\]](#). Благодаря Ротшильду мы хоть имеем известную площадь земли в Палестине, без него ничего не имели бы. Затем, я глубоко уверен, что он склонен переменить систему колонизации в смысле меньшей опеки. Но ряд возмутительных скандалов, нахальнейших требований и угроз со стороны колонистов естественно восстановили его против этих нахальных клей кодекш [\[22\]](#). И вот депутация к нему явилась еще с обвинительным актом, как бы в поощрение наглости колонистов. Это его должно было возмутить до глубины души и заставить его говорить таким языком. На самом же деле он по возможности будет стремиться к исправлению ошибок, в которых он меньше всего виноват. Душевно он должен глубоко страдать и от неудач, и от возмутительной неблагодарности колонистов. И все это не принимается во внимание, и за все неудачи делают его козлом отпущения. Я, право, не думаю, чтобы наши жалкие людишки, вроде Темкина, Бинштока, Айзеништадта и др., в общем меньше вредили делу, чем администраторы Ротшильда.

Все это дело прошлое. Что, однако, теперь делать? Что станем делать мы теперь в Комитете? Надо еще дать себе отчет, наконец, и начертить хоть кое-какую программу деятельности. А какую? Быть может, самое лучшее было бы оставить всякую деятельность. Я, по крайней мере, не вижу никакой ясной задачи, кроме отрицательной. Я свой «Глас» уже заставил молчать [\[23\]](#). <нрзб> Думаю приняться за беллетристику, отдохну немного, чтобы, как до сих пор, непрерывно работать. В последнем письме мне пришлось коснуться множества мелких фактов, и я это соединил с величайшим чувством гадливости. Но надо, наконец, снять маску со всей этой образцовой деятельности, насквозь пропитанной гнусной ложью и шарлатанством, да еще презрением ко всему еврейскому. Отцом этого шарлатанства является Моргулис. Скажу Вам между нами, что я в последнее время сильно сомневаюсь в его элементарной честности. Как человек безалаберный, который вечно нуждается в деньгах, он мог невольно запутаться. Таково мое предположение очень давнишнее. Кончаю, сильно нездоровится, готовится или ангина, или инфлюэнца. Будьте здоровы! Ваш Бен-Ами. Сердечный привет Лизе. Привет Вам от всех наших. Всех лучших благ к наступающему году [\[24\]](#).

В ноябрьском письме того же года эмоциональная буря продолжилась. К кому еще можно обращаться, как не к лидеру духовного сионизма, создавшему программу национального воспитания? И снова Бен-Ами стучится в открытую дверь: «Это не Ваше личное дело, ни дело Д[убно]ва, а наше общее дело». На всякий случай, в конце письма он отвел подозрения в личном пристрастии к Моргулису.

Дорогой товарищ!

Сколько я ни думаю о предмете известного Вам заседания, сколько ни стараюсь спокойно все взвешивать, я все-таки прихожу к одному и тому же неизменному заключению, что защищать Моргулиса должны Сакер, Хаис, Вейнштейн, д-р Финкельштейн, Питкис. К ним также шагнет вся та буржуазная клика, с которой он шел рядом всю жизнь во всей своей общественной деятельности. Все же то, что всем нам дорого и свято, он грубо и бесцеремонно попирает, и Вы не имеете никакого нравственного права прямо или косвенно, в той или иной форме защищать его. Это не Ваше личное дело, ни дело Д[убно]ва, а наше общее дело, и Вы тут не можете поступать по Вашему личному усмотрению. По-моему, Вы должны подвергнуть этот вопрос обсуждению Комитета национализации, с которым он весьма тесно связан. Десятки лет олигархия, созданная и руководимая Моргулисом, бесконтрольно, деспотически и все развращая своим тлетворным влиянием, властвует над одесской еврейской общиной и над ее учреждениями, пропитанными враждебным всему еврейскому духом. Теперь олигархия эта, перешедшая всякие границы, рушится под тяжестью накопленного позора. Все честные люди должны этому только радоваться. Если нам не принадлежит честь разрушения этой олигархии, то тем менее мы должны брать на себя бесчестье ее поддерживать хоть бы в самой незначительной форме.

Считаю нужным повторить след[ующее]: Моргулис несколько лет относился ко мне еще лучше, чем к Вам. Не он от меня, а я от него отвернулся, когда я увидел недостойное направление его деятельности, его союз с самыми антипатичными и враждебными народной массе и еврейству вообще элементами. Только в этой его недобросовестной деятельности источник моей враждебности к нему. Личных столкновений никогда с ним не имел.

Ваш Бен-Ами.

*P. S. I u aieaiu aaiieou iaee oaa a yoi aiea :oi aaiieay ia:ouu
aiao nny ooo nai ui aai:aiouu iadaai : iia eee cai ae:eaao aa i die nia yuaa
eee oaeuieoeeduo oaeou, aaiiaayy iai oieuei aeaiideyoiia iaaiiee
aaiieiee ieeadde. A eaiee au oi dia Au ie o:aiiaiee a caieoa eee
daiee oaeie I idiee, yoi a aaiia aeiaiee ai oei aoeiiaeuia aoua
aieuee i po aa aaiiee o: daeai ee, y aao ai oaeai i di o ai oia ou i di o ea Aaeai
i i po oi ea [25].*



Барон Э. де Ротшильд со своей супругой Аделаидой во время посещения поселения Зихрон-Яков.
1914 год

5.

С 1918 года Бен-Ами перешел на иврит, готовясь к переезду в Палестину, где поселились и нашли себя его дети – дочь и сын. Его мечты осуществились только в 1923 году. Его тепло встретили друзья: Ахад а-Ам, Равницкий и Бялик, – но знакомство со страной страшно разочаровало: новый еврейский ишув был далек от идеала, к тому же не была решена проблема межнациональных отношений – отношений с арабским населением. Беседы с Бяликом, который успокаивал: нужно переходное время, ничего еще не сложилось, можно пожертвовать своеобразием идишского местечка ради будущего центра мирового еврейства, – не удовлетворяли. Свои страдания он излагал на бумаге Рав Цаиру[26], бывшему одесскому другу, живущему в Америке. Теперь Бен-Ами уже ничего не предлагает, на персональных виновников не указывает. Его письмо – сплошной крик, бессилие, обида на напрасно потраченную жизнь. Личное и национальное окончательно слились одно с другим. Через три года, простудившись в зимней микве, он скончался.



Справа налево. Ахад а-Ам, Х.-Н. Бялик, И.-Х. Равницкий и М. Бен-Ами. Тель-Авив. Первая треть XX века

0æüÿ.Àâèâ 23 äääðà II, 5689/27.

Да, дорогой, беспокойству и мучениям моим нет конца и нет меры. Что же это с нами случилось! Все «возрождение» наше – карикатурно, карикатурно до

отвращения. Молодое поколение и все наши «интеллигенты» растаптывают святыни нашего народа, наше великое прошлое. Я не видел такого разложения еврейства во всей Европе. В наших новых поселениях нет до религии никакого дела. В Иерусалиме, сказали мне, есть учителя, все желание которых – уничтожить прошлое и создать новый мир. Многие из них невежественны. Конечно, есть люди честные и почтенные, но они застенчивы, и нет у них никакого влияния. Вообще, в Стране ни одного влиятельного человека, что страшно и угрожающе в нашем политическом положении, ведь мы под управлением англичан. Точно как в дни Римской империи под властью прокураторов перед разрушением Второго храма. Они не только давят на нас, но и восстанавливают против нас арабов. Я и спрашиваю, что будет после нас. Еще есть здесь надежда на какое-то будущее? Я в отчаянии от всего, и нет у меня никакой надежды. Я отдал все свои силы на алтарь возрождения Страны отцов наших, теперь же мне так больно, и нет у меня сил терпеть. Я проклинаю свои дни. Такова моя старость. Через несколько месяцев мне будет 75 лет. Но в моей душе еще теплится огонь, как в прежние годы, и он пробуждает ощущение огромного несчастья. Видимо, так я создан. Не говори, что я преувеличиваю, Б-же упаси. Я чувствую и переживаю так, как ни один человек не чувствует и не переживает. Видимо, это проклятие с небес.

Поздравляю тебя и твоих близких с праздником нашего освобождения (и мы рабы в нашей Стране!)

נְעִבְרָאִיפּ. וְאִיֶּ אֵיִי-אֵי עֵ[28].

Максималист и еврейский Дон-Кихот, Бен-Ами всегда чувствовал свое одиночество. «Я ведь стою совершенно один», – писал он своему другу в начале века, а в последние палестинские годы это ощущение лишь усугубилось. Его не интересовало, что утопический идеал еврейского местечка не соответствует задачам сионистского проекта, – он, как человек и как писатель, страдал от неорганичности этого проекта, его оторванности от прошлого. Но ведь именно цельного человека мечтали воспитать основатели Государства Израиль и очень горевали, что у них не получалось. За пессимизмом Бен-Ами, столь отличным от оптимизма основателей-халуцим, несомненно таилось нечто пророческое.

[1] Сын Бен-Ами Миха описывал интересный случай: в Женеве, во время праздничной молитвы на Рош а-Шана, отцу шепнули, что во дворе его ждет Бялик. Дети затаили дыхание: отец может взорваться, ведь ему помешали в такой момент. Только после окончания литургии он вышел во двор, и друзья обнялись. В тот раз Бялик обиделся. Но в 1962 году в Тель-Авиве вышел сборник рассказов Бен-Ами на иврите, два из них перевел Бялик.

[2] Дубнов С.М. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. Вступ. статья и комментарии В.Е. Кельнера. СПб., 1998. С. 126, 154, 157.

[3] Из Пасхальной агады: «Шфох аматеха эль а-гоим» («Излей гнев свой на [другие] народы»).

[4] Дубнов С.М. С. 545.

[5] Сальмон Л. Глас из пустыни. Бен-Ами: История забытого писателя. М.–Иерусалим, 2002. С. 124–126.

[6] Юбилей Бен-Ами // Рассвет. 1912. № 10.

[7] Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1876 г. // Он же. Полное собр. соч. в 30 т. Т. 25. М., 1983. С. 75.

94. [8] Бен-Ами. Письма на ветер. Письмо второе // Недельная хроника Восхода. 1884. № 3. С. 93–

[9] Сальмон Л. С. 197.

[10] Дубнов С.М. С. 157.

[11] Быть евреем в России. Материалы по истории русского еврейства / Сост., закл. ст. и коммент. Н. Портновой. Иерусалим, 1999. С. 322.

[12] Бен-Ами М. Поездка на Литву. Друскеники // Восход. 1897. № 7. С. 7.

[13] Бен-Ами М. Поездка на Литву // Недельная хроника Восхода. 1894. № 11. С. 121, 124.

[14] Бен-Ами М. Черная кайма (Воспоминания из первых годов палестинского движения) // Еврейская жизнь. 1916. № 4. С. 44.

[15] Отношение это формировалось, в частности, на личном опыте. В 1886 году Бен-Ами принял предложение выставить свою кандидатуру на выборах казенного раввина, считая, что этим послужит народу. Но перед выборами полиция, произведя ночной обыск, нашла в его сумке студенческую листовку, о которой он ничего не знал, арестовала его и препроводила в тюрьму. Его обвинили в связях с М.П. Драгомановым, деятелем украинского национального движения, редактором либерального «Вольного слова» (как позже выяснилось, принципиальным антисемитом). Через три дня Бен-Ами был отпущен, но еще пять лет находился под следствием. Сам он считал, что донос был организован конкурентами по выборам (см. Сальмон Л. Вечный эмигрант: Бен-Ами, русско-еврейский писатель за рубежом // Евреи в культуре русского зарубежья. Вып. 1 [6]. Иерусалим, 1998. С. 78–79).

[16] В 1882 году «Парижские впечатления» Бен-Ами подписал псевдонимом Рейш-Галут («Глава изгнания»), но позже посчитал его «нескромным».

[17] Очерк основан на реальном событии: в 1912 году Шолом-Алейхем пригласил отдохнуть вместе в Швейцарских Альпах троих друзей: Менделе Мойхер-Сфорима, Бен-Ами и Бялика. Во время прогулок они рассказывали друг другу смешные истории из жизни.

[18] Шолом-Алейхем. Собр. соч. Т. 6. М., 1990. С. 194–196.

[19] Бен-Ами М. Ишей дорейну. Тель-Авив, 1933.

[20] Дубнов С.М. С. 156–157, 199.

[21] Шнорерство – нищенство, попрошайничество.

[22] Клей кодеш (ивр.) – служители культа, здесь: важные лица.

[23] В 1900–1901 годах в «Восходе» был опубликован цикл статей Бен-Ами «Глас из пустыни» – о процессах, происходящих у западноевропейских евреев: об их деморализации, притворстве, «пресмыкательстве», отсутствии самоуважения и т. д.

[24] Отдел рукописей Национальной библиотеки. Собрание Швадрона. ARC № 132.

[25] Там же.

[26] Р. Хаим Черновиц (литературный псевдоним Рав Цаир; 1870–1949), исследователь Талмуда, публицист и деятель палестинофильского движения; в созданную им ешиву привлек Хаима-Нахмана Бялика и Менделе Мойхер-Сфорима.

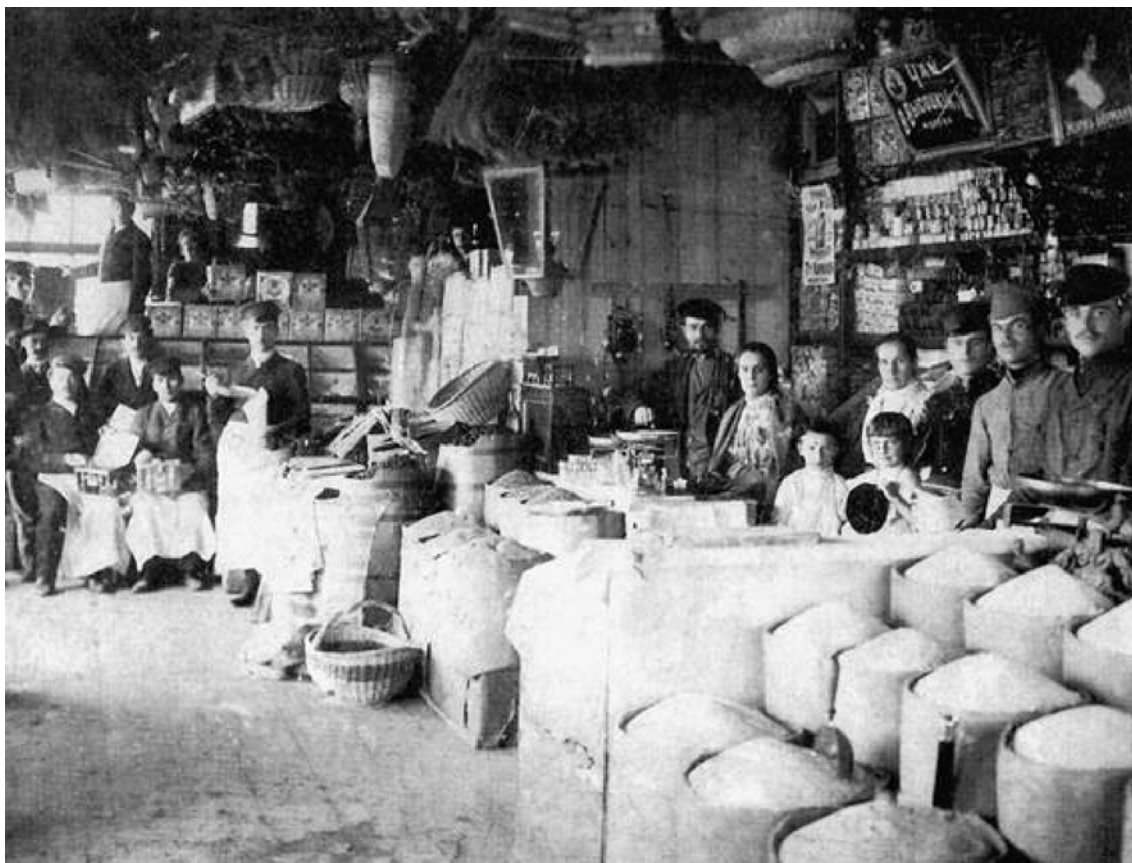
[27] 4 апреля 1929 года. Письмо написано на иврите, перевод мой. – Н. П.

[28] Мимихтавей Бен-Ами эль Рав-Цаир. Бецарон; Нью-Йорк, 1941. С. 133–134.

«ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР»: ТАЙНА ТИТУЛА

Ėāī ēā Ėāōēñ Ī ēōāēē Ī āīñēēē

Остап Бендер – центральный персонаж классической дилогии – во многом стал причиной ее необыкновенной популярности и заслуженно попал в «герои» специальных научных разысканий. В этих разысканиях получили выражение разные аспекты персонажа: (1) внешность, имя, фамилия, которые возводятся к приватному кругу знакомых (см. указания мемуаристов на Остапа Шора, Митю Бендера и др.); (2) социальный тип – советский аферист, уголовник¹; (3) «сочетание плутовства с демонизмом»², определяющее его место в историко-литературной типологии³; (4) «аллюзионная» функция, связанная с дружескими намеками на В.П. Катаева, одновременно близкого человека и «опознаваемого» актуального литератора⁴. К этому необходимо добавить еще один аспект (5) – культурно-национальный, т. е. еврейский компонент образа «великого комбинатора». Так, А. Ковельман обратил внимание на особый реально-бытовой смысл «стертой», привычной формулы «турецко-подданный»: «Папа Остапа был турецко-подданным, что и неудивительно. В конце XIX столетия власти Блистательной Порты заставляли евреев, желающих жить в Палестине, принимать турецкое подданство. Первые сионисты становились “потомками янычар”, а некоторые из Палестины возвращались назад, в Одессу, и там у них рождались дети. У Остапа был молочный брат (по лейтенанту Шмидту) – Шура Балаганов. Вот почти все, что известно о его семье. И был у Остапа достойный противник – гражданин Корейко. Фамилия Корейко звучит подозрительно знакомо. Уж не Корей ли это (он же – Корах), предводитель тех двоих, Датана и Авирама, что восстали на братьев Моше и Аарона в пустыне? И разве не пришлось Остапу подавлять бунт, когда из угла комнаты бросился на него Паниковский со словами: “А ты кто такой?”: “Не переменяя позы и даже не повернув головы, великий комбинатор толчком собранного каучукового кулака вернул взбесившегося нарушителя конвенции на прежнее место...”»⁵



Бакалейная лавка на Староконном базаре в Одессе. Фото 1910-х годов

* * *

Удивительно, но от внимания исследователей долгое время ускользало, что легендарное определение Остапа Бендера – «великий комбинатор» – также сигнализирует о национальной составляющей, реально-бытовой и культурно-жизнестроительной.

Прежде всего, обратившись к словарям русского языка от В.И. Даля до Д.Н. Ушакова, легко убедиться, что слово «комбинатор» несколько отклоняется от литературной нормы: оно снабжено пометкой «разговорное» и обыкновенно толкуется через слова «комбинировать» и «комбинация». В свою очередь, слова «комбинировать» и «комбинация» имеют два регулярных значения: «комбинировать» – «сочетать, соединять» и «вычислять, сопоставлять различные данные»; «комбинация» – «сочетание, соединение» и «взаимно обусловленное расположение ряда предметов». Однако для формулы «великий комбинатор» релевантно другое значение: «комбинировать» – «строить комбинации» с пометкой «без дополнения» (например, «комбинировать, как бы подешевле приобрести шубу») и «комбинация» – «план, замысел, что-нибудь предпринимаемое с какими-нибудь практическими целями путем создания какого-нибудь нового соотношения предметов, явлений, лиц». Это значение – в отличие от двух нормативных – опять снабжено пометкой «разговорное» (или «переносное»).

Напротив, для языка идиш слова «комбинатор», «комбинация» со значением «афера», «аферист» вполне соответствуют литературной норме. Толковый словарь начала XX века содержит слово «КОМБИНАТОР», характеризуя его как лексическое заимствование («lat.») и интерпретируя как «менч велхер махт фаршидене хандлс комбинациес», т. е. «человек, совершающий ловкие торговые комбинации»^[1]. Аналогично «Русско-еврейский (идиш) словарь» (основная работа над ним велась до

Великой Отечественной войны и, следовательно, отражает языковую норму конца 1920–1930-х годов) – наряду с «комбинацией звуков» и «шахматной комбинацией» – фиксирует значение «ловкая комбинация»^[2]. Итак, словари свидетельствуют: для конца XIX – первой трети XX века в русском контексте аферист-«комбинатор» – разговорное употребление слова, а в идишском – нормативное.

Проникая в русский литературный язык, слова «комбинатор», «комбинация» – со значением плутовства – явно сохраняли «национальные» коннотации. В 1900 году в журнале «Театр и искусство» (№ 84–86) опубликована повесть «Туркестанская комбинация» с подзаголовком «Из воспоминаний провинциального актера» (автор – Михаил Ниротморцев, псевдоним «Нирь»). Заглавный герой – «провинциальный актер» – рассказывает, как конкурент выжил его из некоего туркестанского губернского города, воспользовавшись тем, что у рассказчика проблемы с паспортом и он не имеет права находиться в губернном городе. В финале разочарованный рассказчик мечтает о том, чтобы его следующая «комбинация» была удачнее. Заглавие повести – «Туркестанская комбинация» – закавычено, выражая стилистическую маркированность слова «комбинация». Бюрократические злоключения «провинциального актера» такого свойства, что хотя в тексте слово «еврей» не фигурирует и фамилия героя не упоминается, но никакого сомнения в его национальной принадлежности не возникает.

Показательно также, что слова «комбинация» и «комбинатор» явно эмблематизируют прозу Шолом-Алейхема: А.К. Жолковский бегло вспоминает «еврейские истории о так называемых люфтменшах, “людях воздуха”, комбинаторах, придумывающих одну за другой все менее реальные сделки; таков, например, сюжет повести Шолом-Алейхема “Менахем-Мендл”»^[3].

Заметный пример, в котором демонстрируется функционирование слова «комбинация» и его связанность с рецепцией творчества Шолом-Алейхема для первых послереволюционных лет, представляет деятельность Еврейского камерного театра. Этот театр (режиссер А.М. Грановский), с 1920 года обосновавшийся в Москве, пользовался «мощной поддержкой руководителей Еврейской секции компартии»^[4] и открылся спектаклем «Вечер Шолом-Алейхема» (1921), включавшим три одноактовые пьесы.

Сам выбор Шолом-Алейхема имел характер манифеста.

Во-первых, этот выбор подразумевал противопоставление культурной традиции, связанной с классической литературой на идише, театру «Габима», постановки которого шли на иврите. Критики проекта видели в этом отказ от универсального в пользу узко-национального.

Во-вторых, тексты Шолом-Алейхема – в противоположность символистской ориентации «Габимы» – предопределяли обращение к недавнему прошлому, быту местечка, «люфтменшам» и т. п.

В 1938 году на страницах журнала «Огонек» С.М. Михоэлс (вынужденно реагируя на новый идеологический поворот) вспоминал о постановке пьес Шолом-Алейхема: «До революции его почти не ставили, если не считать нескольких случайных спектаклей, осуществленных кружками любителей. Старый, дореволюционный театр не решался сценически раскрыть Шолом-Алейхема. <...> И среди тех, кому Октябрем было дано право на жизнь, оказался Шолом-Алейхем – драматург. Самый факт постановки на сцене Московского государственного еврейского театра шолом-алеихемовского спектакля знаменовал новую эру в истории всего еврейского театра. <...> Но было бы ошибочно

думать, что Шолом-Алейхем уже тогда был прочитан сценически правильно. Театр лишь коснулся той правды, которую несли драматургические произведения писателя. Он увидел на лицах шолом-алейхемовских героев застывшую гримасу местечковой действительности. Он увлекся гротесковой внешностью “людей воздуха”, которые, однако, никак не раскрывали подлинного лица народа»[5].

А.М. Эфрос же еще в 1920-х открыто декларировал концептуальное «жидовство» программы Грановского: «Грановский, действительно, развел на сцене “жида”. Он бросил зрителям формы, ритмы, звуки, краски того, что носило эту кличку. <...> Он хотел, чтобы разведенная им гадость утверждалась как огромная, довлеющая себе ценность. Грановский углублял ее театральные и художественные черты до какой-то всеобязательности, до универсального обобщения. Он из отбросов делал золото»[6].

В-третьих, Грановский и Эфрос собирались ставить Шолом-Алейхема с принципиальной дистантностью, трансформируя «черты мелкой житейщины», юмористический реализм его текстов при помощи «театрального приема и сценической формы»[7]. Что выразилось в подчинении постановки пьес Шолом-Алейхема изысканной ритмической схеме, отличавшей режиссерский стиль Грановского, и в привлечении художников-авангардистов.



Соломон Михоэлс в роли Менахема-Мендла в спектакле «Человек воздуха» по пьесе Шолом-Алейхема. 1928 год

В 1949 году, в оставшемся тогда не опубликованным некрологе Михоэлсу, Эфрос писал: «А в отношении сценических форм и постановочного стиля вообще, казалось, не о чем было думать. Можно сказать, что это как бы решалось само собой.

Новые, послеоктябрьские родившиеся и рождавшиеся театры почти все “левачили”, орудовали “революционной формой”, – и было бы, казалось нам, странно, обидно и даже недопустимо, чтобы молодой еврейский театр оказался “не на высоте положения”: в московский ГОСЕТ сразу, твердой стопой вошли экспрессионисты и конструктивисты – прежде всего Марк Шагал, потом Исаак Рабинович, а за ним Натан Альтман, а дальше Д. Штеренберг и Р. Фальк»[8]. Шагал (художник «Вечера Шолом-Алейхема») свидетельствовал, что он понял свою миссию как борьбу с натуралистической традицией: «...вот возможность перевернуть старый еврейский театр с его психологическим натурализмом и фальшивыми бородами. Наконец-то я смогу развернуться и здесь, на стенах, выразить то, что считаю необходимым для возрождения национального театра»[9]. И в итоге поэтику «Вечера Шолом-Алейхема» определил не Шолом-Алейхем, но Шагал: «В конце концов вечер Шолом-Алейхема проходил, так сказать, в виде оживших картин Шагала»[10].

После «Вечера Шолом-Алейхема» сотрудничество Еврейского театра с Шагалом прервалось; в дальнейшем Грановский работал с другими художниками, которые также представляли авангард, но в другой версии. Эфрос полагал, что основным оппонентом линии Шагала объективно выступил Н.И. Альтман. Если Шагал был «самым “жидовитым”», то Альтман «начал вторую линию Еврейского театра»: «Театр формировался вместе с ним и при его помощи. <...> Альтман, это – европейская линия»[11]. Иными словами, если Шагал реализовал авангардно-этническую линию интерпретации идишской культуры, то Альтман – авангардно-западническую.

В пространном этюде об Альтмане Эфрос не столько характеризовал конкретного художника (который, по воспоминаниям А.В. Азарх-Грановской, «эту книжку видеть не мог – так он злился»[12]), сколько использовал его фигуру для символизации определенной модели национального жизнестроительства. В видении критика Альтман – еврейский юноша из местечка, который, однако, освоился в Париже и вернулся оттуда идеальным манипулятором, блистательно приспособившимся к художественной моде, и «сразу приобщился к крупнейшим кошечкам художественной биржи»[13]. В пору кризиса авангарда он – «герой нашего времени, человек золотой середины».

Используя средства эссеистики, Эфрос создал обобщенный образ, который в результате предварял «великого комбинатора». Искусство Альтмана – «тактика лукавой нищеты, не желающей выдать себя: так последний дворянин где-нибудь в эмиграции будет носить, за неимением другой одежды, прямо на голом теле придворный костюм и на неприглаженной голове треуголку» (ср. знаменитое описание внешности Бендера: «У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было»[14]). «Все сразу забыли, что он неизвестно где родился и неизвестно где вырос; никому не представлялось подозрительным, что у него как бы не было детства; что он держался зрелым художником, никогда не быв молодым...»; «магия, которой был наполнен воздух вокруг Альтмана, делала правдоподобным все неправдоподобное. Благодаря ей Альтман, как герой сказок, мог очутиться прямо в середине жизненной карьеры и продолжать путь, которого он никогда не начинал»; «он был несомненный пришелец, он был еврейский юноша, бахур из Винницы (с тех пор мы кое-что узнали: две-три даты и два-три факта), он был недоучившийся питомец одесского Костанди, он так и не кончил ни одной художественной школы...» (ср.: Бендер, который «из своей биографии» «обычно сообщал только одну подробность: “Мой папа, – говорил он, – был турецко-подданный”»). «Альтман вошел в чужое общество, как к себе домой, и сразу стал

существовать в качестве равноправного сочлена. Он сделал это с такой безукоризненной вескостью, что все инстинктивно подвинулись и дали ему место» (ср., например, уверенное обращение Бендера с лучшими людьми Старгорода – участниками «Союза меча и орала»).

Наконец, Эфрос произнес ключевое слово: «...нам, зрителям, легко усомниться, есть ли у Альтмана действительная творческая изобретательность или она подменена выдающимся даром комбинации, хитрым умением размещать старые элементы на новый лад...» «Это не художник, а “делец искусства” с мертвой хваткой, не знающий неудачных комбинаций и остающийся в выигрыше при всяком положении»[\[15\]](#).

Таким образом, в корпусе текстов, связанных с проектом Еврейского театра и с Шолом-Алейхемом, Эфрос, используя национально-маркированное слово «комбинация» (с тем самым значением, которое затем в качестве «переносного» примет словарь Д.Н. Ушакова), формулировал признаки жизнестроительной модели, которые позднее реализуются в «великом комбинаторе».



Сергей Юрский в роли Остапа Бендера в фильме «Золотой теленок» (1968)

* * *

Исследователи уже обнаружили присутствие Шолом-Алейхема в интертекстуальном пространстве диалогии Ильфа и Петрова.

На основании наблюдений Ю.К. Щеглова можно, во-первых, говорить о переключках текстов Ильфа-Петрова с «литературой, воспроизводящей еврейский стиль

речи»[\[16\]](#), т. е. использование при речевой характеристике персонажей-евреев (Паниковский, Фунт в «Золотом тельце») стилистических форм, напоминающих сочинения Шолом-Алейхема – цикл рассказов «Касриловка» и роман «Мариенбад». Во-вторых, Щеглов отметил сходство писем отца Федора к жене (глава «От Севильи до Гренады») с эпистолярной повестью «Менахем-Мендл», «герой которой также пускается в спекуляции в разных городах Российской империи и рассказывает о них в письмах к жене»[\[17\]](#). По мнению комментатора, особая пикантность возникает вследствие того, что другой источник писем отца Федора – действительные письма Ф.М. Достоевского: «Это насильственное сопряжение православного русского патриота Достоевского с таким специфически еврейским персонажем, как неудачливый коммерсант Мендл, вряд ли случайно. Можно видеть здесь насмешливый выпад соавторов против писателя “в наказание” за получившие скандальную известность антисемитские пассажи его писем к жене»[\[18\]](#).

В-третьих, «вымышленное название “Черноморск” для обозначения Одессы» «фигурирует уже в одесских очерках Шолом-Алейхема “Типы „Малой биржи“”, напечатанных на русском языке в 1892 году в “Одесском листке”»[\[19\]](#).

Топоним «Черноморск» вполне закономерен в творчестве Шолом-Алейхема, который с 1891 года проживал в Одессе и вообще часто прибегал к топонимам-псевдонимам (ср. «Егупец», «Касриловка»). Интересно также, что если согласиться с гипотезой, согласно которой Старгород в «Двенадцати стульях» – не провинциальный город вообще, а провинциальный лик родной для Ильфа и Петрова Одессы[\[20\]](#), то топонимы «Черноморск» и «Старгород» обозначают один город. А значит, второй топоним «цитирует» русского классика Н.С. Лескова (роман «Соборяне»), и игра в «Старгород» и «Черноморск» воспроизводит игру в Менахема-Мендла и Достоевского[\[21\]](#).

Связь шолом-алеихемовского топонима с «Одесским листком» заставляет вспомнить о замечании критика А.Г. Горнфельда, который в 1923 году иронизировал, что если «называть национальными произведения, созданные не на национальном языке», то «мы, очевидно, должны фельетоны Жаботинского, напечатанные в “Русских ведомостях”, отнести к русской литературе, напечатанные в “Рассвете” – к еврейской, а напечатанные в “Одесском листке” – к одесской»[\[22\]](#). Рассуждение Горнфельда – несмотря на шутливость – намекает на существование в русской литературе не только «еврейского», но и своего рода «одесского акцента», внятного прежде всего читателям из Одессы. В частности, слово «комбинация», по-видимому, маркировало как речь еврея, так и речь одессита.

Например, в 1904 году петербургский корреспондент «Одесских новостей», адресуясь к читателям-одесситам, характеризовал столичные нравы посредством слова «комбинация»: «Из каждой щели лезут слухи и новости о назначениях... И вестница мчится дальше, по дороге изобретая новую комбинацию. В отношении комбинации Петербург неистощим. Существует ряд специальных очагов, где как пузыри на стоячей воде рождаются всякие комбинации ежеминутно. И везде в основе их нечто не столько вероятное, сколько бесцельно жеванное, но всегда вместе с тем комбинация оказывается лишь забавным пуфом (ср.: “люди воздуха”. – Л. К., М. О.). Оно и понятно! Занимаются изобретением таких комбинаций всегда те, кто по личным причинам желал бы их осуществления»[\[23\]](#).

В 1922 году «комбинация» всплывает в переписке Л.О. Пастернака и Х.-Н. Бялика – двух знаменитых одесситов. Бялик должен был приготовить вступительную

статью к книге Пастернака «Рембрандт и евреи в его творчестве», но не успевал. В этой связи Пастернак предлагает в своем письме: «...в случае, если у Вас не готово предисловие, то просто ограничьтесь извлечением из статьи Вашей в 1, 2, 3 стран<ицы> “о Пастернаке”, и это они поместят от издателя, что ли, как “извлечение”, “фрагмент” из Вашей статьи обо мне <...> – словом, это комбинация, которая облегчит Вам возможность – касаетесь ли Вы моего Рембрандта или нет – сделать или дать пару страниц из уже готового у Вас написанного...»[\[24\]](#)

Поразительно, но в 1914 году слово «комбинация» – в близком значении – прозвучало в эпистолярном диалоге двух литераторов, мягко говоря, далеких от семитофильства: В.В. Розанова (как известно, автора «Обонятельного и осязательного отношения евреев к крови») и его скрывавшего свое имя соавтора о. Павла Флоренского. Раздосадованный поражением в деле Бейлиса, Розанов искал способ перевести на русский язык главную, в его терминологии, «иудейскую тайну» – книгу Зоар, а его образованный корреспондент не советовал: «Дорогой Василий Васильевич! <...> Предложение “перевести Зогар” может вызвать лишь улыбку. <...> Общество <изучения евреев> и его председатель, по-видимому, воображают, что на каждой странице Зогара всеми буквами прописано: “Жри младенцев”, “Грабь гоев”, “Оскверняй храмы” и т. п. Они глубоко разочаруются, увидев вместо этого скучнейшую (со своей точки зрения) и глубочайшую философию пола, относительно которой едва ли даже поймут, что это о поле, и станут просто зевать. То сравнительно небольшое число мест, для них интересных, которые могут быть погромными, не окупят не только труда издания, но даже труда чтения Зогара. Конечно, из Зогара многому можно научиться, и было бы полезно, чтобы он был переведен. Но издание такое надо делать в тиши и на средства какого-ни<будь> мецената, а никак не усилиями партии, какова бы она ни была. Есть, правда, иная комбинация: сделать перевод с французского. Но тут явятся неизбежные вопросы: насколько ему можно доверяться, тем более что в подписке на него принимают участие разные Ротшильды, раввины и т. п. господа»[\[25\]](#).

Контекст говорит сам за себя. И здесь нет сомнений в том, что для обоих участников диалога, пожизненно «озабоченных» еврейским вопросом, слово «комбинация» маркировано как еврейское, недвусмысленно выражая их отношение к «комбинациям» Вечного народа. Необходимо также подчеркнуть, что и у Бялика с Пастернаком, и у Розанова с Флоренским «комбинация» возникает в доверительной и несколько иронической переписке, так что до подъема в высокую литературу было еще далеко.

В 1929 году один из «невозвращенцев», обсуждая в эмигрантской прессе план тайного проникновения в СССР и ведения там антисоветской работы, рассуждал о некоей хитроумной «комбинации» уже вне национальных подтекстов: «...я явился к А.А. Югову – секретарю заграничной делегации РСДРП. С ним мы условились о порядке наших сношений за время моего пребывания за границей, с ним и решили, что мне удобнее всего поступить на службу в советское учреждение в Берлине и вообще целиком войти в советскую колонию, дабы мне легче и безопаснее было потом вернуться в СССР. Я было пробовал возражать против всей этой комбинации, заявив, что охотно провел бы свои несколько месяцев за границей, работая на каком-нибудь заводе, но, видя возражение А.А. Югова, спорить не стал, решив, что ему заграничные условия пребывания советских граждан более известны, чем мне, и, положившись на него, решил обратиться с ходатайством в Торгпредство о приеме меня на службу»[\[26\]](#).

Учитывая последний пример, можно заключить, что если в начале 1920-х слово «комбинация» в значении «афера» еще воспринимается как «еврейское» и/или «одесское»,

то, похоже, к концу десятилетия – как раз ко времени публикации романов о «великом комбинаторе» – оно уже изменило статус, переместившись в русский язык в качестве «разговорного». Собственно, это и есть начало того процесса, который постепенно привел к совершенной утрате современным читателем адекватного ощущения национальной окрашенности «комбинации» и «комбинатора».



Афиша Московского государственного еврейского театра на 2-м Международном театральном фестивале в Париже.
Июнь 1928 года

* * *

При уяснении широкого спектра цитирования Шолом-Алейхема в диалогии Ильфа–Петрова – от «еврейского стиля речи» до символического топонима – невозможно не указать на сходство торжественной формулы «великий комбинатор» с формулой «комбинация», лейтмотивом одного из основных персонажей романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды» (1909–1911). Это – Нисл Швалб (в другой транскрипции – Ниссель Швальб), который проживает в Лондоне и становится антрепренером актера Лео Рафалеско.

«По своей основной профессии он агент»^[27]. «Агент» в художественном мире Шолом-Алейхема не столько «профессия», сколько современный еврейский тип, противоположный мечтательным обитателям местечка. «Агент» относительно свободен от традиций, перемещается по миру, а кроме того, склонен к аферам, по терминологии Шолом-Алейхема, – к «комбинациям». Ведь одной профессией «агента» не прожить: «Необходимо комбинировать, а комбинации Нисл Швалб строит из всего, что ни подвернется под руку. Надо отдать справедливость нашему комбинатору: хотя все его комбинации в первую минуту кажутся дикими, нелепыми, безумными, фантастическими, но, в конце концов, все получается у него так гладко и так разумно, что ничего умнее, кажись, и придумать нельзя. Иной раз, по правде говоря, на деле получается не так уж гладко и разумно. Ну и что ж? Он ведь не более и не менее, как человек, а человеку свойственно ошибаться»^[28].

Я. Слоним, который перевел роман «Блуждающие звезды» для советского шеститомника, даже применил к Швалбу бендеровское словосочетание «великий комбинатор»[29]. Это, однако, не перевод, а сознательная (по-видимому) ссыла на текст Ильфа и Петрова в «обратной перспективе». В оригинале Шолом-Алейхем использовал словосочетание «человек с комбинациями»[30], и в прижизненном переводе романа присутствует – вместо «великого комбинатора» и в точном соответствии с оригиналом – «наш гениальный человек с комбинациями»[31].

Слово «комбинация» – постоянный эпитет Швалба: он устраивает «блестящую комбинацию», «различные комбинации», «новую комбинацию», а глава, которая уже цитировалась в переводе Я. Слонима и где представлено развернутое описание ловкого «агента», так и названа: «Человек с комбинациями» (ср. также навязчивое присутствие слова «комбинация» в повести «Менахем-Мендл»).

Остапа сближает с Нислом – в дополнение к постоянному эпитету – несколько существенных черт. Как известно (со слов самого «великого комбинатора»), Остап не любит деньги и упрекает Воробьянинова, что тот «любит деньги больше, чем надо». Аналогично с героем Шолом-Алейхема: «Что для Нисселя Швальба деньги? “Деньги, говорит он, – последняя забота. Я никогда не ходил искать денег, деньги меня искали”»[32]. У Швалба – как и у Бендера (в «Золотом теленке») – есть географическая мечта: «Было время, когда он даже копил деньги на “шиф-карту”, но различные комбинации всегда удерживали его. Но каждый раз, как только та или иная комбинация шла прахом, он тотчас же направлялся в контору, чтобы заказать себе билет в Нью-Йорк с первым пароходом. Но по дороге в контору приходила на ум новая комбинация – и он сворачивал с дороги и брался за работу...»[33] Правда, Нью-Йорк не столь утопичен, как Рио-де-Жанейро, однако «человек с комбинациями» осуществил свою мечту, а «великий комбинатор» не прорвался не только в Бразилию, но и в Румынию.

Итак, формула «великий комбинатор» явно восходит к «человеку с комбинациями», а в образе Остапа Бендера узнаются некоторые признаки Нисла Швалба. В то же время Бендер очевидно не сводим к повторению Швалба (равно как и Швалб не реализует полную парадигму словоупотребления «комбинатора» в предложенной интерпретации): он не лондонский «агент», а мускулинный одессит, который занимается аферами другого уровня и в другой сфере, который действует в условиях «после Октября» – в Советском Союзе.

Связь Бендера с романом «Блуждающие звезды» – подобно другим аллюзиям на сочинения Шолом-Алейхема в дилогии Ильфа и Петрова – имеет «дистантный» характер. С одной стороны, это включение шолом-алеихемовского аспекта в структуру образа «великого комбинатора», с другой – это не столько признание в верности, омаж дореволюционному классику, сколько полемическое стремление к трансформации его наследия и той модели еврейского жизнестроительства, которая символизировалась именем Шолом-Алейхема. Это память об идишской культуре и в то же время – отрыв от нее, обусловленный социальными переворотами. Это – единство и борьба «человека с комбинациями» и «великого комбинатора».

В заключение соблазнительно предположить, что почти вековая популярность романов Ильфа и Петрова базируется на глубоком осмыслении и комплексном обыгрывании авторами культурных образов, реальный контекст которых либо давно утрачен, либо сохраняется для немногих. Быть может, собранные здесь факты и наблюдения помогут приблизиться к разгадке

- [1] Фремд-вертер-бух / Цунойфгештелт дурх д-р А.Б. Розенштейн. Варше, 1907. С. 226.; за указание на этот источник мы благодарим проф. Дов-Бера Керлера.
- [2] Русско-еврейский (идиш) словарь. М., 1984. С. 209.
- [3] Жолковский А.К. Новая и новейшая русская поэзия. М., 2009. С. 255.
- [4] Азарх-Грановская А.В. Беседы с В.Д. Дувакиным. Иерусалим–М., 2001. С. 173.
- [5] Михоэлс С.М. «Тевье-молочник»: Об одном герое Шолом-Алейхема // Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи. М., 1964. С. 171–172.
- [6] Эфрос А.М. Художники театра Грановского // Искусство. 1928. Кн. 1/2. С. 59–60.
- [7] Там же. С. 60.
- [8] Эфрос А.М. Начало // Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи. С. 384.
- [9] Шагал М. Моя жизнь. М., 1994. С. 162.
- [10] Эфрос А.М. Профили. М., 1930. С. 203.
- [11] Эфрос А.М. Художники театра Грановского. С. 71–72.
- [12] Азарх-Грановская А.В. С. 124.
- [13] Эфрос А.М. Профили. С. 255.
- [14] Романы Ильфа и Петрова цит. по: Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок / Сост., предисловие, комментарии М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана. М., 2001. Сер. «Пушкинская библиотека».
- [15] Эфрос А.М. Профили. С. 253, 259.
- [16] Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев». С. 73.
- [17] Там же. С. 563.
- [18] Там же. С. 564.
- [19] Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Золотой теленок» // Ильф И., Петров Е. Золотой теленок: Роман. Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Золотой теленок». М., 1995. С. 357.
- [20] Одесский М.П., Фельдман Д.М. От Старгорода к Черноморску: Одесса в диалогии И. Ильфа и Е. Петрова // Русская провинция: миф–текст–реальность. М.; СПб., 2000.
- [21] Ср. в «Феодосии» О.Э. Мандельштама контрастное соположение «Соборян» Лескова с еврейскими книгами на книжной полке Мазесы да Винчи: Кацис Л.Ф. Осип Мандельштам: мускус иудейства. М.–Иерусалим, 2002. С. 370–378.
- [22] Горнфельд А.Г. Русское слово и еврейское творчество // Еврейский альманах. Пг.–М., 1923. С. 187; см. подробнее: Кацис Л.Ф. Осип Мандельштам: мускус иудейства. С. 416–429.
- [23] Маска. Петербургские настроения // Одесские новости. 1914, 14 мая. № 6308. С. 3.

[24] Копельман З. Письма Л.О. Пастернака Х.-Н. Бялику // Stanford Slavic Studies. 1999. Vol. 20. P. 254.

[25] Розанов В.В. Литературные изгнанники. Книга II: П.А. Флоренский. С.А. Рачинский. Ю.Н. Говоруха-Отрок. В.А. Мордвинова. М.–СПб., 2010. С. 161.

[26] Жигулев А. Политическая ошибка// Бюллетень Заграничного бюро оппозиционеров и советских граждан, добровольно покинувших СССР. 1929. № 2. С. 9–10; статья Жигулева цит. по: Генис В. Неверные слуги режима: Первые советские невозвращенцы (1920–1933). Кн. 1: «Бежал и перешел в лагерь буржуазии...» (1920–1929). М., 2009. С. 359.

[27] Шолом-Алейхем. Собр. соч.: В 6 т. М., 1959. Т. 2. С. 312.

[28] Там же. С. 312.

[29] Там же. С. 339.

[30] См. в советском довоенном издании сочинений Шолом-Алейхема на идише: т. 15, с. 137.

[31] Шолом-Алейхем. Романы: В 4 т. М., 1913–1914. Т. 2. С. 117.

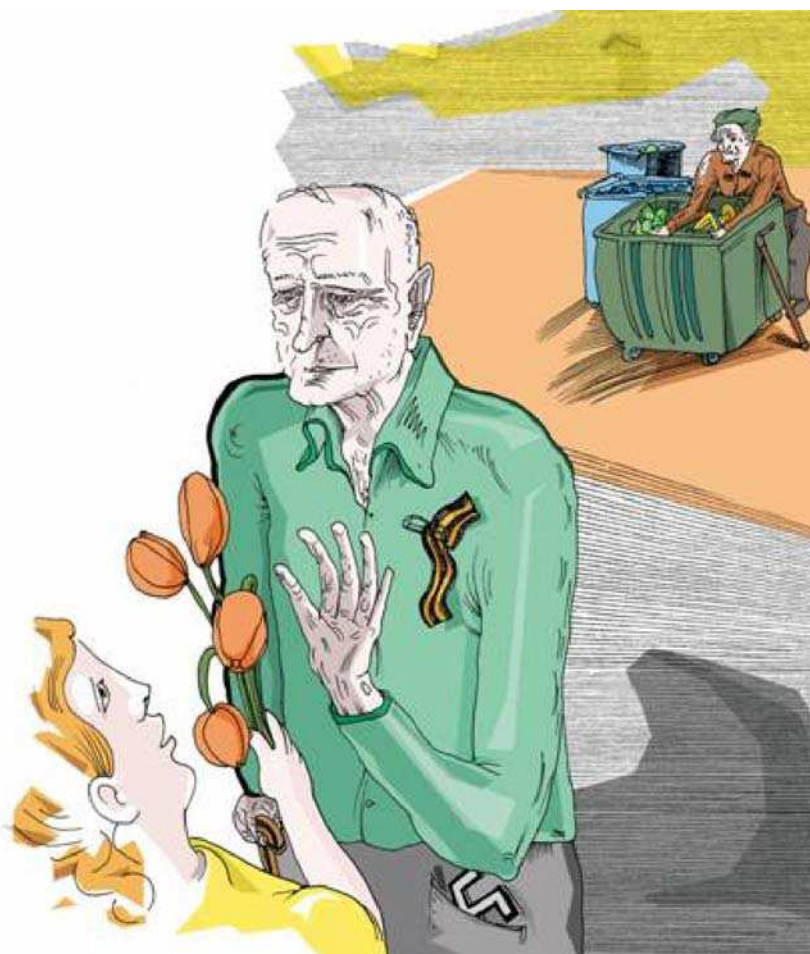
[32] Там же. С. 79.

[33] Там же. С. 65.

КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ

איִדֵּן עֵעֵר

Отшумели юбилейные торжества – 65-летие Великой Победы. В очередной раз на все лады цитировалось бессмертное: «Никто не забыт, ничто не забыто». Однако же это не так. Кое-кого забыли. И кое-что забыли. Речь идет о военных преступлениях. В России о них вспоминают, когда в сопредельных государствах провозглашают героем отъявленного подонка. В Европе, Америке, в том числе и Латинской, время от времени отыскивают военных преступников. И Демьянюк – не единственный подсудимый последних лет. А вот в России о таких процессах уже давно слыхом не слыхивали.



Последний был в 1970-х, когда в Белоруссии изловили «Тоньку-пулеметчицу». Соответственно прозвищу она расстреливала людей по приказу немцев, а после войны жила спокойно, даже вышла замуж за еврея. Нашли ее случайно.

Почему у нас не ловят военных преступников? Даже Центр Симона Визенталя операцию «Последний шанс» в России не проводит. Самое распространенное объяснение: мощная карательная система СССР «изловила и наказала всех, никого не осталось». Это, мягко говоря, миф. Недавно довелось мне поговорить с одним из ветеранов Военной прокуратуры СССР. По его мнению, полицаи, каратели и иные виновники преступлений против человечности на территории нашей страны вполне могут еще оставаться,

скрывшись от правосудия. Их, конечно, в силу возраста осталось наверняка немного. Но есть. Живут по чужим документам. Вполне вероятно, что даже принимают поздравления с Днем Победы и получают ветеранские пенсии. Дело в том, что в годы войны для оформления похоронки командир вовсе не обязан был сдавать документы павших солдат и офицеров. «С поля боя мародеры тащили даже исподнее, стирали и продавали, а уж документы – тем более», – говорит старый следователь. По его словам, документы охотно покупали и обычные воры, и военные преступники. И вполне благополучно жили, понятное дело, сторонясь родных мест. Попадались они случайно, как правило, в двух случаях: если оказывались замешаны в уголовщине или если «награда находила героя». Но первого они сторонились, понимая, что любая маломальская проверка обнаружит страшное прошлое, за которое ждет неминуемый расстрел. А вот над вторым были они не властны. Героев, заслуживших на фронте медали, искали помимо их воли. Но и в этом случае нестыковки в биографии вылезали и приводили к разоблачению. Иногда военные преступники слишком уж усердствовали на трудовом фронте. Их фотографии публиковали газеты, и находились свидетели, опознававшие их.

- Именно так был разоблачен военный преступник, занявший ответственный пост в Минсельхозе одной из прибалтийских республик, – вспоминает отставной военный прокурор. – А еще был подполковник, служил в Подмосковье и должен был получить очередную награду, и при проверке кадровиками возник провал в биографии, потянули – оказалось, он был партизаном, попал в гестапо и сдал отряд, в своем селе числился погибшим. Когда все вскрылось и мы уже собирались его арестовать, он покончил с собой, бросился под поезд.

Были и вовсе необъяснимые ситуации. В Любавичах, где почти все евреи оказались истреблены, местные жители рассказывали мне, как после войны объявился в селе человек, в котором опознали карателя. Писали и в КГБ, и в ЦК КПСС, но его так и не тронули, дожил спокойно до глубокой старости.

Архивисты УФСБ по Петербургу несколько лет назад опубликовали потрясающую историю об одном из деятелей Псковской православной миссии, учрежденной гитлеровскими оккупантами. Некто Амосов, дослужившийся до войны до помощника начальника политотдела Ленинградской милиции, а до того – помощника губернского прокурора, в 1935 году был осужден, но не по 59-й статье УК РСФСР. Он оказался мошенником, присвоившим себе дореволюционный партийный стаж и орден Красного Знамени (высшую награду в СССР до учреждения звания Героя Советского Союза). Сидел он до прихода немцев, а им назвался священником. И был даже назначен благочинным (старшим священником в районе). После освобождения – репрессирован, а в 1956-м – реабилитирован. И лишь в 60-х годах прошлого века, когда Амосов, к сожалению, для суда земного стал недоступен, в немецких архивах были обнаружены его доносы в гестапо, по которым были расстреляны несколько православных священников, отказывавшихся молиться за вождей Третьего рейха и победу германского оружия. Он же выдал и нескольких подпольщиков. Эта история особенно показательна как развенчивающая миф о всесильности и всеведении советских спецслужб и наглядно демонстрирует, что чекистам не всех военных преступников удалось переловить.



Мне кажется, что многочисленным органам просто не до того, хотя подозрительные нестыковки в биографиях стариков обнаруживаются и сегодня. Журналисты и общественные организации проводить подобные расследования не в состоянии. Во-первых, нет доступа в архивы, зато есть законы, запрещающие сбор информации о частной жизни граждан. Обычную справку из военкомата никому, кроме близких родственников, не дадут. Но даже если попытаться «перепрыгнуть» через эти барьеры, потребуются расходы, хотя бы на командировочные, ведь злодеи избегали появления в родных местах, но только там, в местных музеях или у родственников павших на фронте, могут найтись фотографии, которые способны раскрыть оборотней, живущих под чужим именем. Однако и такие экспертизы тоже требуют денег, а кто их даст? И кто возьмет на себя этот труд, если и найдутся миллионеры, готовые профинансировать подобную деятельность?

Из этой ситуации – если, конечно, нам не безразлично, что гитлеровские прихвостни доживают свой век, окруженные почетом и уважением, получают пенсии и квартиры, - есть два выхода. Первый: с помощью общественных и религиозных организаций, еврейских в частности, оказать давление на государство, с тем чтобы наравне с подразделениями в органах прокуратуры были созданы и такие, что займутся целенаправленно поиском нацистских преступников. И второй: создать российскую организацию, подобную Центру Визенталя. Потому что устанавливать памятники на месте уничтожения евреев, устанавливать их имена – дело, безусловно, важное. Но когда мы повторяем: «Никто не забыт, ничто не забыто», нужно вспоминать не только героев, не только жертв войны, но и тех, кто творил страшные злодеяния. Иначе память какая-то однобокая получается. И слишком короткая.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ С НОЖОМ В РУКАХ

Ī àò ááé Ááí áí ĩëüñééé

Усама бен Ладен, что ни говори, стилистически обновил террор и подтянул его до реалий сегодняшнего дня.

Террор XXI века – это не только бородатые и давно не мытые моджахеды. Это атака на Близнецы с помощью самолетов с пассажирами.

Это новые, более компактные взрывные устройства. Это шпионаж и DOS-атаки на сайты «врагов Аллаха». И конечно же, разработка новой теории террора.

ТЕРРОРИСТЫ ИДУТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

История с захватом израильтянами «гуманитарного» конвоя «Флотилия свободы», идущего в сектор Газа, несмотря на морскую блокаду, вызвала немедленный взрыв осуждения Израиля «прогрессивной правозащитной общественностью».

Все это когда-то будет посекудно изучаться в университетах. О «миролюбивом» конвое, вооруженном ножами, бронежилетами, битами и арматурой, будут писаться диссертации – как пример того, что новый террор – это не только захват самолета или стадиона.

Бери шире: это взятие в заложники всего человечества, тончайшее использование массовой психологии.

Но главное – задействование институтов гражданского общества против этого же общества.

На момент написания статьи террористическая спецоперация еще продолжается. Почти весь мир, во главе с ООН, слился в осуждении Израиля.

Более того, в бой идет Иран и заявляет, что следующий «гуманитарный конвой» будет сопровождать его военно-морские силы.

Это война, не так ли? Конечно же нет, господа! Это просто миролюбивый Иран сопровождает гуманитарные грузы для бедного «Хамас». Элегантный террор, не так ли? Однако заглянем за кулисы «гуманитарного конвоя» и познакомимся с главными героями «нового террора».

С теми, кто дергает за ниточки.



Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Мы никому не позволим испытывать наше терпение».

4 июня 2010 года

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА: ПОЗАДИ БОМБА, ВПЕРЕДИ САНКЦИИ

Иран произвел такое количество ядерного материала, которого при дальнейшем обогащении будет достаточно для изготовления двух единиц ядерного оружия. Об этом говорится в докладе генерального директора Международного агентства по атомной энергии.

Запасы накопленного в Иране низкообогащенного урана достигли к настоящему времени 2,43 т против 2,06 т, зарегистрированных в конце января нынешнего года. Согласно докладу, количество газовых центрифуг, задействованных в каскаде для обогащения урана, возросло в Иране до 3,936 тыс., а их общее число достигло 8,528 тыс.

В докладе в жестких выражениях описывается, как инспекторам отказывали в доступе на ряд объектов и как Иран отказывался отвечать на вопросы, в том числе о «возможном наличии» «действий, связанных с разработкой ядерной боеголовки».

Ахмадинежад, вернее, стоящий за ним истинный кукловод – духовный лидер Али Хаменеи доигрался: Госсекретарь Хилари Клинтон заявляет, что это будут наиболее жесткие санкции, с которыми Иран до сих пор не встречался. В новых санкциях будет расширен список банков: к двум частным, которые принадлежат членам Революционной гвардии Ирана, добавятся еще несколько, включая, вероятно, и Центральный банк страны. Санкции коснутся предприятий, которые так или иначе участвуют в ядерной и ракетной программах Ирана. Но главное, санкции коснутся частных лиц, которые в своем большинстве являются членами Революционной гвардии, но почему-то держат свои «скромные сбережения» на Западе. Главная же сенсация – это то, что впервые за санкции могут единодушно проголосовать все пять постоянных членов ООН. Вето от России не ожидается.

После того как стало известно про второй завод по обогащению урана, который Тегеран строил секретно, все стало понятно.

Это, кстати, был час истины для России: президент Медведев довольно жестко высказался в отношении Ирана. Именно тогда Москва сдвинулась в сторону согласования санкций и, как ожидается, сейчас их поддержит.

Отступать Ирану некуда – он слишком долго готовился стать лидером региона. Но удар в спину Тегеран получил от ближайшего соседа.

ТУРЦИЯ ВСТУПАЕТ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ

То, что перестрелка с жертвами произошла на турецком судне, высветило вопрос: а что турецкое судно делало в этом гуманитарном конвое? Да, это судно было нанято авторами провокации, вроде бы с Турцией не связанными. Но, простите, если это просто коммерческая доставка, то почему премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган пришел в неистовство, узнав о жертвах, и даже заявил: «Мы никому не советуем испытывать терпение Турции, и тот, кто хочет получить в нашем лице врага, добьется своего». Что означает этот странный словесный выпад?

Турецкий корабль прорывался на чужую территорию. Так кто чье терпение испытывал?

Заметим, что турецкие граждане часто служат наемниками и гибнут в рискованных операциях, но никогда подобной реакции на их печальную гибель со стороны властей Турции не наблюдалось. А это рождает вопросы.

Эрдоган знал о турецком участии в конвое? Давал на него санкцию?

Турции было необходимо, чтобы именно на турецком корабле собрались отпетые отморожки, которых мы еще назовем? Эрдогану жертвы на руку?

Все эти вопросы не случайны, ибо современная Турция – это не только курорты Анталы. Если присмотреться внимательно, то перед нами амбициозное государство, вступившее в схватку с Ираном за лидерство в регионе. И это не случайно, так как правящая Партия справедливости и развития принадлежит исламистской традиции Турции, и многие усматривают за этими событиями идеологический сдвиг в ее внешней политике. Турция, как считается, видит себя в качестве «центральной силы» на более широком Ближнем Востоке.

Турция заявляет, что блокада Палестины должна закончиться и «Хамас» должен быть тем или иным образом вовлечен в политический процесс, и продолжает взаимодействовать с Ираном, несмотря на критику. Тегеран пользуется этим, чтобы выиграть время для дальнейшего обогащения урана.

Думается, только слепой не увидит в действиях Турции исламистский идеологический подтекст. И не только теоретический.

«ГУМАНИТАРНЫЙ» КОНВОЙ С БАНДИТСКИМ ЛИЦОМ

Повторю, трудно представить, что власти Турции не знали, куда именно плывут турецкие корабли и что они нарушают. И сколько бы г-н Эрдоган благородно не заявлял, что «его терпение на исходе», вся эта демагогия была бы прекращена, если бы можно было перед ним положить одну незамысловатую бумажку и заставить ее прочитать.

Ну, например, о том, что турецкая группа ИНН, принявшая деятельное участие в организации заплыва «миротворцев», принадлежит к «Союзу добра», а в 1996 году в докладе ЦРУ отмечались ее связи с экстремистскими группировками в Иране и Алжире. ИНН в 1990-х годах была тесно связана с «Аль-Каидой». В 1997 году активисты этой организации были арестованы турецкой полицией за закупку оружия, предназначавшегося, согласно захваченным документам, для афганских и чеченских террористов.

Да, трудно выиграть в лотерею миллион, но Турции удалось большее. Если в лотерее для выигрыша миллиона нужно, чтобы совпали только цифры, то на турецких кораблях, в одном месте и в одно время, оказались крайне колоритные фигуры.

Знакомьтесь: звезды «гуманитарного движения» планеты.

Bdã Èè - бразильский режиссер. В 2008 году участвовала в организации «революционного» концерта американских музыкантов в Северной Корее, является членом Совета Пхеньянского университета наук и технологий.

Íîðì àí Íÿö - депутат бундестага от Левой партии (Linke). Неоднократно обвинялся в антисемитизме даже членами собственной партии, в частности за то, что отказался подписать резолюцию «левых» с осуждением антисемитизма, приуроченную к 70-летию Хрустальной ночи.

Ýíãñ Í'Ñíäÿé - депутат ойряхтаса (парламента Ирландии). Активист Националистической ирландской партии Шинн Фейн («Мы Сами»). В Северной Ирландии эта партия была политической крышей террористической организации ИРА.

DããÑãëãö - активист исламистского движения арабов Израиля. Заявляет, что евреи сфабриковали принадлежность им Стены Плача.

Âãëëä äëüÖããöãããëé - депутат парламента Кувейта. Исламист. Выступает против участия женщин в выборах и против строительства в Кувейте христианских церквей. Требовал запретить «Youtube», так как через него распространяется «кошунство и порнография».

Èëãðëíí Èàíó:-é - бывший униатский епископ Кесарии. В 1974 году был приговорен израильским судом к 12 годам заключения за то, что под прикрытием дипломатического иммунитета передавал оружие «Армии освобождения Палестины».

ÖáííëãÍ àíëãëëü - шведский писатель. Участвовал в деятельности маоистской Коммунистической рабочей партии Норвегии.

Âðð Öãëëãð - шведско-израильский художник. Автор инсталляции «Белый снег и безумие правды», представляющей собой бассейн с жидкостью красного цвета, в котором плавала белая лодка с портретом палестинского террориста – живой бомбы.

Èãããëëì Áëëãñí - турецкий политик. Активист радикальной исламистской «Партии Счастья», сотрудник исламистской «неправительственной гуманитарной организации», по некоторым данным, связанной с Аль-Каидой. Убит во время штурма.

Ááííëñ Öíëëëãëé - бывший помощник Генерального секретаря ООН, сотрудник «миротворческой» организации под эгидой бывшего президента Малайзии Махатхира. Среди высказываний последнего есть следующее: «Нацисты убили 6 млн евреев из 12 млн. Но сейчас евреи правят миром через подставных лиц... Они изобрели социализм, коммунизм, права человека и демократию... Благодаря этому они захватили сейчас самые могущественные страны».

Не правда ли, чудная компания? Кого ни возьми – одни Матери Терезы.

Интересно, что бы сказал Эрдоган, прочитав этот список. Что это случайность?



Израильский солдат, получивший ранения на борту одного из судов «Флотилии свободы».

4 июня 2010 года

КАК УСТРОЕНА ПРОВОКАЦИЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Доказать, что «гуманитарии-радикалы» участвовали в провокации, несложно. Комбинация была красива, но проста и прозрачна. Эксперт Михаил Войтенко обозначает основные проколы «миротворцев»: «Десять тысяч тонн груза уместились бы на одном не очень большом судне. Зафрахтовать его стоило бы дешевле, чем один флагман “Magi Marmara”, на котором перевозка грузов и не предусмотрена. Зачем создавать флотилию, столько шума вокруг нее, а потом идти на прорыв запретной зоны?

Это непохоже на деловой подход человека, для которого главное – доставить гуманитарный груз. К грузу относился и цемент. А цемент запрещено ввозить в сектор Газа – его могут использовать для строительства тоннелей, через которые товары будут провозить в сектор Газа контрабандисты. Зачем провозить запрещенный груз? Почему движение “Free Gaza” не могло выполнить условия Израиля – позволить груз досмотреть и доставить через порт Ашдод? Неужели боялись, что разворуют? Далее, флотилия проигнорировала предупреждение израильских ВМС о недопустимости нарушения блокады. В мировой практике это ненормально: если есть запретная зона, никто в здравом уме и трезвой памяти в нее не прет.

Кто может стоять за этой акцией? Очевидно, организация с хорошими средствами. Зафрахтовать шесть пароходов, гонять их по морю, погнать на прорыв – это стоит весьма немалых денег».

Однако кажется, возмущенные антиизраильские крики стихают, да и сам Израиль оправляется от имиджевого удара. Появляются фотографии и видео момента штурма, на которых ясно видно, у кого в руках ножи, биты и арматуры и кто первый начал.

Но трудность не в том, чтобы доказать, что захватили бандитов.

Оказалось, многие даже в ООН не поняли, что суда пытались вторгнуться в пространство суверенной страны и везли помощь сепаратистам.

Интересно, было ли бы такое возмущение, если бы корабли везли помощь радикальным баскам. Или чеченским сепаратистам. Думается, ответ ясен, но остаются вопросы.

Даст ли Турция новые корабли для новых провокаций?

Использует ли Иран эту ситуацию, накалит ли в отчаянной попытке, чтобы Совбез пошел на отмену санкций?

Станет ли Израиль разменной монетой в войне амбиций Стамбула и Тегерана?

Поймут ли смысл провокации в ООН?

Известнейший эксперт по проблемам Востока Григорий Мирский считает, что однозначного ответа нет: «Если говорить о том, кто выиграл и кто проиграл после этих последних событий, то обычно говорят, что Израиль потерпел крупнейшее имиджевое поражение. А выиграла Турция и палестинцы. Это не совсем так. Потому что выиграла не столько Турция, сколько ее нынешнее исламистское правительство. Оно, конечно, не экстремистское, но мы еще не знаем, к чему приведет в дальнейшем усиление исламистских тенденций в этой стране. Вполне возможен полный отказ от того светского государства, которое построил Ататюрк. Что касается палестинцев, то, безусловно, выиграл “Хамас”, а проиграл, соответственно, “Фатх”. Если говорить об иранцах, то за последние годы Иран стал ближневосточным тяжеловесом. Как это ни странно звучит, но эта страна, не будучи ни арабским государством, ни суннитским, сумела возглавить то, что называют арабским Сопротивлением. И Иран претендует на то, чтобы стать лидером всего исламского мира. В этот момент на арену выступает Турция, которая, видимо, преследует ту же цель. Причем делает это активнейшим образом. Иран, соответственно, не собирается уступать и должен сейчас сделать свой шаг. Но какой?

Расчет на то, что Израиль ни за что не пропустит корпус стражей исламской революции в сектор Газа? Будет открыт огонь, Израиль потопит иранские суда, если они откажутся следовать в предложенное место. Ведь иранские исламисты не допустят высадки израильских командос на свои корабли. Так что вполне возможно прямое военное столкновение, где преимущество будет на стороне Израиля. Чем может ответить Иран, если его суда потопят? Вести войну против Израиля он не в состоянии. Атомной бомбы у него нет и раньше чем через несколько лет не будет. Совершить воздушные удары по Израилю, с которым Иран, кстати, не граничит, – дело совершенно безнадежное: у Израиля современная противовоздушная оборона. Так что не совсем понятно, чем Иран мог бы на это ответить.

Сейчас говорится о том, что Израилю следует снять блокаду. Об этом сказала Хилари Клинтон. Об этом говорят и английские премьер-министр и министр иностранных дел. Конечно, Израиль мог бы на это пойти, но при условии, что он что-то получит взамен в плане безопасности. Что? Есть только один вариант: создать международную инспекцию для проверки кораблей, идущих в Газу морем. Международное сообщество вполне способно создать такую инспекцию, которой бы Израиль доверял».

Если только это сообщество научится отличать гуманитарную помощь от бандитской разводки.

ПЧЕЛЫ, САМСОН И ПАНТЕРА

Àèàèàí àð Èèè: ààèèè

Чтобы узнать, где находится дикий улей, бортник находит пчелу и определяет направление, куда она полетела со взятком, после того как снялась с цветка. После чего он отходит на какое-то расстояние, пока не найдет еще одну пчелу, за которой тоже наблюдает и замечает направление ее полета после взятка. Пересечение линий двух открытых им направлений даст местонахождение улья.



Самсон и лев. Роспись Николы из Виртена. 1181 год.

Коллекция Эриха Лессинга.

Нью-Йорк

Австрийский этолог Карл Риттер фон Фриш в 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине «за открытия, связанные с созданием и установлением моделей индивидуального и группового поведения животных». Одним из открытий фон Фриша стала разгадка тайны танца пчел. Оказалось, что пчелы-разведчицы своим петлеобразным танцем в улье могут передавать собратьям информацию о месте нахождения взятка – угол направления относительно солнца и расстояние до него, учитывая даже особенности рельефа местности, например наличие на пути холма или скалы.

Осип Мандельштам исполнял приказание пчел Персефоны и раздавал всем из ладоней мед и солнце. Поцелуи он сравнивал с пчелами, которые умирают, вылетев из улья, но прежде шуршат в прозрачных дебрях ночи. Поэт определял родину пчел в лесу Тайгета. Считал их пищей время, медуницу, мяту. И предлагал подруге дикий свой подарок – невзрачное сухое ожерелье из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Мы говорим: метафора – это зерно не только иной реальности, но реальности вообще. В метафоре кроется принцип оживления произведения, его творческий принцип.

Мало того что метафора есть орган зрения. Она способна, будучи запущена импульсом оплодотворяющего сравнения, облететь, творя, весь мир. Метафора – пчела, опыляющая предметы, – энергия ее сравнительного перелета от слова к слову, от цветка к цветку, как взрыв, рождает смысл. Это не красноречие: чтобы набрать килограмм меду, пчела садится на сто миллионов цветов.

Итак, мы берем на ладонь прозрачную пчелу метафоры и видим в ее ненасытном брюшке мир.

На мой взгляд, пчелы удачно ведут свою тяжбу с пространством: они его не покоряют – поскольку не дальнобойны, и не выдумывают – поскольку нечем; они его собирают.

То, что получается в результате их сборов, – соты – являет собой устройство личного представления пчел о пространстве: оно у них такое кристаллоподобное, с шестиугольной упаковкой. Если же учесть, что свет – это «сок созревших для зренья пустот», то, намазывая хлеб на завтрак медом, мы должны отдавать себе отчет, что́ на деле собираемся вкушать: теплое пчелиное зренье.

Известно, что пчелы таинственным образом связаны с поэзией, Словом. Не помню кому – кому-то приснилось, что во рту его поселился пчелиный рой, а наутро – стоило ему только открыть ставшие сладкими уста – они вылетели в строчку – стихами, стансом, и с тех пор счастливцев обрел пророческий, подкрепленный эвфоническими достоинствами дар.

Эта связь еще более укрепляется наличием велящих просодии пчел Персефоны: увы, только укрепляется, приумножая пространство тайны, но не проясняется.

В связи с этим рукой подать до следующей догадки. Не в пчелах ли кроется эта улавливаемая где-то на самых антресолях сознания сложно-перекрестная связь двух пар: места–времени \Leftrightarrow звука–смысла?

Хотя и поверхностно, но, в общем-то, внятно валентные связи этих пар обнаруживаются в следующих сентенциях:

«Совпадение вещи и места – и только это – делает их значимыми в области смысла»;

«Место есть ловушка смысла вещи в пространстве: смысловая линза, через которую разглядывают тайну вещи»;

«Смысл есть понимание в звучащей ауре тайны»;

«Звук есть место смысла вообще и в пространстве в частности»;

«Время есть мысль о месте вещи»;

«Звук, просодия есть время, которое проистекает – как квантовая волна из элементарной частицы – из смысла и которая в него же – через понимание – возвращается»; а значит:

«Звучащее слово есть временная составляющая пространства, оно разворачивает его осмысление».

Сходные соображения великолепно изложены Велимиром Хлебниковым в его размышлениях о топологии звукосмысла.

И снова без пчел здесь не обойтись. Их медиумические функции между пространством и смыслом прозрачны. Подобно словам – полетом по строчкам стиха за взятком смысла, они покидают сознание-улей и частицами понимания возвращаются в него, облетев окрестность произрастающей, как на кипрейном лугу, тайны. Вот отчего уста, владеющие даром просодии, – сладкие и золотые: потому что медоточивы, лакомы пчелам.

Но мы наталкиваемся на Самсонову загадку: «Из поедающего вышла еда, из мощного вышло сладкое» (перевод Ф. Гурфинкель).

Жаботинский в «Самсоне» рассказывает свою версию того, как Шимшону удалось полакомиться медом с помощью льва, которого он разорвал, как козленка, для того чтобы задать очередную свою загадку коварным брачным друзьям: как из свирепого вышло сладкое. У Жаботинского в этом эпизоде действуют Самсон, зеленоглазая девушка и ловкий мальчик Нехуштан, сумевший вынуть пчелиные соты из обглоданного насекомыми тупа льва (пантеры). В общем-то, это обычное дело, когда дикие пчелы за неимением дупла используют скелеты животных, обтянутые клочьями шкуры, – в качестве естественного укрытия для своих сот. Нехуштан развел костер длиной в десять шагов, за которым сумел спрятаться вместе с сотами от разъяренного роя. Пчелы, пантера и женихи были посрамлены.

Пантера – собирательное название, объединяющее львов, ягуаров, леопардов и тигров. Кто именно из них обитал на территории Древнего Израиля, я не знаю, но это неважно, ибо разорвать пасть любому из них – подвиг.

Теперь, наконец, надо рассказать, как однажды я сам всерьез встретился с пантерой на Святой земле и что из этого вышло.

Но прежде я хочу вспомнить черепаху из парка Вейцмановского института. Огромную средиземноморскую черепаху, размером с улей, которую я иногда встречал неподалеку от тропинки, ведущей от одной из калиток к учебным корпусам. Панцирь черепахи был в нескольких местах изрезан надписями. Некоторые уже расплылись по панцирным ячейкам, нараставшим со временем. Только одна надпись была на английском: «MOBY-DICK».

Та же надпись «MOBY-DICK», выведенная белой краской, стояла на ржавой корме судна, затопленного у пляжа близ города Нес-Циона. Уже в конце марта мы загорали на этом пляже и даже немного купались в обжигающей соленой воде.

Однажды я провел на пляже полдня в одиночку. На обратном пути сошел с шоссе, намереваясь срезать через пустырь. Наткнулся на гончарные мастерские. Огромные стада горшков, кувшинов, амфор, пифосов стояли вокруг, из их столпотворения трудно было выбраться. Дальше пустырь продолжился, превратившись в сильно пересеченную местность.

Кругом ни души. Наконец рельеф разнообразился. Появились бетонные блоки, ограждение из сетки-рабицы. И все бы ничего, если бы я не попал – на пустыре – в ситуацию, где было непонятно, как покорооче выбраться к шоссе, к которому, очевидно, относились те далекие белые дома, крытые красной черепицей, чьи крыши были видны из-за пригорка.

Довольно странно заблудиться на открытой местности, изрезанной овражками, пригорками, ложбинами. Избыток выбора направлений для движения только запутывает, и приходится выбираться повыше, чтобы оглядеться и не потерять ориентацию.

Увлеченный этим делом, я не заметил, как снова приблизился к невысокой проволочной сетке. Я взял в сторону, взобрался на очередной пригорок, чтобы снова осмотреться и прикинуть, как двигаться дальше.

И тут на расстоянии шагов в сорок я увидел некое поразительно знакомое животное. Я от всей души удивился. Затем удивился изо всех сил. Глаза отказывались видеть то, что видели. Мозг им не верил. На расстоянии десяти секунд быстрого шага лежал тигр. Я отчетливо видел его сильное тело, полосы на шкуре. Я замер, всматриваясь, надеясь на то, что тигр мертв и не шевелится. Надеюсь на то, что передо мной чучело. Вопрос о том, зачем кому-то понадобилось на пустыре оставлять шикарное чучело тигра, мне в голову не приходил – сознанию нужно было обезопасить себя любым способом. Но вот тигр зевнул, и я разглядел обнажившиеся клыки.

Я понял, что надо как-то физически, а не мысленно выбраться из этой истории. И взгляд мой вновь обратился в поисках направления – теперь бегства. На некотором расстоянии от тигра я увидел львов. Гривастого самца и львицу. Их я не замечал раньше потому, что песочный цвет львиной шкуры хорошо сливался с цветом пустыря. А тигр выделялся. Несколько мгновений я еще надеялся, что львы – это точно чучела. Но львица потянулась вперед и прикусила огромную кость с остатками мяса.

Я испытал то, что испытывали наши реликтовые предки, охотившиеся на бизонов и мамонтов, при встрече с саблезубым тигром. Никогда больше ужас так не окрылял меня, как тогда. Тело сделалось невесомым, и пустырь превратился в широкую взлетную полосу. Энергии, с которой я бежал, хватило бы небольшому самолету, чтобы взлететь, а Самсону – чтобы разобраться со всеми теми хищниками, что обратили меня в бегство.

Выбравшись на шоссе, я долго не мог успокоиться, хотел идти в полицию, но опомниться не успел, как влетел в квартиру своих друзей, с которыми мы и вернулись на этот пустырь. Друзья мои, прежде чем звонить в полицию, хотели своими глазами убедиться в том, что я видел.

И мы теперь втроем увидели львов и тигра. Эффект был невероятным. Длился он минуту-другую, пока не выяснилось, что животные находятся в искусно сделанных вольерах, в которых имеются и рвы, и острые прутья, а та рабица, которая мне встречалась по дороге, есть ограждение еще не открытого для публики, недавно отстроенного зоопарка. Просто, взобравшись на пригорок, я попал в особую точку обзора, из которой животные были видны как на ладони, и страх сужал зрение.

Помните, как в фильме «Полосатый рейс» публика драпала от «пловцов» в полосатых купальных костюмах? Так вот: я на собственной шкуре проверил, что подвиг Самсона – дело не шуточное.

«КОГДА БЕЗУМНЫЕ ЕВРЕИ...»

Èðåé à Áééáééíááü

Когда я была маленькой, меня интриговал и пугал тусклый свет из зарешеченных окошек подвалов, льющийся на темную зимнюю улицу. «Мама, там евреи живут!» – заговорщицки сообщала я маме. Даже, кажется, так: «яврей». Та пыталась меня отвлечь, про национальный вопрос в семье говорить было не принято.



Район Марьиной рощи. Улица Образцова. 1950-е годы

Фото Анатолия Головинского

Слово «еврей» в раннем детстве я слышала только на улице, и коннотации были соответствующие... уличные. Слово «еврей» было нехорошим, стыдным, неприличным. Из того же ряда, про что нас с подружкой тайно просвещали дети татарских дворников из соседнего дома номер 19, от которого осталась небольшая пристройка, в которой теперь располагается редакция журнала «Лехаим». В Марьиной роще, где прошло мое детство, культурные коды были совсем другие, чем у нас дома, это было нормально. Однако и у нас в семье слово «еврей» было табуированным, вместо него употреблялось «айд» или, как чаще говорили мои бабушка с дедом, «экснострис». Понижая непременно голос. Чтобы не повторять ошибок своих родителей, дочери я довольно рано сообщила, что она еврейка, поскольку родилась от еврейских родителей. Пятилетнюю Машу эта информация почему-то привела в восторг, и она довольно долго всех встречных-поперечных осчастливливала этим ценным знанием, ей хотелось, чтобы все вокруг тоже были евреями. «Анна Петровна, я еврейка! – бодро докладывала она детсадовской молоденькой воспитательнице. – А вы еврейка?» «Ой, Маш, да ты чего», – пугалась та, закрываясь

рукой. Моя маленькая внучка ходит в еврейский детский сад, она для нас источник знаний (не единственный, но важный) про традиции, праздники и обычаи народа и совсем не стесняется, в отличие от меня, в транспорте вслух произнести слово «еврей». Оно для нее просто слово: как «каша», «воробей» или «зеленый». А для меня до сих пор – нет. Последний фильм братьев Коэнов «Серьезный человек» начинается с заставки, в которой персонажи говорят на идише. Не знаю, почему меня так зацепило звучание этого, в сущности, чужого языка – в моем детстве золотом в нашей семье на идише произносились лишь отдельные слова типа «халоймес» или «шлимазл», значение их восстанавливалось из контекста. Последний раз какие-то бессвязные слова на идише я слышала от своего деда со стороны отца, лет сто назад. Его в беспомощном состоянии духа и тела привез в Москву из Житомира мой папа. Незнакомый, пугающе чужой старик, поселившийся в нашей небольшой квартире, уже не очень соотносил время с событиями, все забывал и не понимал, где он находится. Узнавал он только двоих: своего сына и мою бабуку, мамину мать, которая, овдовев к этому моменту, жила с нами. Ее он очень уважал. Меня он, кажется, считал прислугой. Он любил ко мне обращаться на идише, когда я его кормила, и очень изумлялся, когда я просила перейти на русский: «Ты работаешь на евреев и не понимаешь по-еврейски!» – рыдал он. Рыдал он также и от вида Льва Толстого, чей абрис украшал обложку собрания сочинений. Мне надо было скорей его покормить и убежать по своим девичьим делам, я раздражалась и знать ничего не желала. Мне нравится в еврейской традиции возможность диалога со Всевышним и немного пугает мстительность, растянутая на века. (Что не мешает Пуриму быть прекрасным праздником, в котором раскрывается детская сторона народной души, и я очень люблю оменташу, особенно с маком.) Ассимиляция – великая вещь. Куча народу вместе со мной вам скажет, что мы по национальности москвичи, а наша родина – это русский язык. Все это чистая правда. Более того, евреем – именно так, в мужском роде, – я себя в полной мере ощущаю, лишь глядя на фотографию моей троюродной тетки Гины, прелестной 14-летней девочки, пианистки и красавицы, погибшей вместе с остальной семьей в том самом Житомире, откуда в самый последний момент успел-таки уехать мой дед. Он был фотографом, уважаемым человеком, и все пикейные жилеты города говорили ему: «Реб Головинский, зачем вам уезжать? Немцы же культурная нация».



Район Марьиной рощи. Современный вид

*Êĩãã àáçõì í úá àãðãè
Đĩĩẽþ Đĩãèí êé çĩáòò
È èó: øá ðũĩĩĩã òĩ áþò
Òàì, ããà èõ ãĩãĩã í á çĩáòò,
À ããà çĩáòò - è òàì òĩ áþò,
À òàì, ããà ããì è íĩçĩáòò, -
Í í à ãĩò ààò ãĩ ãĩãé èðããã
Đĩĩẽÿ - Đĩãèí à àãðããã*

Д. Пригов

РЯДОВОЙ ТОЛКАЧЕВ У ВОРОТ АДА»

Naï ai xadi ue

В Государственном центральном музее современной истории России состоялась пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Рядовой Толкачев у ворот ада». Выставка включает в себя 59 графических работ художника Зиновия Толкачева (1903–1977), который смог посетить лагеря смерти Майданек и Освенцим практически сразу после освобождения и сделать ряд зарисовок их страшной действительности.



Клейменный. Талит катан.

Работы Зиновия Толкачева

До Холокоста у каждого художника были свои «Врата ада»: Данте, Бодлер, Роден... И каждый подходил к ним в означенный свыше час. И открывающаяся взору полыхающая бездна у каждого была своя. Зиновий Толкачев – живописец и график – волею случая заглянул в бездну столь глубокую, столь адову, что ставшие уже классическими Дантовы круги и их нумерация потеряли прежнее значение.

Нотная грамота детских глаз за колючей проволокой, согбенная спина клейменного лагерной меткой человека, нары и полуживые люди на них, вмерзший в землю труп... «Мы роем могилу в ветрах так не тесно лежать...» (Пауль Целан, «Фуга смерти»).

Когда в Освенциме у Толкачева кончалась бумага, он использовал взятые в канцелярии лагеря смерти пустые бланки, что еще более усиливало производимый рисунками эффект. Сейчас его работы хранятся в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем», предоставившем их для выставки.

Открывший пресс-конференцию директор Музея современной истории России Сергей Архангелов отметил: «Тот факт, что Зиновий Толкачев запечатлел действительность страшных нацистских концлагерей, имеет большое значение для истории – в том числе и для истории России, поскольку история войны – это часть истории России».

Главный куратор Художественного музея «Яд ва-Шем» Иеудит Шендар рассказала об истории создания Зиновием Толкачевым его работ. Она процитировала слова самого художника: «Я ненавижу фашизм, я сделал то, что требовала от меня моя совесть и повелело сердце. Я сделал то, что должен был сделать... Ненависть водила моей кистью, жестокая действительность разжигала воображение».

Шендар отметила, что художник в своих работах использовал давно применявшийся им прием: способность в сжатой форме обобщать явления. «Однако на этот раз порыв Толкачева был вызван не служением революции и не поэтическим вдохновением. Художник стремился показать людям увиденную им чудовищную картину расправы над народом – советским, еврейским. Он был не только солдатом Красной Армии, но и еврейским художником, запечатлевшим свои чувства, создав символы, еврейские по своей сути».

Разбирая творчество Толкачева, она указала на параллель одной из представленных работ со знаменитым «Сеятелем» Ван Гога. «Однако если у Ван Гога сеятель сеет жизнь, то здесь нацистский ангел смерти засекает поле Майданека банками с отравляющим газом – самой смертью».

Иеудит Шендар также обратила внимание собравшихся на то, что лишь три работы из всех представленных посвящены освобождению концлагерей. «Мы видим, что выражение лиц людей там практически не меняется, и это значит, что даже освобождение не смогло залечить те ужасные раны, которые они получили за время пребывания в лагерях смерти». Она также отметила, что художник всегда стремился к тому, чтобы его рисунки были доступны еврейской аудитории.

Еще в 1945 году он показывал свои работы Рахели Ауэрбах, члену Центральной еврейской исторической комиссии в Польше, которая в дальнейшем стала одним из основателей мемориального комплекса «Яд ва-Шем».

Шендар еще раз поблагодарила детей художника Анель и Илью, сохранивших наследие отца, передавших работы в «Яд ва-Шем».

Отличительная черта творчества Толкачева – искренность. Виктор Некрасов в свое время писал о нем: «Я не знаю документов – именно документов! – сильнее этих набросков Зиновия Толкачева».

Может стать, именно эта неподдельная искренность, это переживание «на грани» пугает сегодня людей, не склонных воспринимать трагедию Холокоста как свою личную. Возможно, именно поэтому глава фонда «Холокост» Алла Гербер в выступлении на пресс-конференции неожиданно затронула острую тему: «Не то чтобы люди устали помнить, они устали видеть ужасы войны. Нельзя перегружать их этим, надо быть осторожными и сдержанными, иначе девальвируется все, даже Аушвиц».

Безусловно, зрителя нельзя «пугать и призывать», но как сделать так, чтобы Аушвиц не девальвировался, чтобы на выставку, подобную «Рядовому Толкачеву у ворот ада», приходили не только евреи? Как объяснить, что после Холокоста изменилось все, включая «Врата ада», что теперь они у нас одни на всех, вне зависимости от того, придешь ты на выставку или нет?

С ЧЕГО НАЧАТЬ?..

Гриша Брускин читает свои тексты

יְעִלְעֵלֶ֑ אֲעִלְעִילֵ֑ אֲדִילֵ֑

Галерея «Stella-Art» проводит вечера художников. Но не просто художников, а тех, кто имеет отношение к художественному слову. То есть художники читают. Очередной вечер был посвящен Грише Брускину. И в данном случае выбранный герой как нельзя более соответствовал жанру задуманного мероприятия.



На вечере Гриши Брускина в галерее «Stella-Art Foundation»

2 июня 2010 года

Courtesy Stella-Art Foundation

То, что Брускин художник, сомнений никаких не вызывает и в этом качестве он известен давно. И выставки его проходят регулярно. Но относительно недавно выяснилось, что Брускин еще и писатель. За десять лет он успел выпустить несколько книг своих литературных опусов: «Подробности письмом», «Мысленно вами», «Прошедшее время несовершенного вида», «Прямые и косвенные дополнения». Кстати, видеоряд играет в них не последнюю роль, поскольку по существу это – фотоальбомы с

подписями, или просто альбомы, в которых текст запросто может обходиться без фотографий. Потому что тексты эскизные, графичны. Это миниатюры: сценки, анекдоты, фрагменты воспоминаний, истории реальные и выдуманные. Жанр, который в последнее время обрел необыкновенную популярность. Здесь нарочито упрощенное письмо, синтаксический минимализм, четкий ритм, простые предложения, минимум средств. Стиль адаптирован к современной манере рассказывания. Байка, анекдот не подразумевают пространного повествования. Наоборот, ничто не должно отвлекать от сути. Понятно, что такие тексты – уже по характеру своему, по формату (модными словами говоря) – предназначены для чтения, для произнесения вслух. Эти миниатюры не утомительны, живописны и лаконичны (не нужно следить за многочисленными подробностями и деталями, а если уж детали появляются, то они имеют самостоятельное значение и сразу обращают на себя внимание). По существу – это художественная стратегия, выраженная в слове. Или рисунок словами. Впрочем, вполне возможно, я преувеличиваю, то есть как бы изначально привязываю свое знание того, что Гриша Брускин художник, к его текстам, живописное «вчитываю» в вербальное. Контекстуальное знание, таким образом, влияет на текст. Но даже если это так – результат остается неизменным.

Брускин в основном читал известные тексты, то есть уже опубликованные и даже ставшие отчасти хрестоматийными. «Хроники» семьи Магарас, истории про бабушку Рахиль Григорьевну и других персонажей воспринимались на ура – то есть с пониманием и весельем. Это при том, что аудитория в большинстве своем была подготовленной, тексты Брускина читавшей. Но ведь чтение, авторское чтение прежде всего, каждый раз как будто рождает текст заново. Кроме того, помимо известных и опубликованных звучали вещи еще не печатавшиеся. К слову сказать, в ближайшее время в издательстве «Новое литературное обозрение» должна выйти новая книга Брускина. «С чего начать» – кажется, таково ее рабочее название...

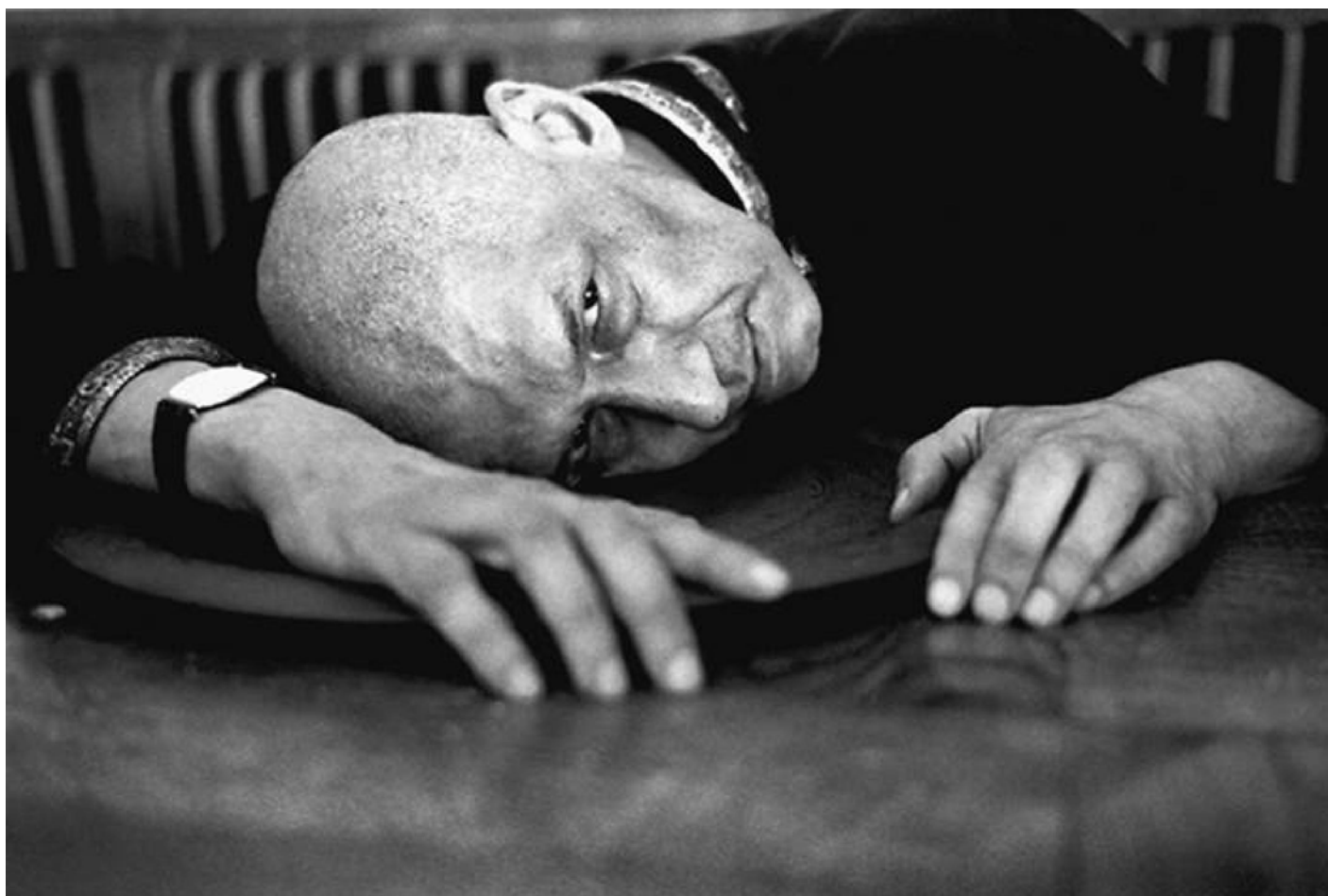
И еще одна вещь, о которой стоит сказать. Кажется вполне закономерным, что вечер Брускина вел Лев Рубинштейн. В данном случае он выступал не просто как модератор или посредник. И дело не только в том, что Брускин и Рубинштейн давно знают друг друга. Дело еще и в том, что дружеская близость здесь перерастает в творческую. Тексты Брускина созвучны текстам Рубинштейна. У них схожая интонация. Они вырастают как будто из одного «материала» (не в последнюю очередь это – быт советской еврейской семьи и семейные хроники), основываются на одном видении мира, укладываются в общий канон. Они родственны в прямом смысле слова. Хотя с другой стороны, конечно, существует память, традиция и логика жанра.

Воспоминания в миниатюрах, мемуары в историях и анекдотах – все это не сегодня изобретено. И в этом жанре много кто работает. Можно назвать хотя бы Дениса Драгунского, который выпускает уже вторую книгу своих миниатюр, намеренно коротких рассказов. Первая называлась «Нет такого слова», вторая – «Плохой мальчик». И самые удачные рассказы в них, на мой взгляд, носят как раз ретроспективно-мемуарный и анекдотический характер.

«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ...»

יְאֵרָא עֲבָרֵי הַיָּמִים

28 апреля, в день рождения Михаила Генделева, в Иерусалиме и Москве состоялись вечера памяти поэта. По следам московского вечера в прошлом номере «Лехаима» мы опубликовали статью Арсена Ревазова. В этом номере мы предлагаем вниманию читателей статью литературоведа и друга поэта Майи Каганской.



Песах уже стоял при дверях, когда мы его хоронили. На улицах верховодила по-летнему липкая жара, но здесь, на холмах Гиват-Шауля, с низко опустившегося, как будто из любопытства, неба сильно дуло, и поминальные свечи яростно и страшно рвались навстречу ветру из своих застекленных камер.

Несколько подоспевших московских друзей стыдливо прячут за спины, а то и просто выбрасывают загодя припасенные букеты цветов. Какие цветы, когда хоронят еврея? Камни, камни и камни...

Жестокая, воистину самурайская красота еврейского погребального обряда пронзает. (Евреи! Если вам не все равно, где истлевать бесчувственному телу, не зарывайтесь ни в озол, ни в чернозем, ни в суглинок: еврейские кладбища, что в

Подмосковье под березами, что под Парижем под платанами, одинаково неприглядны и по-особенному жалки, как нищие на паперти чужого храма. Лучше уходите в камень под каменным небом – и красивой и достойней.)

По случаю месяца нисан надгробные речи запрещены, и правильно: жизнь нашего общего друга Миши Генделева кончилась, а вот жизнь поэта Михаила Генделева... Нет, она не начинается, напротив, она в разгаре, в послеполуденном зените и еще преподнесет сюрпризы, так что последнее слово и не может быть сказано.

На 59 отпущенных ему лет приходится 33 года моей с ним беспорочной дружбы, не отягощенной никакой обыденностью. Мы дружили, как дружили бы ассонансные рифмы, если бы были людьми.

Из тех же 59 лет более четверти века, с 1977 года начиная, Генделев безотказно провел в Иерусалиме, потом какое-то время кочевал между Израилем и Россией, пока не осел в Москве совсем и со всем, что оседлому образу жизни – и поэта тоже – полагается: дом, семья, друзья, издатели, читатели и почитатели.

Россия встретила его лучше, чем Израиль проводил. В ивритоязычном Израиле людей, понимавших поэтический калибр Генделева, было меньше, чем пальцев на одной руке. Зато среди оценивших оказался Хаим Гури. Русского он не знал, а Генделев на иврите скорей рычал, чем изъяснялся. Вот по этому-то рыку Гури его признал, плюс жестикуляция и подстрочники. Поэту достаточно. Гури его любил, они дружили. Хаим Гури участвовал в составлении и издании единственного сборника стихов Генделева на иврите, в прекрасных переводах П. Криксунова. Сборник назывался «Хаг» («Праздник»), опубликован в 2000 году.

Сборник не заметили. Он и уехал.

Ивритяне! Не кайтесь в свойственной вам дурной манере самобичевания, не отличимого от самолюбования: дескать, какое же мы неприветливое закрытое общество! Если кто не «один из нас» – он другой, чужой, мы его не принимаем, знать не хотим. Да, вот такие уж мы, не взыщите.

Но и вы, «русские» израильтяне, не спешите вчинять очередной иск Израилю с неустрашимым акцентом хамства: мол, не принимаете вы нас, потому что не понимаете, а не понимаете, потому как мы выше и для вас недоступны...

А на самом деле никто не виноват ни в чем, просто современная ивритская поэзия и поэзия Генделева настолько разной породы и природы, что даже не оспаривают одного экологического пространства.

Так, осевшая под грузом маслин олива не сцепится за место на холме с вытянутым в струнку тополем, что по весне, мягкой пародией на снег, засыпает округу белым пухом.

Тополиный пух и старинное русское напутствие усопшему: «Да будет земля тебе пухом» сопрягает Генделев в одном из ранних воспоминаний о родном городе, устланном тополиным пухом мраморно-гранитном гнезде русских поэтов: «тополиный вам пух красавцы пух земля по краям лица...»

Срочный перевод общеязыковой идиомы в приватную поэтическую речь – это уже росчерк зрелого Генделева. Не язык, а речь, не Россия – русские поэты. Так он начинался.

Между тем, кто ж не знает, что родина поэта – это его язык?

Поэтому поэту негоже искать свои корни, ведь они всегда при нем: корни слов.

А вот вернуться к своим корням – это совсем другое дело, это значит «отсадить» корни обратно, вернуть в родную языковую почву.

Неудивительно, что стоило России сменить свой всегдашний медвежий оскал на сколько-то дружелюбную ухмылку, как многие «новые русские» израильтяне, необязательно поэты, но связанные русским языком по ногам и рукам, потянулись обратно. Сколько? Не знаю, не считала. Для меня – много, раз я не досчиталась Генделева.

Он, правда, регулярно наезжал в Израиль, и у него, в отличие от многих, из Израиля съехавших, хватало ума и такта, чтобы не изливать потоки и патоку израильского патриотизма и разогретого расстоянием сионизма. Что производит впечатление одновременно комичное и неприличное, как секс по телефону.

Чем больше доставала его болезнь, тем на дольше он здесь оставался. Пока не остался навсегда.

Печально. Особенно для родных и близких. Но, положи руку на сердце, мало, что ли, у Израиля своих печалей? А русского поэта пусть Россия и отпоет – разве, по справедливости, не так?

И все бы так, но: до последнего дня, до последнего вздоха без выдоха Генделев именовал себя пишущим по-русски израильским поэтом. Заметьте: не еврейским, но – настойчиво – израильским.

В Москве сборники его стихов выходили под названием на двух языках – русском и иврите. Как эпитафия к двуязычию его иерусалимского надгробия. Иврит Генделев так и не выучил. Но он потрясающе его слышал, слушал и подбирал; так музыкально одаренный, но не обученный нотной грамоте человек подбирает любимые мелодии на знакомых инструментах.

Он умер за тридцать дней до своего дня рождения, а день тридцатый со дня его смерти (шлошим) совпал с днем рождения Государства Израиль и поминовения за него павших.

Какая плакатная, едва ли не назойливая символика! Но все правильно: смерть поэта – это посмертный слепок с его поэтики.

...Когда-то Хемингуэй советовал начинающим авторам попробовать, а затем описать самоубийство: без травматического личного опыта в литературу лучше не соваться.

Русскоязычные литераторы, поэты и прозаики заплыва 1970-х годов, независимо от того, кем они были в прошлой жизни, почувствовали себя начинающими: вокруг, куда ни глянь, простирается до самого горизонта чужая речь, чужой ландшафт,

чужие застолья. И тогда они, не сговариваясь, коллективно, скопом, последовали совету Хемингуэя. Не пугайтесь: в сильно смягченном варианте заменили самоубийство лютой ностальгией. Они эксплуатировали ностальгию, как южные плантаторы своих черных рабов, выжимали ностальгическое отчаяние до последней капли пота, до последней слезинки плача и снимали по два урожая в год.

Вряд ли где-нибудь когда-нибудь эмигранты или беглецы из России так надрывно голосили по ней, как эти добровольно ее покинувшие русские литераторы, евреи по происхождению и сионисты по убеждению.

А в это самое время Генделев буквально изнемогал от острых приступов счастья. Он не успевал и не уставал записывать застывшие в иерусалимских камнях метафоры. Камней было множество, метафор – тоже, притом самого широкого профиля. Так появились «каменные воды», «каменное небо» и «губы тоже камень». Ввиду близкого и жадного присутствия нового пространства – Иудейской пустыни, что начиналась сразу за порогом дома в Неве-Яакове, по-иному заговорило время, привычно запертое в часах: «...степенная пара григорианских минут оборотятся к пустыне свою бормочет латынь». Выяснилось также, что прибрежная крепость (Акко) – это «антистрофа волне».

...В связке человек–поэт поэт – это существительное и подлежащее, а человек – прилагательное и сказуемое. Человек Генделев был о ту пору молод, сух, быстр и ловок телом, лицо же имел смугло-бледное, как и полагается выходцу с Востока.

Марселя Пруста сравнивали с персом, Пастернака – с арабом и его лошадью вместе, ну а Генделев был вылитый бедуин или марокканец. Как будто родовые гены, очнувшись от зимней спячки, рванулись наружу, к солнцу. Он так естественно и быстро врос в Иерусалим, как будто тот был пазлом, а Генделев – недостающим фрагментом. Стоило мне выйти в город – и я на него налетала, даже в тех задушенных закоулках, где и себя-то не чаяла встретить.

Вот он окликает меня с того берега улицы. Военная форма, хоть и великоваты по размеру, но с ним в ладу – даже тяжеленные солдатские бутсы ему идут, и чувствуется, что М-16 не угнетает плечи. Это ливанская война отпустила его на малую перемену.

Он все еще ждет меня на углу, как мы и договаривались, напряженный (новые стихи в рюкзаке) и напоминает стрелу, натянутую на нерв. А еще, как и большинство из нас, был в те годы по-эмигрантски надрывно беден, любил свою красавицу жену и маленькую дочь, но семья разваливалась: вместе с опустошенными чемоданами он снес в подвал муниципальной квартиры планы трудо- и жизнеустройства ради беспрепятственного сочинения стихов. И честно оповестил об этом. Он праздновал новую страну, как празднуют новоселье.

Из города, перекормленного стихами, Генделев приехал во всеоружии стихотворства. Но стихотворца в поэта превратила только 1-я ливанская война – он отслужил ее в качестве военврача («полкового лекаря», его словами), и война в благодарность, как орденом или медалью «За отвагу», одарила его Темой. А тема – это тело поэзии.

Междуречье, Тир, Сидон, Вавилон, Ливан... Какие свежие, какие незатоптанные земли! Здесь воистину не ступала нога ни русского солдата, ни русского поэта. Исполнение желаний: вырваться из магнитной ловушки русской поэзии, на волю,

на вольные хлеба: «Мне так хотелось бы уйти из нашей речи, уйти мучительно и не по-человечьи». Потому что: «Г-сподь наш не знает по-русски и русских не помнит имен».

Г-сподь, наш, ваш, всехний, Ад-най, Аллах, Христос... Сплошные псевдонимы. Но каково бы ни было Его настоящее имя, еврейской традицией запрещенное к произношению, – после Ливана и до конца в поэзии Генделева Г-сподь господствует безраздельно. Более интересного собеседника он так и не сыскал. Вера? Но вера не в счет: «Я верил бы в бессмертие души, да две метафоры перегружают строчку». Иудаизм, правда, и не настаивает на вере как непременно условии общения со Вседержителем, скорей на доверии. Только где ж его взять?

Жанр отношений с еврейским Б-гом Генделев определил сам, ясно, просто и для еврея вполне традиционно: спор. «Спор Михаэля бен Шмуэля из Иерусалима с Г-сподом, Б-гом нашим, о смысле...» Резоны спора, точнее, вызова у Михаэля бен Шмуэля, в сущности, те же, что были у Иова, только помноженные на шесть миллионов.

Именно после ливанской войны Катастрофа как кислород входит в состав воздуха, которым дышит генделевский стих, и пепел оседает даже на ликующие пейзажи. Не тот пепел, что стучит в сердце, а тот, в который само сердце превратилось.

Думаю, что Катастрофа как ничто другое понудила Генделева резко поменять регистр старинного спора евреев между собой и Вседержителем.

Строка из «Вида на Бейрутский порт» с греческим судном в фокусе окуляра: «И видим надпись на корме: “Метафора”, чего? – Зиянье».

Так вот: если двигаться по теологическому вектору поэзии Генделева, получим не безадресную метафору («зиянье»), но метафору зиянья, и это есть Б-г.

Разумеется, поэзия Генделева трагична. Но трагизм – пустотелое слово, начинка разнообразна: трагизм социальный, национальный, исторический, конца истории, конца века, конца света, индивидуальный трагизм «бытия – к – смерти» (по Хайдеггеру) и т. п. Трагизм Генделева – космический. Совсем не в смысле глобальности, всеохватности или особой безнадежности, – нет: на дальних рубежах поэзия Генделева соприкасается с современной научной космологией, рельеф его стихов тянется к звездам.

Только это другие звезды, они не переговариваются, они не «жемчужины», не «плевочки» и не «полицейские птички» («...звезды живут, полицейские птички»). Хотя... Хотя... Мандельштамовские «полицейские птички», пожалуй, всего ближе к современной космологии, которая пользуется таким, например, понятием, как «космическая цензура». (Это когда Б-г[1] не терпит голый сингулярности[2], т. е. чтоб за ней подглядывали. Стивен Хокинг, «Теория всего».)

Черные дыры, «темная материя», хаос, Б-г как ироническая метафора, образ и понятие непонятного. Генделев: «Тьма это тьма, а не где-то заблудший огонь повтори: не свет не отсутствие света и не ожиданье зари».

Вопреки книге Бытия тьма не отделена от света, но существует сама по себе, самодостаточно и целокупно. Да и вообще, состоялось ли оно, это великое разделение? Между светом и тьмой, порядком и хаосом, жизнью и смертью и прочими благонамеренными оппозициями?

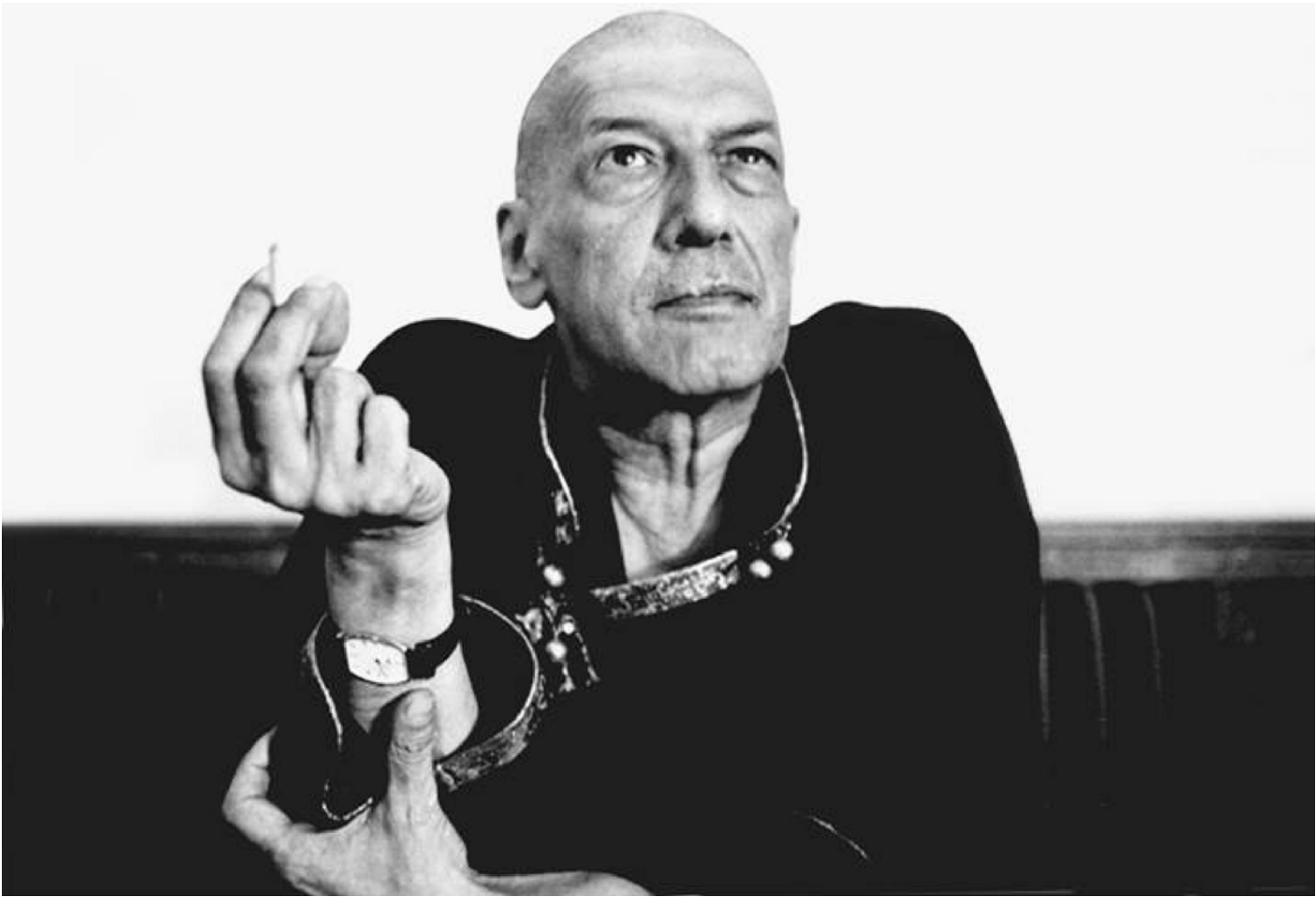
Нет, не состоялось: «есть война не мир обратный, но мир, в котором всё как есть...» Или: «...внутри нас труп желает воли из тела выбросить побег...»

Но это еще что!.. К небытию стремится центр, нерв, самая сердцевина поэзии: Слово. Вопреки наказу («...и слово, в музыку вернись») слово возвращается не в музыку, но – в звук, шум, гуд, гул.

Слова распадаются, как империи, высвобождая для конфликтов свои составные части: окончания захватывают места приставок, суффиксы внедряются в корни, членораздельность, гарантированная синтаксисом, ликвидируется.

Пример (почти что первый попавшийся):

í àò èÿ áí ÷ èà è éúáí ðí é
è áááí ÷ èà áúéàò áá í àèíéí ñ é
í ðè
ñááÿ
í ááí äè ò çäë
í ò ñéí öà í à áðáð ù áí
äÿáÿ á äëàçà



Неудивительно поэтому, а, напротив, закономерно, что именно «Спор Михаэля бен Шмуэля из Иерусалима с Г-сподом, Б-гом нашим...» завершается инфантильной бессмыслицей: «Эники-бэники-сиколеса эники-бэники ба!»

Детская дразнилка с высунутым языком. И кто кому показывает язык: автор Б-гу или Б-г автору – это еще вопрос. Поэма состоит из пронумерованных главок, и эта, последняя, обозначена числом 0 («ноль»).

Ноль, ничто, однако столь же конец, сколь и начало: смыслы слов и их сочетаний распадаются, но не исчезают, они уловимы, восстановимы и, более того, порождают новые. Так, слово «приседая», обозначающее движение при распаде, высвобождает свойство: «седая». Тоже, кстати, похоже на детскую игру в слова. Как выяснилось, хаос структурен (см. «Теорию хаоса»).

...Что же до «близкого зарубежья», которое, в отличие от «дальнего» – науки, есть художественная словесность, то соратников и «подельников» Генделева я вижу не в современной русской поэзии (там их нет) и уж, конечно, не в последних корчах и потугах реалистической прозы, но – в фантастике, научной, ненаучной, «фэнтези», русской (Пелевин, Сорокин) или зарубежной (неисчислимо).

Можно ли Генделева переводить на иврит? Можно. Но для этого нужно сначала перевести его с русского на русский. Ведь только русский читатель способен оценить

опустошения, которые Генделев произвел в русском языке, безжалостность набегов на все его «улусы», от фонетики и морфологии до орфографии и семантики.

Откуда у меня ощущение, что Генделев на иврит уже переведен? Не на слова, а на то, что за ними... Он так прилип, прилип, прикипел к нашему острову, окруженному со всех сторон засушенной сушей, к нашему безразмерному небу, всегда красной от притока свежей крови земле, нашему дикому неукротенному солнцу и такой же судьбе... Край вселенной, где все – процесс и ничего – результат, где тьма не наступает, а наваливается и дневной свет не светит и не греет, а – сжигает. Такой край не может не заговорить на генделевском языке. А слова... Слова – это стада, послушно идущие на зов хозяина. И они придут.

...Он больше не будет раздражать тех, кто высоко ценил его стихи и не очень высоко – их автора, и не обворожит других (и было их немало), которые не только что генделевскими, но и вообще стихами отродясь не болели. Обаяния в нем было с избытком.

Был он поэт старинного, очень старинного рода, т. е. с сильным зазором между бытовой и поэтической личностью. О таких сказано: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» и т. д., по тексту, но с существенной оговоркой: суетность была, а вот малодушия не было. Храбр и мужествен был он редкостно, не только как мужчина, врач, солдат, но особым мужеством поэта – мужеством любопытства: сгодится ли на стихи?

Нынешние поэты от не-поэтов не отличаются, такой же, в общем, служивый народ, как и все. Только что стихи пишут, и хорошо, если хорошие. Поэты – «умнейшие мужи» своих эпох и народов, как Гёте, Пушкин, – ау! где вы? Нет ответа.

Мышление поэта Генделева было самым сложным из тех, с кем мне довелось встретиться на моем веку, и я счастлива, что еще при жизни успела ему сказать слово, которое считается собственностью мертвых: что он – гений.

^[1] Со времен Эддингтона B-г – одна из возможных гипотез.

^[2] Сингулярность – точка внутри черной дыры, где перестают действовать все известные нам физические законы.

НЕРАЗРЕШИМОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ

ЯКОВА БЛЮМКИНА

יָאָה אֶבְרָהָם אֲבִי הַיִּצְחָק יִשְׂרָאֵל אֲבִי אֲרָם:

אַבְרָהָם אֲבִי עֵשָׂו אֲבִי עֵשָׂו, בְּרִיּוֹתָאֵי עֵשָׂו יִשְׂרָאֵל, אֲבָרָה יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל עֵשָׂו עֵשָׂו

אַבְרָהָם אֲבִי אֲרָם יִשְׂרָאֵל אֲבִי אֲרָם

Хроника революции долгое время была мутной летописью завоеваний кремлевских кормчих. В подлинной же ее истории действовали сотни и тысячи людей, след которых начал стираться или уже стерся с ходом лет, но чьи усилия порою перевешивали усилия иных кумачовых бонз. Яков (Симха-Янкев Гершевич) Блюмкин по характеру своего дарования был словно создан для того, чтобы передать лихорадочные ритмы революции, ее краски, верования и заблуждения. Это дарование проявилось очень рано, еще в еврейском гнезде, и сыграло свою роль в его прижизненной да и посмертной судьбе. Придать ей завершенность сегодня мешают засекреченные архивы. Впрочем, некоторые историки уверяют, что и тайные ящики с неведомым содержимым здесь не помогут: уж больно сильно окрашен легендой его образ. Так ли это на самом деле?

О БЛЮМКИНЕ – ТОЛЬКО ГИПОТЕТИЧЕСКИ...

אַבְרָהָם אֲבִי עֵשָׂו אֲבִי עֵשָׂו, יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל, אֲבִי אֲרָם



- Недавно ты закончил роман «Перс», наверняка не остыл еще от «блюмкинской» темы. Баку – город нашего детства. Сколько революционных мифов хранил он в себе... Один из них – «Блюмкин и Баку».

- В «Персе» есть обрывки мифа о Блюмкине и есть развитие этого пунктира, так что позволю себе не слишком различать действительность и вымысел, так как о Блюмкине мы можем говорить только гипотетически. В моем романе Блюмкин командует подавлением крестьянского восстания в Грузии и штурмом Баграм-Тепе, после чего отправляется в Британскую Индию, где ищет сближения с исмаилитами – в поисках особенных мистических переживаний, создает агентурную сеть, арестован англичанами и бежит из тюрьмы с добычей – пачкой секретных карт и поддельных документов. После экспедиции Рериха, в которую он то ли попал, то ли нет, в 1926 году Блюмкин работает в

Монголии, создает агентуру в Китае и Тибете. Бежавший в Японию агент рассекречивает деятельность Блюмкина в восточном регионе, и Якова отзывают в Москву. В 1928 году Блюмкин объявляется в Константинополе, затем в Палестине, где живет в Яффо под видом набожного еврея, но уютней ему оказывается в обличье персидского еврея-купца. Для прикрытия резидентуры он открывает букинистический магазин. Чекисты со всех концов СССР шлют к нему изъятые из синагог старинные свитки Торы, списки Талмуда, сочинения средневековой еврейской литературы. Заслуги Блюмкина перед еврейской филологией неопределимы: книги для доставки в Яффо конфисковались из государственных библиотек и музеев.

- Ходили легенды о золоте Блюмкина, утаенном при экспроприации Госбанка Одессы (Киева или Славянска).

- По слухам, для экспроприации Госбанка Одессы Блюмкиным был привлечен Моисей Винницкий, прообраз бабелевского Бени Крика. Вообще, для такого типа деятельности, которой занимался Блюмкин, требовались немалые средства и, скорее всего, недюжинные запасы психической энергии. Хотя бы для того, чтобы быстро и эффективно перемещаться по поверхности планеты и уметь остаться там или здесь для разведывательных операций или создания агентурной сети. Уверен, что при своей любви к острым ощущениям наш герой не обошелся без «стимулирующих существей», не знаю, что было в ходу – кокаин и женщины, наверное.

- Почему Блюмкин избрал Баку в качестве основного пункта бегства?

- Дело не только в зачарованности Блюмкина Востоком. Вопрос в Большом Кавказском хребте. Западное направление слишком многонаселенное – трудно затеряться. Средняя Азия, напротив, - пустынна и недружелюбна, там вообще не привыкли к людям, не то что к чужакам. Тифлис не годится: оттуда бегство непременно приведет в горы. В Баку же чужакам не удивляются, жить там можно вполне европейским способом, а бежать удобно - и морем, и равниной.

- Кто такие дженгелийцы? Какова их связь с Блюмкиным, направленным в Персию для того, чтобы способствовать приходу к власти Эхсан Улла-Хана?

- После взятия Энзели и поражения Гиляна Блюмкин окончательно восстанавливает в глазах Троцкого и, главное, в глазах недругов свою репутацию, пошатнувшуюся после слишком самостоятельного убийства Мирбаха (тогда наркомвоенмор взял его к себе начальником личной охраны, добившись замены смертного приговора искуплением вины в революционных боях). В моем романе Томашевский, Костерин, Абих и другие юные командиры Персидской армии героизируют Блюмкина, он для них небожитель. Один из ведущих чекистов Закавказья, переговорщик по установлению границ с Ираном и Турцией, борец с контрабандой, «молодой любовник революции» полон невиданных идей о поиске окончательной истины – и потому увлечен, вслед за Хлебниковым, Бабом и пророком новой религии Бахауллой. «Дженгель» – это лес; дженгелийцами во все времена называли партизан, «людей леса». Дженгелийцы в 1920 году пожелали включить Персию в Коммунистический интернационал. Народно-революционное движение, подкрепленное интеллигентными персами, перенявшими у русских марксизм, оказалось ослаблено личным противостоянием революционных лидеров – Эхсан Уллы-Хана и Кучик-Хана.

КТО УГОДНО, НО НЕ БЫТОВОЙ УБИЙЦА

Βοῦρεῶν Ἐπίουῶν ἐπὶ ἰδέε



- Существует версия, что ЦК левых эсеров приговорил Мирбаха уже после приговора Ленина и Дзержинского. Зачем это им было нужно?

- Не согласен с такой трактовкой. Недавно я сдал в печать рукопись, в которой будут опубликованы оригинальные документы левоэсеровских архивов. По этим документам видно, как планировались террористические акты против представителей немецкой стороны и не только – империалистов всех стран, лидеров Антанты, противоборствующих сторон... И все это для того, чтобы и прекратить войну, и попытаться вызвать мировую революцию. На переговоры в Берлин ездил будущий видный коминтерновец, тогда один из аппаратчиков ЦК левых эсеров, Григорий Смолянский. Он встречался с Карлом Либкнехтом и Францем Мерингом. Обсуждались вопросы покушения на кайзера Вильгельма II, Гинденбурга и Людендорфа. По уверению Смолянского, именно немецкие товарищи посоветовали своим русским единомышленникам осуществить теракт против графа Вильгельма фон Мирбаха. Версию причастности Ленина и Дзержинского к убийству Мирбаха запустил Юрий Фельштинский в своей книге о левых эсерах и их конфликте с большевиками. Фельштинский работал тогда с открытыми источниками, не касался левоэсеровского архива, не говоря уже об архивах КГБ. Также следует понимать, что в то время Ленин и Дзержинский – совсем не одно и то же.

— При изъятии золота из отделения Государственного банка в Киеве Блюмкин экспроприировал четыре миллиона золотом, но в штаб армии передал на полмиллиона меньше. Как к подобным вещам относились левые эсеры?

- Дело происходило не в Киеве, а в Славянске. Версий может быть сколь угодно много, но есть же архивы. Надо понимать, при каких обстоятельствах изымалось золото. А изымалось оно в ситуации полной неразберихи. Естественно, что под натиском немецких и австрийских оккупантов полевые командиры считали своим долгом изъять банковские ценности. Были люди, обвинявшие в недостатке именно начштаба одной из армий Якова Блюмкина. («Армий», – конечно, громко сказано.) Командовал армией Петр Лазарев – офицер с Румынского фронта. В деле, которое я видел, Блюмкин и еще ряд товарищей, полевых командиров, включая будущего известного разведуправленца Семена Урицкого, обвиняли как раз Лазарева в этой утайке денег. Дело рассматривалось московским Ревтрибуналом. Лазарев был объявлен в розыск. Из все этого следует вывод, что ситуация действительно была запутанная.

- Блюмкина подозревают в ряде убийств на бытовой почве. Говорят, тому причиной – чрезмерная болтливость. Наталья Сац до конца своих дней была

уверена, что в смерти ее сестры повинен Блюмкин. Считала, что Блюмкин в период близости с ее сестрой наговорил лишнего и...

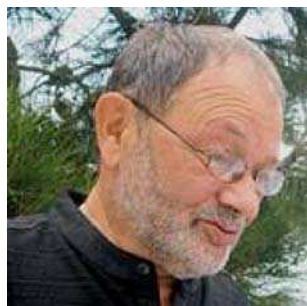
- Я читал только официально изданную книгу Сац. Не помню, чтобы там были описаны обстоятельства смерти ее сестры, не помню, чтобы кто-то обвинял в этом Якова Блюмкина. Не знаю ни одного достойного внимания источника, намекавшего на участие Блюмкина в убийствах на бытовой почве. Правда, мне встречались как-то опубликованные в одной одесской газете материалы процесса, проходившего в середине 20-х годов, главным фигурантом которого был брат Блюмкина, осужденный за предумышленное убийство. Яков Блюмкин для меня не является героем, скорее – антигероем. На Блюмкине и так слишком много прегрешений, чтобы еще возводить напраслину. Он и диверсант, и террорист, и кто угодно, – но только не бытовой убийца.

- **В начале первой мировой Блюмкин подрабатывал в конторе Пермена и наладил подделку документов для освобождения от призыва. Когда это выплыло наружу, он заявил, что делал все по приказу хозяина. Оклеветанный хозяин дал Блюмкину убийственную характеристику: «Несомненный подлец, но талантливый». Блюмкин – человек из сугубо еврейской среды. Учителем его в талмуд торе был Менделе Мойхер-Сфорим. Как могло так случиться, что из такой среды вышел такой человек?**

- Нужно еще доказать, что эти серьезные обвинения имеют основание. В отношении Блюмкина вообще много слухов и пересудов, подчас он сам себя мифологизировал. Мне Блюмкин не представляется подлецом. Что касается вопроса «евреи и революция»: в революцию приходили люди и из русских духовных семинарий, и из грузинских. Одесса была очагом революции. Яшу Блюмкина, или Симху-Янкева, могла отдать в талмуд тору мать, а сам он мог туда вовсе не стремиться. Лучший образ Блюмкина, романтического и абсолютно авантюристичного, выведен у Катаева. Для меня куда весомее его мнение, а также Есенина и Мандельштама, не державших Блюмкина за подлеца, пусть и талантливого.

ЕГО ВЫДАЛА БЕЗДАРНАЯ МЕРЗАВКА

Àààà Ì àðéèø, í èññò àéü æóðí àééñò



- **Суд над Блюмкиным впервые в СССР осуществляла так называемая «тройка». Решение о расстреле Блюмкина существует, а акта о смерти найти так и не удалось?**

- Нет никаких оснований предполагать, что расстрельный приговор не был приведен в исполнение. Яков Блюмкин был казнен, а вот «революционные слова», якобы выкрикнутые им перед расстрелом, – выдумка. Блюмкин был слишком ярким человеком, чтобы уцелеть в советской «империи винтиков». Если б его не обвинили в связях с

Троцкий – обвинили бы в чем-нибудь другом: «Был бы человек – статья найдется». Он, как никто другой, не вписывался в систему. Поэтому и опередил своих коллег, последовавших за ним в расстрельный коридор восемью годами позже, в 1937 году.

- После Тибета Блюмкин вернулся другим человеком, выказывал сомнения в правильности сталинского пути. А после того как знакомые по секретной экспедиции стали исчезать, начал распродавать столь ценный им антиквариат. При аресте у него обнаружили чемодан, наполненный американскими долларами. Мог ли он завязать с советами и вернуться в еврейство, стать еврейским политиком, писателем?

- Блюмкин, прошу простить за каламбур, никогда не отрекся от своего еврейства, но и не тяготел к нему. Его влекли иные горизонты, другой ветер бил в его паруса. Он был авантюристом до мозга костей, великим авантюристом. После возвращения из Тибета «молодой лама» (так его называл Рерих) хандрил по той причине, что так и не нашел Шамбалу, и это означало поражение, противное самой природе Блюмкина. Не уверен, что имел место в действительности и «долларовый чемодан», – Блюмкин был далеко не профаном в нелегальной работе, он не стал бы держать при себе чемодан с валютой. Справедливо опасаясь ареста после возвращения из Стамбула, он решил уйти и «лечь на дно» где-то в глубинах Центральной Азии, хорошо ему знакомой. Его выдала бездарная мерзавка, которой он доверился, привычно играя с судьбой.

- Блюмкин был женат на дочери известного толстоведа Генеро – Татьяне Файнерман, – что ввело его в круг революционной богемы. Среди знакомых Блюмкина были Гумилев, Шершеневич, Мандельштам, Есенин, Маяковский... Катаев в повести «Уже написан Вертер» вывел его в образе Наума Бесстрашного. Что привлекало этих людей в Блюмкине?

- Неординарность и близость к власти, к ее стальным когтям. Он являлся человеком-мифом, не выдуманной, а действующей персоной дикой послереволюционной жизни. В глазах писателей Блюмкин был как бы «своим» – сочинял стихи, даже примыкал к течению имажинистов. С другой стороны, он демонстрировал свою способность спасти незадачливого литературного приятеля от смерти, выдернуть его в последний момент из лап ЧК. Тайна окружала Якова Блюмкина. Тайна и миф.

- Ходит слух, что якобы налаженные Блюмкиным связи в Палестине до сих пор успешно используются российской разведкой. Может такое быть или это очередной миф о Блюмкине?

- И это выдумки. Блюмкин привез с собой в Иерусалим пятерку натренированных агентов-евреев из Москвы. В оперативную задачу нелегальной группы Блюмкина не входила разведывательная работа в Палестине – Иностранный отдел ЧК (ИНО) предписывал своему агенту перебазироваться в подходящий момент в Индию, «зацепиться» в Бомбее и основать там резидентуру, целью которой являлись бы действия, направленные против британцев. Впрочем, не следует упускать из виду, что поле для вербовки агентуры в Палестине было довольно широким – прокоммунистические, просоветские настроения царили среди активистов левых политических партий. Агенты влияния там действовали, это не вызывает сомнений. Но все то поколение давным-давно ушло, исчезло без следа.

БИОГРАФИЯ «ДЖЕКА» - НЕВЕРОЯТНАЯ ЭСКАПАДА

Γένηθες ἐεί, ἰεῖνὸ αἰῖ αὐδὶ ἀεῖν, ὀαῖαῖουέε



- Заглядываешь в Интернет, ловя майсы о блюмкинских экспедициях, и дивишься, с какой частотой склоняют ваше имя: «работы Шишкина не соответствуют действительности и являются клеветой»... Я же слышал от друзей-филологов противоположное мнение: вы единственный, кто располагает «гималайской» информацией. Нельзя было трогать шамбалийца-Рериха?

- Честно говоря, мы с рериховцами – две разные вселенные. Они люди, сугубо верящие в святость своего апостола, в махатм, которые сидят в какой-то очень глубокой гималайской пещере, во многие другие вещи, перекочевавшие из теософии в рерихианство. Я же исследователь, поисковик. Их темы меня мало интересуют. Другое дело ранняя история СССР, спецслужбы и их контакты с тайными обществами, революция с мистическим оттенком. Эти вопросы чрезвычайно интригующие, и для себя я на них ответил. В полемику с рериховцами более не вступаю, так же как и врач не спорит с больным, а предлагает ему чудодейственные пилюли. На связь темы «Рерих» и темы «Блюмкин» я указал в своей книге «Битва за Гималаи». Их пути пересекались не раз и не только конспиративно. Блюмкин был провожатым Рериха не только на Гималайских кручах и в пустынях Монголии, но и в квартиру своего московского соседа Анатолия Васильевича Луначарского.

- Есть версия, что Блюмкин был арестован по доносу любовницы. Имеется и другая: вернувшись в СССР, Блюмкин встречается с Радеком, зная, на кого тот работает, и по неведомой причине показывает ему письмо Троцкого. Стоило Блюмкину покинуть Радека, как тот помчался в Кремль. Какая версия ближе к истине?

- Биография Блюмкина – невероятная эскапада, возможная только в переломные моменты истории, когда наступает новая историческая реальность. Блюмкин - эсер и убийца немецкого посла Мирбаха, Блюмкин – секретарь создателя Красной Армии Троцкого, Блюмкин – секретный агент советского ОГПУ. Очень часто менялся вектор его жизни. В поезде наркома по военным и морским делам и в зале Большого театра он прислушивался к зажигательным речам Троцкого и находился под обаянием его личности. Естественно, когда Троцкий был выслан из СССР и оказался в Турции на Принцевых островах, для Блюмкина стала заманчивой возможность попасть туда и поговорить со Львом Давыдовичем. Скажем прямо: сам Блюмкин испытывал проблемы со своей политической идентификацией. И когда он в силу одного из конспиративных заданий оказался в Стамбуле, то решил проведать своего бывшего шефа. Надо сказать, прошлым летом я был в Турции на этом самом острове Бююкада. Это весьма дорогой

курорт, и вилла Троцкого соседствовала с виллами состоятельных турок, в том числе масонов. Троцкий, видимо, не случайно выбирал это место: подъезд к острову легко просматривался, и ни один человек не мог бы избежать контроля турецкой полиции. Однако Блюмкин был особым случаем. Он пришел к Троцкому не только за советом, он получил от него письмо в Москву. И когда возвращение состоялось, то Яков показал это письмо сотруднице ОГПУ Лизе Горской, показал и Радеку, и, видимо, еще куче знакомых. И надо сказать, тогда, в 1929 году, все, с кем он общался на этот счет, поспешили донести: кто начальству, как Лиза, кто в органы, а Радек – лично Сталину, рассчитывая на прощение. Это привело к тому, что к месту его жительства в Денежном переулке выехала группа захвата и была устроена целая погоня, завершившаяся в Петровском парке поимкой Блюмкина и его расстрелом.

- Блюмкин окончил одесскую талмуд тору, что, по-видимому, сказалось не только на способности к языкам. Древние знания, полученные в талмуд торе, наверняка могли пригодиться не только на Святой земле?

- Если мы посмотрим на страницы советских газет и журналов тех лет («Огонек», «Прожектор» и другие), то увидим, что Ближний Восток занимает в них весьма важное место. В «Огоньке» даже были специальные репортажи из Палестины. Правда, как туда попал советский корреспондент в 1923 году и кто он был, в журнале не говорилось. Палестина в лапах англичан, а они враги Советской республики. Вполне возможно, что этот фотограф был либо сам Блюмкин, либо кто-то из членов его агентурной группы. Помогли ли знания, полученные им в талмуд торе? Возможно. Но возможно и другое. Блюмкин учился на Восточном отделении Военной академии Штаба РККА. Там давали прекрасное образование. Там он выучил английский и, возможно, еще какие-то языки. Английский любил, и даже очень. Читал в оригинале романы Джека Лондона и стремился подражать его героям. В узком кругу получил кличку «Джек», он ведь Яков. Но «Джек» ему нравилось больше. К тому же в своем рвении стать суперагентом Москвы он стремился бросить вызов самому Лоуренсу Аравийскому. С этим связано и его участие в рериховской экспедиции.

- Существует предположение, что о результатах гималайской экспедиции гитлеровцам стало известно от кого-то из окружения Троцкого, который, в свою очередь, узнал о них от Блюмкина. Без Яши не было бы и «Аненербе», и тибетских монахов, переодетых в форму СС на развалинах рейхсканцелярии?

- Это только предположение. Не исключаю, что об этом мог говорить Блюмкин тогда, на Принцевых островах. Он, в сущности, был хвастун. Но вот то, что эта информация стала известна фашистам, а они каким-то образом использовали ее для своего института «Аненербе»... Натяжка. Этот институт был мизантропским учреждением, основанным на гадких идеях, которые озвучивать-то совестно. Имеются, конечно, некоторые указания на мистические темы его исследований. Но если внимательно на них посмотреть, то легко увидеть, что они вырастают из книг Блаватской и французского мистика Сент-Ив Д'Альвейдера. Прежде всего, это относится к так называемым экспедициям СС. Что же касается «тибетских монахов, переодетых в форму СС на развалинах рейхсканцелярии», то эта история берет свое начало в книге Повеля и Бержье «Утро магов». В действительности речь идет не о тибетцах, а о советских калмыках, перешедших на сторону немцев и погибших в разных частях Германии и даже защищавших Атлантический вал во время высадки англо-американского десанта. В конце войны их корпус был переподчинен СС, отсюда и знаки на мундирах. С другой стороны, на их форме имелась буддийская символика. Кроме того, не желая быть выданными

НКВД или СМЕРШу, они писали в своих документах, будто бы родились в Тибете, в Лхасе, рассчитывая, что будут признаны гражданами страны, которая в те годы была под протекторатом Англии. Некоторым этот трюк удался.

Нищий еврейский мальчик, шпион, искатель Шамбалы, террорист, поэт, казнокрад, супергерой Яков Блюмкин должен был бы стать персонажем бесчисленных романов, пьес и кинофильмов. В новой истории революции он непременно займет соразмерное масштабам личности место, несмотря на всю противоречивость своей натуры. Потому что сама революция и есть неразрешимое противоречие.

Вы читали? *Матвей Ганапольский. Из нашей общей памяти // 2010. № 4*

Реакция. В большинстве «пунктов» и оценок мы с автором полностью солидарны. Но речь не о том. Матвей Ганапольский написал о драматической судьбе его матери, чудом избежавшей гибели в Бабьем Яре (видимо, волнуясь, он – что вполне объяснимо – говорит о ней как о двенадцатилетней девочке; между тем, если ей сейчас 83 года, в 1941 году ей было четырнадцать лет). Мы, потерявшие близких родственников и на войне, и в аду Холокоста, не могли не задуматься: как ей удалось выжить потом в оккупированном гитлеровцами Киеве? Где-то в другом месте, но все равно ведь в условиях оккупации? Кто ее прятал, кормил? Это явно делали не евреи, а люди, имеющие право на титул «Праведников народов мира», которым израильский Институт Памяти «Яд ва-Шем» отмечает тех, кто, рискуя собой, спасал евреев от нацистов. Если это возможно, мы просим Матвея Ганапольского подробнее рассказать об этом периоде жизни его матери. Это может быть важной, поучительной публикацией для очень многих.

נ. עִרְצָה י. נֶעֻמָּה אֲדָמָה

Вы читали? *Даниил Романовский. Коллаборанты: украинский национализм и геноцид евреев в Западной Украине // 2008. № 3*

Реакция. Опасное обобщение – обзывать украинское население Западной Украины коллаборантами. Были люди, которые спасали евреев, и были негодяи, их убивавшие. Мой дед спас еврея Розенталя. Вообще, в Перегинском очень много евреев спасли. Рядом были горы. Не думаю, что антиукраинские публикации послужат доброму делу. Негодяи есть в любой нации, и еврейская – не исключение. Заведомо формировать из украинцев врагов не стоит.

Timok1970, Интернет

Вы читали? *Натан Щаранский. О важности корней: identity и ее решающая роль в защите демократии // 2010. № 1*

Реакция. Вы упускаете очень важную часть истории еврейства и Израиля – историю влияния десяти колен Израиля на культуру Евразии. Поэтому мне показалось очень значимым Ваше название – «О важности корней». Я имею в виду корни святого языка. Уверен, мой «Русско-ивритский этимологический словарь соответствий» может послужить тем самым мостом между культурами – нынешней сабрской культурой Израиля и культурой русскоязычных евреев, то есть самой настоящей РУССКОЙ КУЛЬТУРОЙ, которую мы должны не только укреплять, но и обогащать ею культуру Государства Израиль.

אֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ, עֵי אֲדָמָה

Вы читали? *Жанна Васильева. Свободный художник на большой дороге истории // 2010. № 6*

Реакция. «Когда Амшей Нюренберг приезжает в Париж в 1911 году, во Франции его встречают выпускники Одесского училища скульптор Оскар Мещанинов и художник Исаак Федер». Имя Федера – Айзек, или Адольф, а Исаак – это имя художника Малика. Так что встречали его не двое, а трое друзей. В мастерской Мещанинова

Нюрнберг также жил вместе с Исааком Маликом. С ним же он делил мастерскую на улице Сен-Жак.

Γεύω Αααί εΐαι, Εΐ οάδι άο

Вы читали? *Борис Клин. Вера и деньги // 2010. № 4*

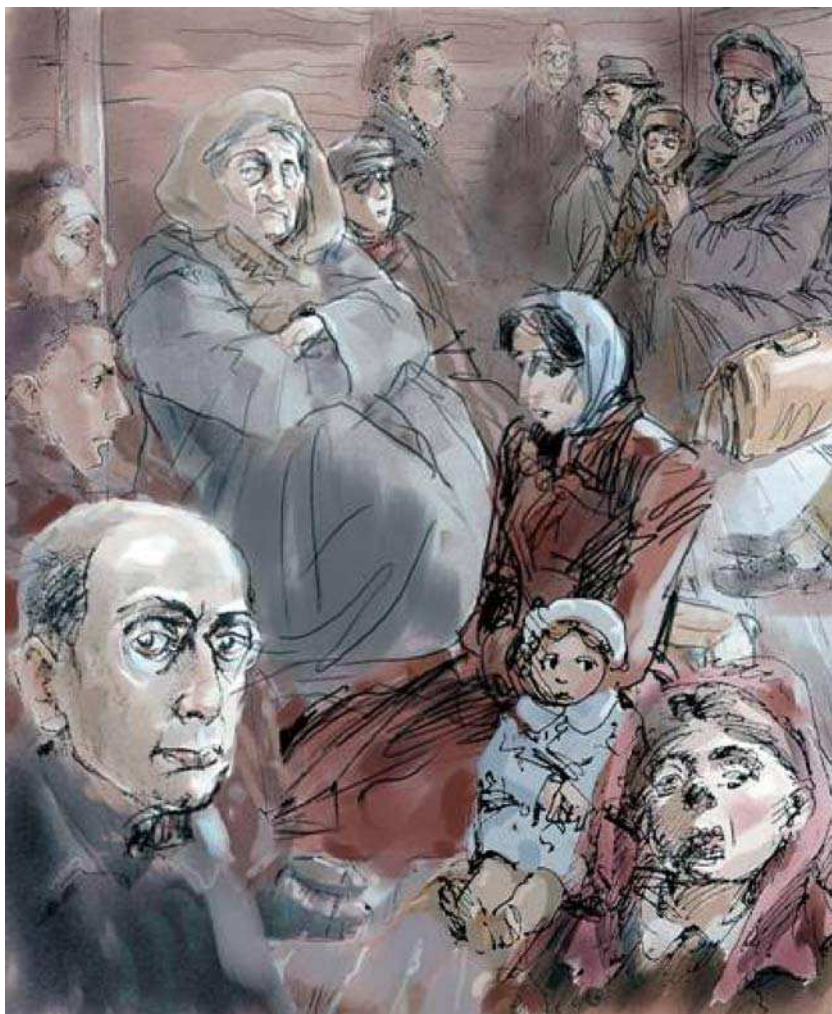
Реакция. «Введение налога на веру позволит снять вопросы относительно равного доступа религиозных организаций к государственной помощи». В высшей степени провокационная сентенция. Автора выдают слова «относительно равного» и «государственной помощи». Государственная помощь в таких случаях – помощь мамоны. Дело не в «десятине» и не в доступе к государственной кормушке. Десятина от верующих подтверждает живучесть перечисленных Вами конфессий, говорит об их долгой прошлой жизни и новом возрождении. Государство мечтает о всеобщей ассимиляции, стремится к полному слиянию своих сограждан. Государство понять можно: так ему легче, но Вам-то это к чему?

Den, Εΐ οάδι άο

БАБУШКИН КЛЕН ЗА ОКНОМ

Àðàððé Èàííàè:

Окончание. Начало в № 6, 2010



Вайнерман-сеньор звонил своим близким в Англию, престарелому дяде Ицхаку в Палестину, своим знакомым коллегам во Францию. Обливаясь потом, он держал с ними совет на английском, на французском и на древнееврейском и пристрастно спрашивал их, что делать – оставаться ли в Каунасе или, продав свою недвижимость и собрав свои небедные пожитки, купить билеты на поезд и всей семьей покинуть родные пределы. Пока он советовался и суетился, к власти в Литве пришли те, которые незаконные возвели в ранг непреложного закона и чаще привыкли все запрещать, чем что-то разрешать. Все пути к отступлению были перекрыты.

Через год с лишним всех Вайнерманов как заядлых сионистов под конвоем отправили на запасный путь Каунасского вокзала, где уже стояли наготове товарные составы с наглухо закрытыми вагонами, в которых обычно перевозят скот.

Дворник Антанас с лежебокой и шkodником Хацкелем на руках стоял неподалеку от грузовика, на котором их увозили с аллеи Свободы на железнодорожную станцию, а из кузова старуха Рива, вытянув сморщенную шею и дрожа от озноба неотвратимого прощания с домом, давала на идише дворнику указания, как его, этого ленивца Хацкеля, кормить.

– Ты ему, Антанас, – выкрикивала она из кузова, – только сала не давай, он всю жизнь ел у нас только кошерную еду. Ты меня слышишь?

– А мыши кошерные?

– Он у нас мышей не ловит. У него сердце доброе.

– Попрошу не разговаривать, – незло одернул их молоденький солдатик с винтовкой на плече.

Но бабушка Рива не унималась. Она была слишком стара, чтобы бояться.

– Ты меня слышишь?

Антанас издали мужественно закивал головой. Понял, мол, только кошерное.

Когда грузовик тронулся, бабушка Рива еще успела на идише попрощаться с птичками и воронами на старом клене:

– Зайт гезунт! («Будьте здоровы!») Фаргест унз нит! («Не забудьте нас!»)

И пернатые в ответ из благодарности залились звонкими руладами.

– Зай гезунт! («Будь здоров!») – сказала она тонувшему в дымке городу.

До места ссылки в Читинскую область Вайнерманы добирались десять суток, и в городок Нерчинск бабушку Риву привезли на нарах мертвую.

Еврейского кладбища в этом захолустном сибирском городке не было.

– Ничего не поделаешь, – сказал адвокат Бенцион Вайнерман, защитивший в Оксфорде докторскую диссертацию по римскому праву. – Там, где нет живых евреев, там, естественно, не может быть и мертвых евреев. Сюда русский царь только каторжников в кандалах ссылал.

Похоронили бабушку Риву рядом с неким Петром Савельевым, красным командиром, героически боровшимся с белыми отрядами адмирала Колчака. Сын Бенцион, как требует обычай, произнес над могилой матери кадиш и поклялся, что, если они с Мирой и Соломончиком, даст Б-г, вернуться живыми и здоровыми в Каунас, то он постарается перевезти туда из Нерчинска прах мамы и похоронит ее, как она и мечтала, среди евреев, рядом с мужем Соломоном.

Здоровяк старообрядец во фланелевой рубашке, широких штанах и потертых сапогах внимательно прислушивался к непонятной молитве, степенно поглаживал бороду и всем беспрестанно подмигивал одним глазом. Он крепко, как древко знамени, держал в шершавой руке оструганный березовый колышек, к которому была прикреплена дощечка.

На ней по-русски было написано: «Рива Вайнерман» и, как положено, выведены годы рождения и смерти покойницы. После молитвы бородач воткнул колышек в рыхлый глиняный холмик, перекрестился и промолвил:

– Да будет вашей женщине пухом русская земля, – он снова погладил бороду и, подмигнув всем, добавил: – Я за ней присмотрю. А после, если он, негодяй, не запыет, то на камне имя и фамилию высечет. Чего-чего, а камнями мы тут зело богаты. – И вдруг, вспомнив о чем-то важном, прогудел: – Меня Федором кличут. Калмыков я. А если по-здешнему – просто Калмык.

Представились и ссыльные.

Пашка-негодяй на камне фамилию и имя покойницы не высек не потому, что запил, а потому, что началась война, каменотеса-выпивоху призвали в действующую армию и отправили на фронт протрезвляться под немецкими бомбами.

Колышек высыхал на солнце, надпись блекла, ее смывали хлесткие сибирские ливни, и Соломончику приходилось время от времени ее перерисовывать.

– Завидую твоей маме, – сказала немногословная Мира Бенциону. – Для нее ссылка уже кончилась, а для нас она только начинается. Ни жилища, ни языка, ни работы.

– Разве польский, Мирочка, не похож на русский? С твоей помощью мы с людьми как-нибудь договоримся, – успокоил ее муж. – Соломончик пойдет в школу и быстро научится. Нужда – самый успешный репетитор.

Но в школу Соломончика не приняли.

Как ни расхваливала Мира на ломаном русско-польском языке способности сына-гимназиста, директриса средней школы, высокая, красивая женщина со сложенной аккуратным венчиком русой косой, в строгом, без всяких украшений, платье, равнодушно прислушивалась к похвалам ссыльной просительницы.

– Верю вам, гражданка... – осеклась она, то ли не запомнив, то ли не желая вслух произносить непривычную в этих морозных краях еврейскую фамилию.

– Вайнерман, – подсказала Мира.

– Верю вам, гражданка Вайнерман, верю, – с напускным сочувствием пропела венценосная директриса. – Но я не могу послушаться своего начальства. Есть прямое и обязательное к исполнению указание из Москвы: таких детей в учащиеся не зачислять.

– Каких детей? – не отступала Мира.

– Ну, тех, чьи родители против советской власти. Пусть ваш сын годок-полтора где-нибудь поработает, и, когда он своим самоотверженным трудом искупит ваши грехи, мы к вашей просьбе вернемся. Может, к тому времени сверху поступят новые указания.

– Через годок-полтора мой сын пойдет не в школу, а в солдаты, – не убоилась возразить Мира.

– Таких, гражданка Вайнерман, и в нашу Красную Армию не берут, – на прощанье сообщила директриса.

Искупление грехов самоотверженным трудом затянулось более чем на десятилетие. Знарок римского права Бенцион Вайнерман устроился бухгалтером в райпотребсоюзе, жена Мира, коротавшая в Каунасе дни за домашним шитьем и рукоделием или чтением французских романов, устроилась портнихой на комбинат бытового обслуживания, а подающего надежды англичанина Соломончика, шестнадцатилетнего рослого крепыша, взяли грузчиком на хлебозавод.

Бенцион Вайнерман за тщательную работу над бухгалтерскими отчетами даже удостоился от руководства к празднику Октябрьской революции почетной грамоты. Но от голода, холода и отверженности все эти вымученные казенные благодарности не защищали.

Настоящая жизнь Вайнерманов, поруганная и искалеченная за неведомые им грехи, протекала не в райпотребсоюзе, не на комбинате бытового обслуживания, не на хлебозаводе, а во сне.

Каждый день, сойдясь вместе, они делились своими вчерашними снами, как ломтями ржаного нерчинского хлеба.

Вайнерману-старшему, конечно, снились громкие процессы, судьи в мантиях и обвиняемые с наручниками. Он будто бы стоит перед строгими судьями в тоге и в присутствии публики в пух и прах разбивает все аргументы обвинения, а затем вслед за освобожденными из-под стражи своими подзащитными горделиво выходит из зала. За ним бросаются газетчики, осыпая его вопросами, как цветами.

А Мира Вайнерман в своих сновидениях видела себя модницей, посетительницей самых престижных кафе и лучших каунасских магазинов готового платья – кружится перед зеркалом, сияющим небесным светом, в новом роскошном наряде, привезенном из Парижа, любит себя своим отражением и радуется, что на лице у нее не прибавилось ни одной морщинки.

Соломончику же снилась строгая миссис Фелиция Томпсон-Гилене с ее образцовым английским произношением, которое свойственно всем королям и королевам Великобритании. Он повторяет за ней и слышит:

– Вери гуд, мистер Сол, вери гуд!

Снилась Соломончику и бабушка Рива, отчитывающая на идише проказника кота Хацкеля за его леность и напевающая из распахнутого настежь окна воронам и скворцам на старом клене грустную песенку про несчастного пастушонка, который не уследил за своей единственной любимой овечкой.

Г-споди, думал Соломончик, торопясь поутру на расположенный вдалеке от дома хлебокомбинат, какое счастье, что сны нельзя арестовать, запереть на железный засов в товарный вагон, насильно выселить из головы. Разве что снявши ее с плеч. Ведь сны – это единственная страна на свете, где человек свободен и может беспрепятственно вернуться из любой тюрьмы и ссылки.

Вернутся ли они когда-нибудь наяву в Каунас, на аллею Свободы? Услышит ли еще он, мистер Сол Вайнерман, как на старом клене за окном их разоренного и присвоенного чужаками дома закаркает на идише бабушкина ворона?

За стремительной весной следовало короткое сибирское лето, за летом – полуголодная и усталая осень, а за осенью – владычица-зима с ее обжигающими морозами и метелями, и снова озорная, как частушка, весна. Но само время, косное, застарелое, непотревоженное ни одним событием, достойным внимания, нисколько не менялось, как бы не двигалось, покорно и безмолвно стояло в своем душном стойле. Только в роковой промежуток, в кровавую войну с немцами, оно встрепенулось и отозвалось горячими слезами на похоронки и через четыре года кликами радости в честь Великой Победы.

А в незабываемом пятьдесят третьем смерзшееся в лед старое время раскололось и разлетелось на осколки не только по Сибири, но по всей стране в ту самую минуту, когда из репродукторов-висельников на столбах легко узнаваемый, как Кремль на открытках, голос Левитана объявил: умер Сталин.

– Слышали? Усатый подход! – придя со стопкой бухгалтерских бумаг под мышкой домой, сообщил жене и сыну помолодевший от этой долгожданной новости Бенцион Вайнерман.

– Мы все же должны и нашим гонителям сказать спасибо, – неожиданно защитила их Мира.

– Спасибо? Ты что, с ума сошла? За что это мы должны их благодарить? За то, что они выдернули нас, как морковь из грядки, за то, что тут едва не сдохли от голода, холода и болезней, за то, что нас без всякого суда и следствия забросили на десять с лишним лет в эту трижды проклятую дыру?

– Если бы они нас, Бенечка, в эту дыру не забросили, что, по-твоему, с нами стало бы, останься мы в Литве? Тебя что, избрали бы председателем коллегии адвокатов? Соломончик поступил бы в университет на медицину? Все мы, мой дорогой, лежали бы в одной яме. Мою родню в Польше всю выкосили. А сейчас, когда мы, слава Б-гу, живы, еще, может, случится чудо и мы вернемся к себе домой.

Вайнерманы суеверно и терпеливо ждали этого чуда, боясь отпугнуть его своим нетерпением, отдалить возвращение на родину. Но в один прекрасный день оно все-таки явилось к ним в образе поджарого заспанного нерчинского почтальона с тяжелой сумкой на боку. Он постучался в дверь и с какой-то неуклюжей торжественностью вручил им под расписку заказное письмо с сургучной печатью.

Мира вскрыла конверт, пробежала глазами содержание письма и, задохнувшись от радости, закричала:

– Г-споди, мы свободны! Наше прошение, слава Б-гу, удовлетворили! Мы можем вернуться в Литву!

Затем письмо прочел и глава семейства, приученный со студенческой скамьи в Оксфорде к скрупулезному чтению каждой казенной бумаги и каждого постановления. Нежно обняв жену, он тихо, как будто их разговор могли выдать мыши в подполье и дровоточцы в щелях деревянных полупрогнивших стен, сказал:

- Миреле! Это, конечно, хорошо. Но жить в этой стране невозможно.
- Почему? – удивилась та.



– Нельзя быть свободными на цепи. Жить можно только там, где человек имеет право жить без всяких оговорок и ограничений. Если, понятное дело, он не убийца, не грабитель и если никто по злой воле не посмеет его выселить из дому и отправить на вечное поселение в Сибирь только за то, что он пообедал в «Метрополе» с Жаботинским или пожертвовал деньги на кибуцы в Палестине. – Бенцион Вайнерман потер свой высокий адвокатский лоб и добавил: – Да, ты абсолютно права, мы можем вернуться в Литву, но без права жительства во всех крупных городах, в том числе и в Каунасе.

– Жаль, – сказал Соломончик по-английски. Он не пропускал случая, чтобы закрепить те знания, которые приобрел в Каунасе за годы обучения у миссис Фелиции Томпсон-Гилене. Да и отец был рад после работы в райпотребсоюзе тихонько перемолвиться с ним на языке будущего. – Ведь я так хотел бы выполнить одну бабушкину просьбу.

Однако родители не удосужились спросить у своего чада, что это за просьба, их мысли были заняты другим: как отсюда поскорей выбраться в Литву.

Бенцион и Мира долго рядили, судили и в конце концов сошлись на том, что Йонава или Кедайняй, от которых до Каунаса рукой подать, во сто крат лучше, чем позванивающий, как встарь, каторжными цепями Нерчинск.

Выбор пал на Йонаву.

Поселившись в Йонаве, отец и сын не раз порывались, переодевшись на крестьянский манер, махнуть в родной Каунас – пройтись по аллее Свободы, постоять под старым бабушкиным кленом, шумящим под окном, выходящим в парк. В память о доброй и сварливой Риве поздороваться на идише с птичками и воронами на ветках, разведать, кто сейчас в отнятом у них доме живет (наверно, какой-нибудь важный партийный чин или советский полковник с семьей), и, когда стемнеет, сходить на еврейское кладбище, на могилу деда Соломона.

– Вам что, снова на нары захотелось?! – воспротивилась Мира и шепотом добавила: – Пока я жива и пока у власти те, кто загоняет невинных людей в телячьи вагоны, ни один из вас и шага из дому не сделает.

И не пустила.

В Йонаве они прожили недолго.

Настойчивая Мира Вайнерман, в девичестве Бродская, все время охотилась за возможностью бежать из Союза. И Г-сподь Б-г снизошел к ней. Власти неожиданно объявили о праве на возвращение в страну своего рождения – Польшу – всех ее довоенных граждан. И Мира такого шанса не упустила – вывезла всю семью в родной Ченстохов. Но и в Польше она ни за что не желала оставаться. Евреям, мол, лучше держаться от поляков подальше. Близость к ним никогда чужакам счастья не приносила.

– Миреле, уж если еще раз уезжать куда-то, то, может, к своим, в Израиль? – сказал Бенцион Вайнерман, когда жена напомнила ему о его давнишней мечте осесть за океаном. – Там теперь и власть, и суды, и банки, и братья-евреи – все наше.

– В Израиль хорошо ездить в гости. Братьев-евреев и в Америке на наш век хватит с лихвой. Ты же раньше и сам туда так стремился.

Евреев в Америке и впрямь хватало с лихвой, тут исстари никогда лишних не было. Но вот жизнь в Штатах четы Вайнерманов оказалась короче, чем надеялась Мира.

Все сначала шло как нельзя лучше: Бенцион Вайнерман устроился помощником в знаменитую адвокатскую контору «Леви и Копельман». Бывшая каунасская модница Мира подрядилась по объявлению два дня в неделю присматривать за парализованной миллионершей Сарой Эдельштейн, которая в шутку о своем заоблачном возрасте говорила, что в Париже, где она родилась, еще живого Наполеона видела.

Монечка сперва развозил на подержанном мотоцикле пиццу, потом работал посыльным в банке, агентом по продаже и купле недвижимости, а спустя несколько тяжелых лет, после преждевременной смерти отца от разрыва сердца, а следом за ним и матери от рака (горем и поминальными молитвами в Нью-Йорке аукнулся каторжный Нерчинск), Вайнерман-юниор, преодолевая ступеньку за ступенькой, стал совладельцем маклерской компании. Он укоротил свою фамилию, придав ей более удобную для клиентуры форму, и в тисненную золотом визитную карточку вписал: «Real Estate Company. Sol Wainer».

Помогла Солу Уайнеру не сломаться и женитьба на богатой американке, внучке банкира с Wall Street Элизабет Митчелл, и вскоре язык будущего – английский вытеснил из его памяти все другие говоры, которые с детства и с юности ютились в ней переходными калитами и приживалами. Иногда на торжествах – на бар мицвах и свадьбах, куда шефа обычно приглашали подчиненные ему служащие-евреи, – он вдруг и сам вспоминал о своем еврействе и, выпив виски, некстати, перевирая слова, затягивал первый куплет душещипательной бабушкиной песенки про несчастного пастушонка, потерявшего свою единственную овечку. Его сослуживцы с почтительным удивлением косились на запевалу, стараясь в угоду ему подхватить невнятную мелодию и что-то в такт несмело прочирывать на ломаном-переломаном, ставшем для многих из них уже доисторическим идише.

Когда Сол Уайнер состарился и отошел от дел, он наконец решил выполнить наказ своей бабушки Ривы, которая просила его время от времени приходить на ее и дедову могилы. Грешно обижать забвением тех, кто тебя любил, поучала она.

– Тебя миссис-шмиссис Фелиция говорить кадиш все равно не научит, да и сам ты тоже вряд ли когда-нибудь в молитвенник заглянешь, – ворчала, бывало, она. – Наденешь, Монечка, кипу, придешь на кладбище и вместо поминальной молитвы скажешь на плохом идише: «Гут моргн, бобеню, гут моргн, зейденю» («Доброе утро, бабушка, доброе утро, дедушка»). И мы тебе оттуда оба ответим: «Гут моргн, унзер тайерер эйникл Моня» («Здравствуй, наш дорогой внучок Моня»).

В поездке на родные могилы Сола Уайнера сопровождал его наследник и добровольный охранник – тридцатидвухлетний сын Авраам, названный не в честь праотца всех евреев, а в честь первого американского президента Линкольна, создавшего для Мони Вайнермана удачливую Америку.

Свое путешествие они начали с России.

Из аэропорта Читы таксист доставил их в Нерчинск, а уже там без остановки – на кладбище.

Бабушка Рива по-прежнему лежала рядом с красным командиром Петром Савельевым, героически боровшимся за власть Советов против отрядов адмирала Колчака. К удивлению Мони, суровые сибирские ливни и лютые морозы не одолели воткнутый в глину колышек, который этот сердобольный старовер, смотритель кладбища, пока был жив, наверно, не раз менял на новый и даже надпись с фамилией и именем покойницы на дощечке перерисовывал. Обещал же он за ней присмотреть.

– Гут моргн, бобеню, – сказал Моня и поклонился колышку.

– Good morning great-grand-mother, – прошептал правнук на раздражавшем ее языке.

Они положили на могилу по камешку, постояли над ней в угрюмом и скорбном молчании, как будто ждали от нее ответа. Потом еще раз поклонились березовому колышку; сели в такси; проехали мимо школы, куда Соломончика не приняли за неведомые грехи без малого семьдесят лет тому назад; промчались мимо хлебозавода, откуда он, рискуя надолго угодить в тюрьму, иногда приносил за пазухой ломти теплого краденого хлеба, и остановились у похоронной конторы.

Авраам Уайнер долго переминался с ноги на ногу, пока отец на местном языке, повторяя одни и те же слова и пользуясь непонятными восклицаниями и жестиком, пытался объяснить молодому элегантному начальнику конторы, чего от него хотят.

– Понял, понял. Вы хотите, чтобы памятник был из самого лучшего камня... Можно из черного гранита, можно из мрамора, из сибирского полевого камня... – он перечислил еще какие-то материалы.

– Можно, можно, – охотно повторял гость, как бы снова привыкая к русской речи.

– Фамилию я записал – Рива Вайнерман. Не беспокойтесь. Все будет сделано в срок и по первому разряду. Эскиз пришлю по Интернету.

– Я сразу даю тебе...

– Задаток, – избавил американца от заикания начальник конторы.

– Задаток, задаток! – обрадовался Уайнер. – Мертвых очень нехорошо... забыл, как сказать по-вашему... – И американец, наморщив лоб, попытался выловить из памяти глагол, необходимый при таких не очень надежных, случайных сделках.

– Обманывать.

– О да! Обманывать, обманывать. – Сол Уайнер улыбнулся, достал из портмоне визитку, пачечку долларов и небрежным жестом картежника, сорвавшего большой куш в покере, протянул ее ошеломленному россиянину.

В Москву они прилетели вечером, переночевали в гостинице «Россия», из окон которой открывался вид на величавый, ломающий чужие судьбы Кремль, а на рассвете первым самолетом улетели в Литву, чтобы провести уик-энд в Каунасе, где Моня Вайнерман не был более полувека.



В Каунасе гости задержались дольше, чем в Нерчинске. Все-таки родина.

Свой обход города Уайнеры начали не с аллеи Свободы, не с ресторана «Метрополь», где преуспевающий адвокат Бенцион Вайнерман когда-то отобедал с самим Жаботинским, рассуждая о нелегкой судьбе и о будущем еврейского народа; не со знаменитого кафе Конрада, в которое частенько хаживала модница Мира Бродская, чтобы выпить чашечку бразильского кофе и посплетничать с подругами о любовных похождениях какого-нибудь популярного певца или отставного генерала, а отправились на еврейское кладбище.

Но то, что предстало перед их глазами, скорее напоминало беспорядочную свалку камней и мусора, разбомбленных ненавистью и равнодушием.

Ни живой души. Только тощая, беспризорная собака с грязной, свалявшейся шерстью бегала по кладбищу, мочилась на поваленные надгробные плиты, обнюхивала их

в поисках пищи и, устав от собственной бессмысленной беготни, закидывала голову к небу и громко и обиженно лаяла на Г-спода Б-га.

Как внук и правнук ни искали могилу деда и прадеда, бывшего царского солдата с саблей на боку, они ее так и не нашли.

Покинув в смятении и в ужасе изуродованное место вечного упокоения, гости еще долго бродили по городу, пока не подошли к дому с посеребренным колокольчиком на дверях, но без старой медной таблички с фамилией отца и деда.

Окна в доме были зашторены, никто из него не выходил, никто не входил.

– Тут, Авраам, мы счастливо жили до начала сороковых годов. Может, позвонить? А вдруг кто-нибудь отзовется? Или кот замыкает...

– Позвони, – сказал Авраам, который особого интереса к дому своих предков не проявил. – Дом как дом. Такой в Америке стоит не больше десяти тысячи долларов. Мелочь.

Отец позвонил.

Никакого отзвука.

Тогда оба, обогнув притаившийся особняк, вышли в парк.

– Это клен твоей прабабушки, – сказал Сол Уайнер. – А это ее вороны и птички.

Авраам недоверчиво глянул на отца, потом на дерево. Птички как птички. Вороны как вороны. Таких пернатых под Нью-Йорком полным-полно.

– Твоя прабабушка каждое утро открывала окно, – продолжал рассказывать отец, – ты, Авраам, слушай, слушай, – и от одиночества учила их чирикать и каркать на идише.

– Прости, но это типичные еврейские глупости. Все прабабушкины птицы давным-давно умерли. Даже вороны-долгожительницы. Словам можно научить только попугаев.

– Твоя бабушка Рива говорила, что любовь может всему научить.

Он замолк и стал прислушиваться к чириканью и карканью в листве. И вдруг ему почудилось, что раздвинулась тяжелая шелковая занавесь, медленно раскрылись створки, и в проеме мелькнул купленный за границей парик, а в шелесте листьев и в перекличке птиц он услышал еще один голос, голос домашней птицы – бабушки Ривы.

– Моньке! Ву бист ду фарфалн геворн? («Куда ты запропастился?») Гей, ингеле, эсен! («Иди, мой мальчик, кушать!»)

И через минуту снова тот же голос:

– Вифл мол кен их дир бетн? («Сколько я могу тебя звать?»)

Сол Уайнер, владелец компании по купле и продаже недвижимости, богач и меценат, молитвенно застыл у клена и через минуту, как бы набрав в легкие целебный воздух своего далекого и счастливого детства, обратился к скучающему сыну:

– Авраам, ты ничего не слышишь?

– Ничего. Клен как клен. Шелест как шелест. Щебет как щебет. Как у нас на даче летом в Аппалачских горах. А птицы, говорящие на идише, ты уж, пап, меня прости, – не более чем галлюцинации...

СЕНДЕР ПРАГЕР

Ἐπίλυε-Ἐπίσώα Σεί ἄνδ



1.

Чуть только рассвело, варшавские нищие стали собираться вокруг выкрашенного в красный цвет ресторана «Прага», в котором проводили время скототорговцы и «деловые» со всей округи.

В запотевшей витрине ресторана, где всегда красовались жареный гусь, в брюхо которому была воткнута палочка с приклеенным к ней ярлыком «кошерно», и блюдо с огромными рыбьими головами, держащими морковь в открытом рту, на этот раз висело радостное для бедняков объявление. Кривыми печатными буквами черным по белому было начертано:

«Настоящим объявляется, что по случаю счастливого бракосочетания владельца ресторана Сендера Прагера с его невестой Эдже Баренбойм, которое будет иметь место в банкетном зале “Венеция”, сегодня с двух до четырех часов дня я жертвую бесплатный обед для всех бедных людей, живущих в округе, как мужчин, так и женщин. Каждый получит тарелку тушеной капусты, кусок пеклеванного хлеба и порцию фаршированных кишок. Просьба не приходить раньше и не толкаться, так как приготовленного хватит на всех. Жених Сендер Прагер».

Хотя объявление в витрине ясно говорило: не приходить раньше двух и не толкаться, бедняки со всей округи собрались вокруг ресторана уже с утра и толпились у дверей, стекла которых были закрашены до середины, чтобы нельзя было заглянуть внутрь.

День был холодный, снежный. Надгробия на соседнем кладбище замело. Бедняки знали, что в такой день никто не придет на могилы предков. Кроме ворон, на кладбище не было ни души. И бедняки облепили красный ресторан, как мухи – последний кусок сахара.

– Мазл тов, Сендер! – льстиво выкрикивала то одна, то другая нищенка в приоткрытую дверь, когда из ресторана выходил посетитель, окутанный клубами густого пара, полного запахов еды. – Дай тебе Б-же!

Бритон[1], большой бульдог, который сторожил ресторанный вход, поднимал свои висячие уши всякий раз, когда звенел колокольчик над входом, и сердитыми, налитыми кровью глазами смотрел на нищих, пытавшихся прорваться внутрь. Выросший в ресторане, он научился отличать посетителей от нищих и никогда не жаловал оборванцев, которые приходили к ресторану кланчить милостыню. Сегодня они толпились у двери гуще, чем обычно, заглядывали внутрь, просовывали головы, и пес ощеривал два длинных клыка, которые торчали из-за его задранной губы, и внутри его короткой толстой шеи раздавалось злобное хрипение. Бритона неудержимо тянуло оторвать клочок от бедняцкой полы или замызганного женского платья с бахромой лохмотьев. Но его хозяин, Сендер Прагер, жених, такой же крепко сбитый, короткошей и толстогубый, как Бритон, удерживал бульдога за его жирный, крутой загривок.

– Бритон, будь добрее к бедным людям, – предупреждал Сендер пса, прихватив его за загривок. – Сегодня вечером у меня свадьба, слышишь, Бритон?

Красные, налитые кровью глаза пса неохотно и покорно стекленели, он проглатывал лай, стоявший у него в горле, и пускал вонючие слюны из приоткрытой бульдожьей пасти.

На кухне ресторана, находившейся в подвале, куда вела каменная склизкая винтовая лестница, стоял такой густой пар, что запотевшие красные электрические лампочки, горевшие там и днем, были едва видны. Над большими кастрюлями возились все ресторанные поварахи: и еврейки, и гойки. Они закидывали в кастрюли целые бочонки кислой капусты и полные миски фаршированных кишок. Злясь на то, что нужно горбатиться ради нищих, они не промывали внутренности как следует и не отделяли подгнившую капусту от хорошей.

– И так сожрут, нищие-то, – сердились поварахи, – холера их заведи...

Девушки-еврейки утирали слезы подолами фартуков и лезли друг другу в печенки.

– Сендер небось и тебя обещал повести под хулу, – дразнила одна другую. – Стой теперь и стряпай для чужой свадьбы...

Поварахи-гойки, которые прослужили в еврейских домах так долго, что говорили на идише не хуже евреек, смеялись над своими товарками по кухне. Русая Манька, костлявая девка с полубезумными зелеными глазами, острая на язык и распущенная, прикрыла глаза ладонями, будто благословляя свечи, и на манер бадхена[2] пропела, обращаясь к плачущим еврейкам:

– Плачь, невестушка, плачь, кушай с хреном калач...[3]

Хоть гойки, так же как еврейки, крутили любовь со своим хозяином, с Сендером, они не уронили ни единой слезы, узнав, что хозяин женится. Поработав прислугой в разных домах, они усвоили, что любой хозяин – свинья, что каждый обещает осчастливить служанку, а потом – в гробу ее видал, даже не узнаёт. Мужчины все такие, как псы уличные, не стоит из-за них плакать. А на евреев и подавно нечего жаловаться. Заранее известно: с ними каши не сваришь. По-другому обстояло дело с еврейками, которые попадали на кухню к Сендеру. Хоть они и слышали от более опытных девушек, что он любит со всеми поварахами и обманывает их одну за другой, каждая в тайне верила, что с ней Сендер поступит иначе и поведет ее под хулу, как он обещал, когда был

с ней наедине. Покуда Сендер не женился ни на одной из них, каждая продолжала рассчитывать, надеяться и верить, что именно ее он заберет из кухни, переведет в буфет и посадит за кассу считать деньги. Теперь в витрине висело объявление о том, что сегодня вечером в банкетном зале «Венеция» Сендер поведет под хупу Эдже Баренбойм. Он даже обед устроил для бедняков – тушеную капусту с фаршированными кишками, и его поварихи должны готовить все это своими собственными руками! Они не могли удержать слез досады, стыда и зависти, которые катились у них из глаз в квашеную капусту.

– Г-споди, – молили они, подняв глаза к влажным балкам, с которых капли капали как в бане, – отплати Ты ему, как Ты умеешь, за наш позор...

Сам Сендер сегодня не показывался на кухне. Даже не заглянул ни разу в подвал.

Во-первых, он был уже празднично одет. Тугой, высокий, белоснежный воротничок охватывал его короткий крепкий загривок, на который постоянно были наклеены черные пластыри. Его полные румяные щеки были выскоблены до синевы. Черные волосы приглажены и напояжены до блеска. Он распространял запахи одеколона и душистого мыла. Сендеру не хотелось при всем параде тащиться на грязную, всю в клубах пара, кухню. Кроме того, в день свадьбы он, согласно закону, постился^[4]. Но, прежде всего, он избегал кухни из-за своих поварих, которые стояли над кастрюлями и готовили трапезу для бедняков в честь его женитьбы.

Он не хотел встретиться с ними лицом к лицу в тот день, когда ему предстояло идти под хупу. Не хотел он видеть и свою «контору», которая находилась в подвале по соседству с кухней.

Его «контора» называлась конторой только приличия ради. Вместо письменного стола с конторскими книгами, которому следовало быть в конторе, там стояла обитая красным плюшем софа, а над софой висела литография с ярко-розовой блондинкой в чем мать родила. Несколько разноцветных бутылок коньяка и бокалы были всегда наготове. Контора Сендера Прагера служила явно не для письма и расчетов. Он не был большим мастером по части ведения счетов, да и писать не очень-то умел, едва мог расписаться. Контору он держал для своих любовных связей, которых немало накрутил за свою долгую холостяцкую жизнь. Все поварихи, сколько их ни прошло через его ресторан, еврейки и гойки, молодые и средних лет, должны были пройти и через его «контору». Нередко он тайком приводил туда какую-нибудь веселую бабенку, какую-нибудь соседку, которая не смогла устоять перед блеском его черных глаз, будто только что поджаренных на масле, и видом крепкого загривка, всегда обклеенного черными пластырями.

Все, не только работавшие в ресторане, но и постоянные посетители, и даже соседи по улице, знали о «конторе» Сендера. Мужья торговки гусями, мясом и рыбой не отпускали своих жен одних рассчитывать с Сендером за товар, опасаясь, что он затащит их в «контору». Бабы во дворах, бранясь со своими соседками, орали им в лицо, что те-де были поварихами в ресторане Сендера. Скототорговцы, постоянные посетители «Праги», даже придумали домашнее название для этой «конторы». Они называли ее «кабинетом Сендера».

Понятно, что в день свадьбы Сендер старался держаться подальше от своей «конторы». Скототорговцы, которые сидели за мраморными столиками, покуривая, попивая и подсчитывая выручку на салфетках, подзывали Сендера.

– Сендер, иди сюда, тяпни с нами водочки. Не будь таким праведником. Одну рюмочку можно даже в пост.

Другие пробовали отпустить сальности, как это в обычае перед свадьбой.

– Сендер, – спрашивали они его, – твои шаферы тебя уже всему научили, а, Сендерл?..

Толстая еврейка, единственная женщина среди скототорговцев, охрипшая от крика и красная от водки, которой она обмывала каждую заключенную сделку, все хотела узнать, как Сендер собирается поступить со своей «конторой».

– Сендерчик, – кричала она, – ты уже откошервал свою «контору»? А, жених?

Сендер, который никогда не отказывался выпить с посетителями, на этот раз не подошел ни к одному из столиков. Он не хотел ни нарушить пост, ни нести похабщину, ни выслушивать намеки на свою грешную жизнь. В день свадьбы он хотел попоститься и раскаяться, раскаяться как следует.

– Мориц, – тихо сказал он своему официанту, рыжему прыщавому парню в грязном фартуке под засаленным пиджаком, – Мориц, спустись на кухню и посмотри, чтобы капусту для бедняков сделали пожирнее. Чтобы побольше мослов туда положили. Пусть бедняки получают удовольствие. И чтобы фаршированных кишок наварили побольше. Пусть не жалеют...

Мориц, прохвост, понимавший все с полуслова, на этот раз прикинулся дурачком. Он знал, что у хозяина нет желания показываться на кухне среди поварих, и как раз поэтому хотел затащить его туда.

– Пусть хозяин сам им скажет, – произнес он почтительно. – Меня они не слушаются, шельмы, гонят из кухни мокрыми тряпками. Они плачут... Пусть хозяин сходит их утешить.

Сендер решил было дать парню пинка под зад, чтобы тот спустился в кухню кубарем по лестнице, но сдержался. В такой день, когда ему следовало раскаиваться, он не хотел никого трогать.

– Мориц, – вежливо сказал он, – ступай вниз, прошу тебя, и посмотри, чтоб еда была пожирнее и чтоб ее было побольше.

В том, что бедняки получают много еды, много жирной капусты и вдоволь кишок, он видел свое искупление, искупление своей грешной жизни.

После этого он подошел к буфету, где в новом красном мешочке из красного плюша лежал его новый талес. Он развернул талес, проверил, все ли нити цидис на месте, и аккуратно, сосредоточенно сложил его в мешочек. Затем он провел короткими толстыми пальцами по плюшу, ощутил его мягкость и с трудом прочитал слова на древнееврейском, вышитые его невестой на мешочке рядом с могоендовидом и цветочками.

От мягкости плюша и блеска новой золотой нити, которой была сделана вышивка, у него потеплело на душе. Он представил себе свою невесту, девушку из

приличной семьи, годившуюся ему в дочери, и ему стало одновременно страшно и сладко от того, что скоро, всего через несколько часов, он поведет ее под хупу и начнет новую, порядочную и степенную, жизнь.

– Мориц, – позвал он официанта, – впускай бедняков.

Мориц поднял глаза на запотевшие настенные часы.

– Извольте видеть, хозяин, сейчас только час дня.

– Все равно, – ответил Сендер, – впускай до срока, они не должны стоять на холоде и ждать.

Через отворенную дверь начали, смущаясь и кланяясь, протискиваться лохмотья.

2.

За все сорок четыре года своей жизни Сендер Прагер ни разу не чувствовал себя так неуверенно и беспомощно, как в те несколько недель, что он ходил в женихах Эдже Баренбойм, девушки вдвое моложе его.

Сендер стал женихом не-жданно-негаданно, вдруг. За долгие годы холостой жизни у Сендера сложилось невысокое мнение о женском поле, основанное на опыте общения с женщинами в ресторане. Не очень-то он верил им, этим женщинам, и замужним, и девицам, и всеми силами старался не поддаваться ни одной из них. Соседям по улице ужасно хотелось женить его. Мужья, натерпевшиеся от своих склочных жен, завидовали его легкой холостяцкой жизни и все время пытались найти ему партию. Их жены из кожи вон лезли, чтобы заарканить его. В том, что Сендер решил отвертеться от женитьбы, они видели заговор против себя, бунт против слабого пола, чья сила заключается в умении подчинять сильный пол.

– Ему только сметану подавай, а сыворотки он не хочет, – с горечью говорили о нем женщины, имея в виду, что любовь-то он крутит, а желания становиться под ярмо у него нет – ни за что на свете.

Шадхены обивали порог его ресторана.

– Ну, Сендер, дай, наконец, людям заработать, – просили они его. – Сколько можно рвать подметки ради тебя.

Но Сендер не давал поймать себя на удочку.

– Зачем мне нужно, чтобы чужие пользовались моей женой, когда я могу сам пользоваться чужими? – отшучивался он.

Разведенные и молодые вдовы, полные, веселые бабенки, которые унаследовали от мужей наличные, украшения, платья, перины, сундуки, полные дорогого белья, и большой опыт в любви, испробовали на Сендере все свои женские силы и чары. Они положили глаз и на его ресторан, у которого была репутация лакомого куска, и на него самого, крепкого мужчину с блестящими глазами и густыми черными волосами. Им очень хотелось стоять в ресторанном буфете, среди бутылок водки, жареных гусей,

мужского смеха и считать деньги своими пухлыми пальчиками, украшенными бриллиантами. Они наряжались для Сендера, вертелись на высоких каблуках, покачивали округлыми бедрами, строили ему глазки, показывали зубки, томно приоткрывая ярко-красные губы, и делали нескромные намеки. Они испробовали все соблазнительные уловки, которых так много в распоряжении женщин, чтобы одурачить любого мужчину.

Сендер не отказывался от сладких женских подарков, но платить согласием не хотел. Он смеялся над миром. Улица уже была готова разочароваться в нем.



– Парня так и похоронят в талес котне, а не в талесе[5], – с завистью говорили о Сендере женатые мужчины. – Вот умник, не дает себя окрутить.

Но на сорок четвертом году жизни, когда никто уже больше не рассчитывал на это и меньше всего сам Сендер, он вдруг оказался женихом, и даже с помощью шадхена, как все нормальные люди.

Нет, не совсем обычный шадхен уломал Сендера. Это его ребе взял его в свои руки, ребе из Ярчева, который жил как раз напротив ресторана.

Никто не мог сказать о Сендере, что он был великим праведником, но все-таки он боялся Б-га, дрожал перед Тем, Кто восседает где-то в дымных небесах, простертых над еврейскими кварталами Варшавы. Особенно его тревожило вечернее небо, когда большое, красное, круглое солнце грозно укладывается на покой, зажигая все вокруг алым пожаром. Сендер видел в закатном огне полыхание адского пламени, в котором палят грешников, таких же, как он сам. И Сендер частенько заглядывал к ребе из Ярчева, который жил по соседству и считался на их улице святым и всеведущим. У него, низенького старичка с пышной, длинной бородой, обычно закутанного в светлый мех (на голове – сподик из светлого меха, кафтан отделан таким же мехом по вороту и рукавам), Сендер узнавал обо всем, что надобно знать еврею: когда по еврейскому календарю годовщины смерти отца и матери, на какой день выпадает праздник, когда нужно поминать усопших и о прочем подобном. За это Сендер часто делал ребе щедрые подношения и, кроме того, присылал с официантом Морицем в подарок жирных жареных гусей и вкусных фаршированных карпов, обильно сдобренных луком и морковью.

Ребе из Ярчева, низенький человечек (он, сидя в большом дедовском кресле, не доставал своими ножками до пола), на все Сендеровы грехи смотрел сквозь пальцы: он не спрашивал Сендера ни о том, почему тот бреет бороду, ни о том, накладывает ли тот тфилин, ни даже о том, почему Сендер не соблюдает субботу и почему его ресторан

открыт в святой день. Веселый, краснощекий человечек с блестящими глазками, полными упования и веселья, ребе не любил слишком стыдить своих хасидов, простых людей: извозчиков, мясников, служанок и даже не совсем «кошерную» братию – скупщиков краденого и сутенеров. Одно было невыносимо для ребе: то, что Сендер не женится, не ведет себя как все люди. Ребе из Ярчева жить не мог без всех этих торжеств: свадеб, обрезаний, помолвок, бар мицв. И каждый раз, когда Сендер заходил к ребе, тот усаживал его рядом с собой и грозил ему своим маленьким пальчиком.

– Эх, Сендер, Сендер, – вздыхал он, – лой тойв хейойс а-одом левадой, «нехорошо быть человеку одному», сказал Г-сподь, когда Он сотворил Адама. У еврея должны быть жена, дети... Зачем ты живешь, Сендер?..

Сендер отвечал ребе как всем:

– Но нет же ни одной стоящей, ребе.

Но ребе из Ярчева и слышать не хотел об этом. Он закрывал оба уха меховыми манжетами.

– Сендер, еврей не смеет так говорить о еврейках, – сердился он. – «Бнойс Исроэл кошейройс хейн»[\[6\]](#), – говорит святая Тора. Еврейки чисты.

Сендер смеялся:

– Ребе, вы бы меня спросили, мне лучше знать. В этом ребе может на меня положиться. Лучше ребе об этом не говорить.

Но ребе хотел говорить именно об этом.

– Сендер, что ты делаешь, Сендер, – стыдил он его, – если ты вовремя не позаботишься о кадише, попадешь в ад. Не думай, что это пустяки... Там люди горят, их там поджаривают... Только кадиш может спасти... Дай мне слово, что женишься.

Сендера пугали эти речи об аде, но давать слово он не хотел.

– Вот стану постарше, ребе, – отговаривался он, – а пока я еще молод и не хочу морочить себе голову. В пятьдесят будет самое время.

На сорок четвертом году жизни Сендер понял, что он уже не так молод, как думал. По ночам он то и дело чувствовал колотье в боку, рези в животе, боли в спине. Боли он прогонял стаканом, как учили Сендера его клиенты-скототорговцы, считавшие, что единственное средство от всех недугов – водка. Но водка помогала не всегда. Нередко боль оставалась. Сендеру становилось тревожно в своем одиноком холостяцком жилище среди всяких подушечек и вещиц, подаренных ему женщинами. Утром, причесываясь перед зеркалом, он стал находить среди черных волос седые. Сендер вырывал их, но вместо одного вырванного волоса появлялось два новых. Сендер видел, что это выдергивание ничего не дает. Можно выдергивать волосы, но не годы.



– Стареешь, Сендер, – ворчал он, обращаясь к своему отражению.

Сон у него тоже нарушился. Он уже не спал всю ночь беспробудно, как раньше, но просыпался среди ночи, а потом с трудом засыпал. Читать он никогда не читал, к этому делу у него не было вкуса. Это мучило его еще больше. В голову лезли всякие дурные мысли. Когда он вдруг чувствовал себя плохо, ему приходило на ум, что у него нет никого, кто мог бы подать ему воды. Он вспоминал разные истории о том свете. Ад, о котором так часто рассказывал ему ребе, стоял у Сендера перед глазами, полный языков пламени и котлов кипящей смолы, куда злые ангелы кидают нагих грешников, таких, как он сам. Мысль о том, что в случае его скоропостижной смерти всё, что у него есть, останется без хозяина, сверлила ему мозг. Его имущество разделят между собой чужие люди. Каждый постарается отхватить свой кусок, и никто даже не вспомнит о нем, никто не помянет его добрым словом, никто не прочтет по нему ни кадиша, ни поминальной молитвы, даже надгробия ему не поставят, заруют, как собаку.

После одной такой ночи, бессонной и горькой, Сендер отправился к своему ребе, как всегда, когда у него было тяжело на душе. Ребе из Ярчева сдвинул на затылок светлый сподик и показал пальцем на потолок, по которому гонялись друг за другом жужжащие мухи.

– Это знак свыше, Сендер, – сказал он торжественно, – слушайся меня и дай мне слово.

Сендер попробовал было уклониться.

– Ребе, ну не верю я им, этим бабам, – пробормотал он, – знаю я их.

Ребе не хотел ничего слышать.

– Не перебивай меня! – сердился он, топая в воздухе ножкой, не достававшей до пола. – Чтоб у меня было столько золота, сколько еще есть, слава Б-гу, честных еврейских девушек. Я тебе сосватаю... сам сосватаю. Дай руку и обещаю делать все, что я скажу.

На этот раз Сендер не нашел в себе достаточно сил, чтобы оставить висеть в воздухе протянутую ручку ребе. И он сунул свои короткие, толстые пальцы в мягкую ладонь ребе из Ярчева. Ребе от удовольствия взял несколько понюшек табаку одну за другой, основательно и победно высморкался и приказал службе немедленно пойти к

Хане, вдове шойхета, и звать ее к ребе, да ради Б-га поскорей, поскольку речь идет об очень важном деле.

– Я даю тебе еврейское дитя из порядочной семьи – дочь шойхета, – радостно сказал ребе, – ты не пожалеешь, Сендер. Она сирота, бедная, но честная девушка, слышишь!

На этой же неделе, на исходе субботы, Сендер надел новый костюм, который как влитой сидел на его коренастой фигуре, очень аккуратно провел широкий пробор в черных волосах, наклеил новые пластыри на заживок и медленно поднялся по грязной лестнице на четвертый этаж в мансарду вдовы шойхета. Высокая, сгорбленная, смуглая еврейка в широком старомодном платье, которое было сшито еще на ее свадьбу, открыла ему дверь и впустила его в комнату, по субботнему прибранную и кисло-сладко пахнущую чолнтом, субботним чаем, лежалыми фруктами и грустью третьей трапезы^[7].

На столе, подле закапанного воском медного подсвечника, стояло заблаговременно приготовленное угощение. На синей тарелке, расписанной птичками и цветочками, лежало несколько красных мороженных яблок и засохший изюм, обрамленные неровно нарезанными ломтиками штруделя. Низкорослая девушка с очень высокой грудью и большими черными глазами, испуганными и широко раскрытыми, словно она только что услышала какую-то поразительную новость, протянула ему пухлую голубоватую руку, которая выглядела замерзшей.

– Имею честь представиться, – сказала она, повернувшись на высоких, тонких каблуках, – Эдже Баренбойм.

Сендер смущенно оглядывал темную в сумерках исхода субботы комнату, в которую через слуховое окно заглядывало множество труб и крыш, и не знал, что сказать. Он впервые был в таком доме, впервые встретился с такой девушкой. Он даже не знал наверняка, красива она или уродлива. Еще меньше он знал, как с ней говорить. В растерянности он стал разглядывать поблекшую фотографию еврея в ермолке и с носом картошкой, торчавшим из густых зарослей бороды и пейсов.

– Это мой папочка, мир праху его, – сказала девушка. – Он не хотел фотографироваться. Он был шойхетом. Фотограф подловил его, когда он не видел.

– Видный мужчина, – произнес Сендер и добавил для приличия «не сглазить бы», не зная, что о покойных так говорить не принято.

– Не стану себя хвалить, – сказала девушка, поддерживая по-женски грудь рукой, – но я вылитая копия папочки, мир праху его. Откушаете чего-нибудь?

Вдова в старомодном, еще со своей свадьбы, платье принесла стакан субботнего чая и заговорила вдовьим голосом:

– Разумеется, кабы мой муж, мир праху его, был жив, я бы выдала мою дочь за ученого. Но раз уж Б-г наказал меня, стало быть, так суждено.

При этом она уронила слезу.

Девушка посмотрела на нее испуганными черными глазами.

– Хватит, хватит плакать, мама! – рассердилась она. – У нас ведь мужчина в доме.

Вдова утерла слезы и продолжила говорить плачущим голосом. Она рассказала, как была счастлива со своим мужем-шойхетом, и кивнула головой в сторону дочери.

– Если бы он знал, – она показала на фотографию, – что нашей дочери придется работать в бакалейной лавке, таскать коробки...

Вдова хотела было еще поплакаться, но дочь взглянула на мать испуганными черными глазами, и та забилась в угол, откуда послышался слезливый распев ее субботних тхинес[8]. Девушка все поддвигала Сендеру синюю тарелку с угощением.

– Вы ничего не откушали, – говорила она, – это нужно непременно попробовать.

Сразу после окончания субботы синюю тарелку разбили. Свадьбу назначили через месяц.

– К чему откладывать в долгий ящик? – сказал ребе из Ярчева, написавший тноим. – Тебе же не тринадцать[9], Сендер.

Сендер во всем слушался ребе, как обещал. Он собрал для невесты гардероб и постельное белье, купил ей подарки. Даже деньги на талес, который должна была купить родня невесты, Сендер дал из своего кармана. Для матери невесты он заказал новый парик и еще платье на свадьбу.

Когда у него все было готово, он еще заглянул к своему соседу-фельдшеру Шае-Иче, у которого стригся, а заодно и лечился, если вдруг что-то случалось в его холостяцкой жизни. Шая-Иче бросил недобритым какого-то парнишку и завел Сендера в свою темноватую смотровую, полную бутылочек с разноцветными жидкостями, блестящих щипчиков и пинцетов. Он надел пенсне на свой длинный нос, достававший кончиком чуть не до выпяченной толстой нижней губы, и ехидно усмехнулся.

– Подхватил от тети Любы, а, Сендерл? – спросил он не без удовольствия. – Ну ничего, дело житейское... Тебе не впервой. Посмотрим, что мы можем сделать...

Он говорил о себе во множественном числе и щекотал Сендера под бок.

– Реб Шая-Иче, – перебил его Сендер, – у меня ничего не болит. Просто я женюсь на честной девушке и хочу знать, можно ли мне. Вы же знаете меня, реб Шая-Иче, так скажите.

Шая-Иче перестал посмеиваться и занялся осмотром обширной Сендеровой плоти.

– Хоть с раввинской дочерью под хупу, – сказал Шая-Иче. – Уж поверь мне.

И Сендер пошел снимать свадебный зал, самый красивый в округе. У ближайшего печатника он заказал пригласительные билеты с тисненой золотой надписью

и двумя целующимися голубками. Еще он заказал у портного новый сюртук, солидный и красивый, как подобает приличному жениху. Но его все что-то беспокоило. Хасидский дом; плачущая теща, которая вечно поминала своего мужа-шойхета; невестино хасидское семейство: бородатые набожные евреи, пересыпавшие свою речь словами святого языка, их жены, с чьих уст не сходило имя Б-жие, и, прежде всего, сама невеста, которой он в отцы годился и которая смотрела на него большими черными испуганными глазами, словно она только что узнала какую-то поразительную новость, – все это лишало его покоя, пугало и держало в напряжении.

– Хотел бы я, чтобы все уже закончилось, – признавался он своим друзьям-скототорговцам.



3.

Всю долгую зимнюю ночь, чуть ли не до рассвета, продолжалась Сендерова свадьба в ярко освещенном свадебном зале «Венеция».

Перед этим Сендер, одетый в новый сюртук, несколько часов просидел дома, с нетерпением ожидая, когда же наконец явятся двое шаферов невесты, чтобы отвести его в свадебный зал. Хоть до зала было рукой подать, они велели Сендеру взять дрожки, так как жениху не пристало идти пешком.

– Ну, жених, готовься. Скорее, скорее, времени нет, – по-родственному подгоняли его два еврея в атласных капотах и бархатных картузах, хотя они сами заставили себя долго ждать.

Сендер уселся на дрожки между обоими хасидами, таких у него в свойстве еще не бывало. А те не переставали твердить ему об иудаизме, законах жениховства, обычаях, и всё это – на чуждом, пересыпанном словами святого языка диалекте, который Сендер едва понимал. Они хотели знать, постился ли он хотя бы в день своей свадьбы, приготовил ли он себе китл, вдел ли он цицис в талес. Они также хотели посмотреть, достаточно ли, согласно закону, гладко, кругло и тяжело обручальное кольцо. К тому же они ужасно торопились, сами не зная почему. Сидя на дрожках, они все время вскакивали с места.

– Ой, беда, опоздаем, опоздаем, – ворчали они, – вот увидишь...

Зажатый между двумя хасидами, Сендер совсем приуныл. Он боялся рот раскрыть, чтобы не сказать чего не следует, чтобы у него не вырвалось дурное слово.

Еще большее уныние охватило Сендера, когда эти двое взяли его под руки и торжественно повели в свадебный зал вверх по лестнице, гладко затянутой красным плюшем.

– Мазл тов, жених, в добрый час, шолом алейхем! – встречали его бородатые евреи в тонких атласных и шелковых капотах, протягивая ему свои мягкие слабосильные руки. Бадхен сразу же взял его в оборот, осыпая как из мешка цитатами из Писания.

Со стороны Сендера почти никого не было. Родители его давно умерли. Никакой родни в чужом городе, где Сендер начинал мальчиком на побегушках в забегаловке и выбился во владельцы ресторана, у него не было. Многих из своих товарищей он не решился пригласить, чтобы они не натворили чего-нибудь неприличного, когда выпьют лишнего. Да и у скототорговцев не было ни малейшего желания отираться среди «атласных капот», которые думают, что весь мир принадлежит им, и смотрят на всех сверху вниз. Со стороны невесты кружился целый хоровод: всё новые и новые невестины родственники подходили к жениху, разглядывали его с ног до головы и бормотали:

– Это жених? Ну что ж, пусть так, лишь бы в добрый час...

Сендер все время краснел, как мальчик, слушая слова благочестивых евреев. Родственницы невесты, женщины в завитых париках, увешанные украшениями, аристократично вздергивали подбородки, покачивали серьгами в ушах и надувались как индюшки оттого, что их родственницу просватали за человека из простых.

– Наверное, так на роду было написано, – бормотали они тонкими губками, – что ж, в добрый час...

Особенно Сендера допекли дядя и тетя невесты, богатые и уважаемые люди, гордость семьи. За несколько недель своего жениховства он то и дело слышал разговоры о дяде Шмуэле-Лейбе и о тете Песеле. Этот дядя Шмуэл-Лейб, жирный, толстопузый, вальяжный человек, гордец и аристократ, не пожелал дать ни гроша на свадьбу, зато теперь совал свой нос во все подробности торжества и заполнял собой весь зал. Дядю во всем поддерживала его высокая, сухощавая жена, ни на минуту не отнимавшая лорнет от красных заплаканных глаз. Пришли они поздно, последними, как и подобает аристократам. Клезмеры встретили их с помпой. Бадхен рассыпался перед почетными гостями в комплиментах и хвалебных куплетах. Реб Шмуэл-Лейб, не раздумывая, уселся рядом с женихом во главе стола, как будто это место предназначалось именно ему, и немедленно учинил Сендеру допрос с пристрастием.

– Ну, ладно, Сендер, – медленно произнес он, взвешивая каждое слово как золотую монету, – ты, как я полагаю, человек неученый. Но хоть соблюдающий?

И не дожидаясь ответа, он принялся снова задавать вопросы. Он хотел знать, достаточно ли кошерен ресторан Сендера, соблюдает ли Сендер субботу, накладывает ли тфилин каждый день, обращается ли он при случае с вопросами к раввину и разбирается ли хоть немного в иудаизме.

– Ты должен знать, жених, что твой тесть, мир праху его, был не абы кем, а шойхетом и благочестивым евреем...

– Да, это был настоящий еврей, – поддержала мужа тетя Песеле, которая стояла в сторонке и разглядывала жениха с головы до ног через лорнет. – Таких теперь не сыщешь...

При этом она вздохнула и посмотрела на Сендера так, будто сожалела, что такой молодчик попал в их семью.

Сендер, хозяин в своем ресторане, которому в обществе скототорговцев и поварих сам черт был не брат, сидел как пристыженный мальчишка среди этих слабосильных атласных евреев. Твердый воротничок душил его. Жесткая шляпа впивалась в голову. Привыкший сидеть с непокрытой головой, Сендер попробовал было на минуту снять новую шляпу, но тут же спохватился, вспомнив, где находится, и нахлобучил ее еще плотнее.

– Жарко, – пробормотал он, чтобы сказать хоть что-нибудь.

– На, возьми мою ермолку, – сказал дядя Шмуэл-Лейб и, не спрашивая Сендера, снял с его головы шляпу, а вместо нее надел свою широкую, засаленную ермолку, которая сползла Сендеру на глаза.

Сендер почувствовал себя немного свободнее, когда наконец явился ребе из Ярчева, представлявший его сторону. Маленький человечек с длинной бородой, укутанный в светлый мех, сразу же внес уют и веселье в чванливое общество. Он по-женски обмакнул лекех в водку и, с удовольствием жуя размокший лекех, хлопнул в ладоши.

– Ну что, жених, проголодался? – спросил он с полным ртом. – Ничего, теперь уже не долго ждать. Скоро я, даст Б-г, совершу кидушин [\[10\]](#).

Дядя Шмуэл-Лейб бросил враждебный взгляд на низенького веселого ребе. Как каждый хасид, который ездит к «большому» ребе, ребе Шмуэл-Лейб смотрел с насмешкой на «маленьких» ребе, чьими хасидами были только невежды и женщины. Кроме того, его раздражало то, что этот ребе собрался совершать кидушин. Привыкнув к постоянным почестям: то он был сандаком на обрезании, то молился перед омудом, то произносил благословения после трапезы, ребе Шмуэл-Лейб сам был мастер по части кидушин. Он знал все эти вещи наизусть: как вести брачную церемонию, читать брачный контракт [\[11\]](#), произносить семь благословений [\[12\]](#). Он уже приготовился совершать кидушин, как и подобает такому важному родственнику, и поэтому возмутился, узнав, что маленький человечек хочет перехватить у него мицву.

– Хм... этот Сендер ваш... ваш хасид? – с ухмылкой спросил он у человечка. – Так, да?

И чтобы показать ребе, кто здесь главный, ребе Шмуэл-Лейб учинил ему экзамен по Торе, суровый экзамен, такой, что «бабий» ребе совсем смутился.

– Мой дед, да будет благословенна его память, говаривал, – ребе попробовал было пересказать что-нибудь из толкований своего деда, чтобы отвертеться от вцепившегося в него ребе Шмуэла-Лейба, но тот не дал себя провести.

– Что мне с того, что говорил ваш дед, – перебил он, – я лучше послушаю, что вы скажете, а?

Сендер напряженно наблюдал за этой словесной войной, происходившей между пузатым дядей и ребе из Ярчева. Ему ужасно хотелось, чтобы ребе задал высокомерному дяде трепку, так чтобы у того голова пошла кругом, но ребе стал еще меньше ростом, чем обычно, и только нервно макал лекех в водку.

– Мне кажется, пора идти под хупу, – сказал он, чтобы выпутаться из сетей, в которые его заманил противник, – жених и невеста голодны. Целый день постились... Сжальтесь над еврейскими детками...

Под хупой Сендер так перепугался, что забыл положенное «харей ат», хоть он столько раз твердил этот стих наизусть. Евреи вокруг завздыхали. Громче всех вздыхал дядя Шмуэл-Лейб.

– Ну же: харей ат, – подсказывал он, – кедас Мойше ве Исроэл...[\[13\]](#)

Трапеза тянулась долго. Дядя реб Шмуэл-Лейб распевал дикие хасидские нигуним[\[14\]](#) и хопкес[\[15\]](#) жирным сальным голосом. Он прочищал горло, прикладывая ладонь к уху, облизывался, очарованный своим чудным голосом, и начинал новый нигун, хотя никто его об этом не просил. Насытившись пением, реб Шмуэл-Лейб начал сыпать толкованиями. Стоило ребе из Ярчева вставить слово, как толстяк перебивал его и продолжал говорить сам.

Гости столь же много наговорили толкований и напели песнопений, сколь мало они принесли свадебных подарков, отделившись мелочами. Семь благословений, которые взял на себя дядя реб Шмуэл-Лейб, тянулись как смола. То, что дядя упустил во время хупы и кидушин, он наверстал во время семи благословений. Реб Шмуэл-Лейб говорил, пел, без конца прочищал горло, так что Сендер даже вспотел. Потом все хасиды принялись танцевать мицве-танц[\[16\]](#) с невестой. Каждый по очереди брался за угол шейного платка и кружился. Дольше всех кружился дядя реб Шмуэл-Лейб.

Уже засветло, заплатив из своего кармана клезмерам, поварам, бадхену, кухаркам и всякой мелкоте, которая вертится на еврейских свадьбах, Сендер забрал невесту и повез ее домой на свою новую квартиру, которую снял неподалеку от своего ресторана.

Холодный утренний воздух освежил его после тесноты и духоты свадебного зала. Дрожки весело подпрыгивали по плохо уложенным острым булыжникам мостовой.

– Побыстрее, кучер, – буркнул Сендер извозчику в синей капоте и взял свою суженую за руку – впервые за несколько недель их знакомства.

Квартира была новая. Ее дверь ярко выделялась среди облезлых соседских дверей и пахла свежей краской. Такими же свежескрашенными были внутри квартиры ее стены, окна, полы и двери. Обо всем позаботился Сендер. Вся обстановка была новая с иголочки. Кровати, перины, шкафы, столы и стулья, комоды и кушетки – все похрустывало от новизны, все блестело от свежести. Обо всем он подумал: о посуде и хрустале, о розовых ковриках у кроватей. Он также не забыл расставить на ночных столиках и трюмо всякие фарфоровые статуэтки и фарфоровых ангелочков. А посреди квартиры стоял зеленый граммофон с большим набором пластинок канторов и оперных

певцов. Кровати были застелены, зажженные люстры с розовыми абажурами окутывали все мягким романтичным светом, что как нельзя лучше подходило для молодоженов.

– Какое тут все новое, новое и красивое! – тихо пробормотала невеста.

– И наша жизнь тоже будет новой, – ответил счастливый Сендер, – новой и красивой.

Из позолоченной клетки, висевшей у окна на зеленом шнуре, канарейка неожиданно просунула клювик и радостно распелась. Сендер дрожащими руками снял свадебное платье со своей суженой, как обычно снимал тора мантл со свитка Торы в Дни трепета в маленьком доме учения ребе из Ярчева.

4.

Когда Сендер убедился в том, что его невеста была далеко не такой чистой еврейской дочерью, как обещал ему ребе из Ярчева, он ни о чем не стал ее спрашивать, не стал на нее кричать и выяснять с ней отношения. Он лишь отвесил ей оплеуху, как поступал всегда с теми, кто обманывал его, и молча ушел к себе в ресторан.

Проходя мимо базара, полного оглушительных женских голосов, Сендер почувствовал запах тухлой рыбы. По запаху он дошел до прилавка и выбрал самую гадкую щуку, какую только можно было найти. Эту вонючую рыбку он принес на кухню и отдал ее русой Маньке, чтобы та почистила ее и нафаршировала.

Русая Манька, высокая костлявая девка, которая любила Сендера не меньше, чем его коньяк, раскрыла большие зеленые полубезумные глаза, полные одновременно изумления и любви к своему расфранченному хозяину.

– Пане Сендер, – пролепетала она, – вам всучили самую что ни на есть дрянь... Пойду выброшу ее.

– Нафаршируй ее, добавь побольше корицы и перца, чтобы ничего не чувствовалось, – тихо приказал Сендер, – и никому ни слова, слышишь, Манька.

– Слышу, пане Сендер, – сказала счастливая девка, пожирая Сендера зелеными полубезумными глазами.

Когда рыба была готова, Сендер положил ее на блюдо, украсил морковью, луком и зеленью и с Морицем-официантом послал ребе из Ярчева в подарок за свадебную церемонию.

Целый день провел Сендер за стеклянной дверью ресторана. Он с нетерпением, как ребенок, наблюдал за домом ребе. Поздно вечером Сендер наконец дождался. Из ворот выбежал взволнованный служка ребе и стал через улицу громко звать фельдшера.

– Реб Шая-Иче, реб Шая-Иче, ребе помирает... Идите скорей, его наизнанку выворачивает.

Довольный Сендер отошел от двери и выпил несколько рюмок коньяка, одну за другой.

Домой он вернулся поздно, дождавшись пока последний посетитель уйдет из ресторана. Жена ждала его. Ее глаза были больше, чернее и испуганнее, чем обычно, она заглядывала ему в глаза, ходила за ним по пятам, умоляла, чтобы он сказал ей хоть слово. Сендер не обращал на нее внимания.

– Мама там, – сказала молодая, – ждет на кухне. Целый день. Она хочет с тобой поговорить.

– Мне не о чем с ней говорить, – ответил Сендер. – И пусть она мне лучше на глаза не попадается, иначе я за себя не ручаюсь.

Он подошел к канарейке и насвистел ей мелодию, чтобы пробудить в ней желание петь. Но канарейка не хотела петь. Сендер оставил ее в покое и взял к себе на колени Бритона. Пес обезумел от радости, стал ласкаться и облизывать своего хозяина. Ночью вместо молодой жены на кровати рядом с Сендером лежал Бритон.

С утра пораньше нагрянули тети и дяди, набожные евреи, один к одному.

– Сендер, – умоляли они, – позволь поговорить с тобой. Не возводи напраслину на еврейское дитя, на сироту.

– Мне не продашь кота в мешке, – отвечал Сендер, – я не ешиботник.

– Сендер, пойдем к раввину, – настаивали они, – как скажет раввин, так и будет^[17].

– Плевал я на раввина, – отвечал Сендер. – Теперь я знаю, что такое эти раввины.

Набожные евреи не могли слышать такие речи.

– Сендер, побойся Б-га, подумай о том свете.

– Чхал я на тот свет, – в гневе говорил Сендер.

Он, Сендер, ни во что больше не верит. Ни в этот свет, ни в тот. Ни в красные полыхающие небеса, ни в Б-жьих людей – цадиков в сподеках и дедовских мехах. Если благочестивые люди сумели так его обмануть, то в мире не осталось ничего святого.

В первые дни он ел себя поедом. Он не мог простить себе, что его, Сендера, так гнусно заманили в болото, провели как какого-то глупого мальчишку. Больше всего его мучило то, что он так унижался перед этими святошами, так и стлался перед ними. Они оскорбляли его, тяжело над ним вздыхали, куражились над ним. Он ради них тратился, за все сам платил^[18]. Он даже со своими друзьями порвал, не пригласил их на свадьбу, и все для того, чтобы понравиться этим хасидикам в атласных капотах и их женам в париках. Эти несколько недель унижений и покорности стояли у него костью в горле, их нельзя было проглотить. Он не спал ночью и не ел днем.

– Бык безмозглый, – ругал он себя, глядя в зеркало, – тупой болван...

Сперва ему очень хотелось схватить эту хасидскую дочку за шиворот, вывести ее из квартиры и дать ей такого пинка под зад, чтобы она кубарем скатилась по лестнице.

Только это, чувствовал он, могло бы остудить его кровь. Пусть она не думает, что Сендер – мальчишка какой-нибудь, которого можно дурачить, которому можно зубы заговаривать. Нет, его не проведешь. Никогда он не позволял плевать себе в кашу, даже тем, кто сильнее его. И он, разумеется, не позволит вороватым хасидикам водить себя за нос. Он у нее все отберет, даже платья, которые заказал ей на свои деньги, даже кольцо с пальца, даже серьги из ушей. С чем пришла, с тем и уйдет, и скатертью дорога!

Потом он подумал, что ничего не хочет от этой хасидской коровы. Пусть забирает все, что он для нее купил: платья и обувь, и серьги, и все прочее добро. Он даже даст ей немного денег, чтобы она от него отстала. К черту деньги! Он уже столько потратил, что может потратить еще. Монетой больше, монетой меньше, лишь бы выпутаться. В доме он ничего не оставит. Всё: мебель, граммофон, талес, свадебный сюртук – все ненужные вещи, которые он накупил для своей свадьбы, он продаст за бесценок, раздаст даром, лишь бы с глаз долой. Он снова переедет в свое холостяцкое жилье, заживет свободно, как раньше, и начисто забудет о том, что с ним случилось.

После нескольких бессонных ночей, полных раздумий, Сендер решил, что лучше всего ничего не предпринимать. Оставить все идти своим чередом. Зачем превращать себя в посмешище? Поварихи почувствуют себя отомщенными. Женщины, которые сохли по нему, будут на улице смеяться ему в лицо. Посетители ресторана будут судачить о нем за столиками. Его будут держать за болвана, за дурака. Ему будет стыдно на людях показаться. Нет, он никому не доставит этого удовольствия. Лучше пусть все будет так, как есть. Пусть эта глупая гусыня болтается себе в доме, как служанка, решил Сендер.

Так он и оставил ее болтаться.

Он не разговаривал с ней, не сердился, не выяснял отношений, даже внимания на нее не обращал. Он распорядился в лавках, чтобы оттуда доставляли ему на дом все, что требуется, и оставил ее одну в квартире среди новой мебели.

Сендер начал вести очень свободную жизнь, более свободную, чем в холостяцкие годы. Во-первых, он стал пить. Он и раньше не отказывался пропустить рюмку с посетителями, когда те приглашали его за свой столик. Но тогда он держал себя в руках, не перебирал. Сендер знал, когда надо остановиться, и не пил лишнего. Теперь он перестал считать рюмки. Он засиживался за столиками со скототорговцами и «деловыми», болтал, курил, играл в карты и закладывал за воротник. Завсегдатаи восхищались им.

– Сендер – это Сендер, – говорили они, радуясь тому, что он больше не тот добропорядочный тип, каким выставлял себя перед свадьбой.

Однажды он велел Маньке, чтобы та прибралась в его давно заброшенной «конторе». Манька с великим усердием выколотила всю пыль из обитой красным плюшем софы. Она хорошенько вымыла стены, постелила на пол коврик, сняла паутину с голой красотки и тайком, на свои деньги, спрятанные в чулке, даже купила несколько бумажных цветов и поставила на стол. После этого она вымылась, накрашила красной помадой тонкие губы, подрумянила бледные щеки, щедро опрыскала себя дешевыми духами и привела своего хозяина.

– Красиво, пане Сендер? – спросила она, ожидая похвалы.

Манька выпила не одну, а несколько рюмок коньяка. После пятой она, как обычно, обезумела.

– Хоть убейте меня, пане Сендер, но я отсюда не уйду, – поклялась она, – буду лежать здесь, как собака...

Сендер не прогнал ее.

Чаще, чем в холостяцкие годы, спускался Сендер по винтовой лестнице в подвал, в свою контору. Между поварами шла за него вечная грызня. На улице к нему снова стали приставать женщины, которые не могли устоять перед блеском его глаз и его крепким заливком, вечно заклеенным пластырем. Они понимали, что он не слишком часто видится с хасидской дочкой, с которой стоял под хупой, и с женской расчетливостью настойчиво старались ему понравиться: а вдруг что из этого выйдет.

Сендер был груб с женщинами, ненавидел их за лживость и знал, что даже лучшим из них доверять нельзя. Он мстил им, оставаясь с ними наедине, унижал, оскорблял их. Но чем brutальнее он к ним относился, тем больше они к нему липли.

Домой он приходил обычно поздно ночью, чуть ли не под утро. Усталый, пьяный, он заваливался на кровать, постеленную ему женой, и беспробудно спал в течение нескольких часов. Бритон, его пес, лежал у него в ногах. Едва проснувшись, он шел к канарейке, кормил и поил ее.

– Сендер, я приготовила тебе перекусить, – покорно произносила жена.

– Я ем в ресторане, – отвечал Сендер, выдергивая перед зеркалом седой волосок из черной шевелюры.

– Сендер, ты стонал во сне, – говорила жена, – может, ты заболел?

– Можешь спать в другой комнате, ничего не будешь слышать, – советовал ей Сендер.

Жена ударялась в слезы.

– Оскорбляй, унижай меня, только не молчи, – рыдала она, – я, как собака, слоняюсь одна по квартире, жду всю ночь.

– Можешь вернуться к своей мамаше, – буркал Сендер и хлопал дверью, новой свежескрашенной дверью, которая среди облезлых соседских дверей была как богач среди бедняков.

Часто он совсем не приходил ночевать. Закрыв свой ресторан поздно ночью, он отправлялся в большие, ярко освещенные и веселые рестораны в нееврейских кварталах и заказывал коньяк, рюмку за рюмкой.

– Эй, как подаешь? – сердился Сендер на раздетых официантов. – Разве так подают на стол?

И с опытностью бывшего официанта он показывал, как нужно обслуживать посетителя. Шансонетки принимали его за большую шишку и облепляли его столик. Сендер угощал их коньяком и бил рюмки об пол, как подгулявший офицер.

Домой он возвращался на рассвете, днем отсыпался, не раздеваясь, на софе в своей «конторе».

Как прежде ребе из Ярчева, так теперь фельдшер Шая-Иче нередко журил Сендера за его грехи. Всякий раз, когда Сендер приходил к нему побриться и заклеить загривок новыми пластырями, Шая-Иче брал его запястье холодными пальцами и смотрел на карманные часы, которые получил в награду, служа фельдшером в армии у «фонек».

– Сендер, пульс учащенный, – бормотал он, – слишком учащенный...

Хоть Сендер и не хотел этого, но Шая-Иче силой затаскивал его в свою смотровую, полную бутылочек с разноцветными жидкостями, блестящих щипчиков и пинцетов, и прикладывал свое большое ухо к его широкой груди.

– Не пей, не кури и не кути так много, Сендер, – грозил ему пальцем Шая-Иче, – ты ведь уже не мальчик.

Сендер прикуривал новую папиросу от предыдущей и отмахивался.

– Коза раз подохнет [\[19\]](#), – хрипло говорил он.



5.

Седые волоски в черной Сендеровой шевелюре множились день ото дня. Они появлялись каждую ночь. Сперва Сендер попробовал было выдергивать их по утрам перед зеркалом, но чем больше выдергивал, тем больше их становилось. Он плюнул и позволил им расти, как им хочется. Глаза его, так же как волосы, утратили свой черный блеск и подернулись унылой пеленой. Теперь они часто слезились после бессонных, беспутных ночей, полных вина и табачного дыма. Белки его глаз, обычно чистые, стали красными, покрылись паутиной сосудов.

Чаще, чем раньше, Сендер чувствовал боли в теле, и каждый раз – в новом месте. Он заглушал их водкой и, как бы назло самому себе, своему страдающему телу, ел копченое мясо, соленую рыбу, острые приправы, вызывавшие изжогу. Боли в сердце он

тоже гасил спиртным. Папиросы прикуривал одну от другой. Он начинал глотать дым с утра, едва открыв глаза, и не выпускал мундштук изо рта до поздней ночи.

Одежда стала тесна его раздувшемуся телу. Жилетка трещала на животе. Нос у него покраснел и был теперь весь иссечен мелкими коричневыми и синими жилками. Он перестал заботиться не только о своем теле, но и о своей одежде. То пуговицы не хватало на его жилетке, то лацкан был запачкан пеплом, то ботинки не были начищены как следует. Он даже перестал регулярно бриться и ходил обросшим, с колючими иссиня-черными заплатами на щеках. Женщины на улице стали его избегать.

– Ступайте, вы старый, – отталкивали они его, когда он приставал к ним, как прежде, – и у вас щетина, как терка.

Поварихи больше не грызлись из-за него. Сендер оставил их в покое и стал путаться с уличными девками, которые околачивались на перекрестке рядом с его рестораном. Частенько, закрыв ресторан, он посылал Морица-официанта на улицу, чтобы тот привел одну из них к нему в «контору».

– Которую позвать? – спрашивал Мориц, зная каждую из них по имени.

– Все они одинаковые, эти бабы, – с ненавистью отвечал Сендер, – один хрен...

Рестораном он не занимался, кассу часто оставлял на Морица. Пересчитывая потом деньги, он каждый раз стучал кулаком по мраморному столику, крича, что Мориц его обворовывает. Мориц клялся покойными родителями, что не взял ни гроша. Сендер давал ему оплеуху, как поступал со всеми, кто обманывал его, и клялся, что скорей помрет, чем еще раз подпустит парня к кассе. Но на следующий день он снова оставлял Морица на кассе, а сам уходил шляться по улицам или храпел в «конторе».

Иногда боль так прихватывала его, что он не мог подняться и оставался в постели, проклиная все на свете, стена и ругаясь.

– Позвать доктора, Сендер? – тихо спрашивала жена.

– Не нужен мне никакой доктор, – злился он в ответ.

– Позволь, я тебя разотру, – бормотала она и засучивала рукава блузки до локтей.

– Отстань от меня со своими растираниями, – ворчал Сендер.

– Чего же ты хочешь?

– Принеси коньяк и рюмку.

Испуганная жена смотрела на своего больного мужа, пьющего коньяк в постели, большими черными глазами, полными страха.

– Сендер, – бормотала она, – ресторан без присмотра, я пойду взгляну, а то нас обворуют.

– Не бойся, тебе хватит того, что останется после моей смерти, – отвечал Сендер, опрокидывая рюмку, – не ходи туда, я не хочу.

Он с трудом писал несколько безграмотных слов карандашом на клочке бумаги, засовывал записку Бритону под кожаный ошейник и посылал пса в ресторан.

– Ступай, Бритон, на кухню, – наказывал ему Сендер, – и поосторожнее, когда будешь переходить улицу, чтобы тебя не задавили.

Бритон, привыкший к поручениям, удалялся своим бодрым, тяжелым, бульдожьим шагом.

Вскоре он возвращался с русой Манькой, костлявой, накрашенной, нарумяненной, распущенной, сразу чувствовавшей себя хозяйкой в доме. Она открывала сервант, возилась на кухне, готовила еду, приносила ее Сендеру в постель, а потом тщательно растирала уксусом его волосатое мясистое тело. На глазах у жены Манька прижималась к нему, шлепая его по рукам.

– Спать! – приказывала она ему, как мать приказывает любимому непослушному ребенку. – Спать, безобразник, или я тебя как следует отшлепаю...

С кошачьей угрозой в полубезумных глазах разглядывала она перепуганную жену Сендера и, демонстрируя ей свое пренебрежение, кружила, пританцовывая от одного зеркала к другому, ловко накручивая свои русые локоны на острые пальцы.

Эдже плакала на кухне над своей горькой судьбой.

Как только приступ немного отпустил Сендера, он вылезал из кровати и продолжал свою обычную, беспутную и безумную, жизнь.

– Коза раз подохнет, – говорил он скототорговцам за столиками.

* * *

Поздней ночью в конце зимы, ночью унылой и промозглой, когда из всех водосточных труб и со всех крыш ни на минуту не переставало течь и капать и кошки визгливо плакали на улице, Сендер почувствовал головокружение и слабость в ногах. Он подошел к витой каменной лесенке, ведущей в подвал, чтобы спуститься в «контору» и ненадолго прилечь на софе. Но на первой же ступеньке потерял равновесие и пересчитал все остальные, вплоть до последней.

Мориц-официант, который стоял в приоткрытой двери ресторана и свистом подзывал девок, стоявших под фонарем, услышал глухой удар и спустился в подвал. Он был уверен, что хозяин упал из-за того, что напился, и стал трясти его за плечи.

– Хозяин, вставайте! Хозяин, дайте руку.

Сендер не отзывался.

Видя, что хозяин не осознает происходящего с ним, Мориц стал ругать его.

– А ну шевелись, жирное брюхо! – тряс он Сендера.

Так как Сендер не приходил в себя, Мориц принялся бить его, колотить по бокам, пинать ногами, чтобы привести в чувство. Но и после этого Сендер не очнулся. Мориц забеспокоился и побежал будить жившего по соседству фельдшера Шая-Иче.

Заспанный, растрепанный, в одной накинутой на нижнее белье шубейке, Шая-Иче вместе с Морицем с трудом втащили Сендера на софу. В его тяге к земле была тяжесть мертвого тела.

– Кровь, кровь, – показал перепуганный Мориц, – из головы течет.

– Это ерунда, – махнул рукой Шая-Иче, – я опасаюсь худшего.

Он стащил с Сендера туфли и стал колоть ему ступни иголкой. Сендер не реагировал. Шая-Иче воткнул иголку поглубже, но Сендер не шевельнулся. Он не стонал, не двигал ногами. Шая-Иче отложил иголку и склонил голову на грудь, так что его длинный нос коснулся толстой нижней губы.

– Конец Сендеру, – проговорил он.

Мориц выпучил глаза.

– Он что, умер, реб Шая-Иче?

– Жив-то он жив, – протянул Шая-Иче, – но горе в том, что парализован. Ни рукой, ни ногой двинуть не может. Нужно позвать его жену.

Растерянная, ошеломленная, стояла Эдже рядом с софой и смотрела еще больше, чем обычно, черными и испуганными глазами на своего тяжело распростертого мужа.

– Сендер! – звала она. – Это я... я...

Сендер таращил глаза, большие и широко раскрытые, но остекленевшие и неподвижные. Из его перекошенного рта текла слюна, словно он хотел плюнуть на весь мир. Эдже совершенно не знала, что ей делать. Она впервые была в ресторане, впервые – в подвале, в «конторе», о которой столько всего слышала, но которой никогда не видела. Чья-то шелковая женская рубашка висела на гвозде, зацепившись ляжкой. Голая розовая красotka игриво смотрела со стены прямо на Эдже. Ей стало стыдно самой себя.



– Что делать? – пробормотала она, испытывая не столько горе, сколько смятение.

Она чувствовала, что в ее жизни на исходе этой промозглой ночи случилось что-то очень важное, но что ей с этим делать, она не знала. Она совершенно смешалась. Насколько Эдже была растеряна, настолько же Мориц-официант был собран и деловит. Прежде всего, он опустошил все карманы своего распростертого хозяина. Отовсюду: из штанов, из жилетки, из пиджака – он вытащил деньги – мятые банкноты и мелочь. После этого он отстегнул золотые часы с цепочкой от жилетки, снял кольцо с бриллиантом с пальца Сендера и скорее приказал, чем посоветовал:

– Пусть хозяйка заберет.

Эдже послушалась.

Потом он надел на Сендера ботинки и велел Шая-Иче вызвать больничную карету.

Шая-Иче заколебался.

– Лучше заберите его домой, – сказал он, – я привезу врача.

– Зачем же домой, – резко сказал Мориц, – лучше всего отвезти его в больницу.

Шая-Иче посмотрел на жену Сендера, чтобы та что-нибудь сказала. Но она молчала. Она смотрела Морицу в рот. Шая-Иче закутался в шубейку и со вздохом ушел к себе. Мориц его не удерживал. Очень проворно он отвез своего хозяина в больницу, записал там его имя, возраст, положение и все остальное, что требовалось.

– Кто эта дама? – спросил служащий больницы, посмотрев на молчащую Эдже.

Он с удивлением оглядел ее и пренебрежительно зевнул.

– Платить следует аккуратно, – разъяснил он, – посещать только в отведенные часы... Слышите, дама?

– Я слышу, – ответила Эдже и опустила глаза, застыдившись сама не зная чего.

Только выходя из больницы, уже в дверях, она опомнилась и второпях спросила об оставленном муже:

– Как он? Это не опасно?

Человек из больницы поморщил нос.

– Это долгая история, – проворчал он, – он полностью парализован.

С прежней энергией Мориц усадил свою хозяйку на дрожки и отвез ее домой по грубо мощенным ночным улицам. Он молча проводил ее по лестнице, отпер дверь и вместе с ней вошел в квартиру. На улице уже светало.

– Приготовь чай, – «тыкнул» он ей неожиданно.

Она сделала, как он приказал.

Мориц вынул из серванта бутылку коньяка и подлил его в чай сперва себе, потом своей хозяйке.

– Я не люблю, – сказала Эдже.

– Это полезно, это согревает, – ответил Мориц, – пей.

Она выпила.

После нескольких рюмок коньяка Мориц подошел к своей хозяйке и крепко обхватил ее руками.

– Что вы делаете? Нет... – пробормотала Эдже.

Мориц ничего не ответил. Он взял ее, как муж – жену.

Она не сопротивлялась.



Мориц проснулся поздним утром. Он надел халат Сендера, висевший у кровати, его тапки, стоявшие под кроватью, и стал бриться бритвой своего хозяина.

– Эджеле, – позвал он, намыливая себе щеки, – по утрам я люблю чай с молоком и яичницу.

Затем он взял ключи и вместе с Эдже отправился открывать ресторан.

Ресторанные поварахи шумели, обсуждая несчастье. Русая Манька плакала навзрыд. Мориц сбросил с себя пальто и навел порядок.

– Что это за столпотворение? – разозлился он. – Ступайте на кухню работать!

Девушки переглянулись, но подчинились.

Мориц нашел свой фартук, надел его на своего помощника, который до сих пор убирал со столиков. Сам он занял место в буфете, рядом с пивом и спиртным, где обычно стоял Сендер. Эдже он посадил за кассу и стал учить ее обращаться с аппаратом.

– Видишь, здесь надо нажать, когда принимаешь деньги, – показывал он ей, – услышишь звонок.

У порога сидел Бритон с открытой пастью, из которой текли вонючие слюни. Он печально выл.

Ī adīāā nēāēōā Ēāōy Āōēāōīāēīā

[1] Бритонами именуют собак одной из древнейших боевых пород, называемой также «английский мастиф».

[2] Бадхен (ивр.) – свадебный шут.

[3] Грубая пародия на монолог бадхена, который он произносит во время обряда «кале базесн» («усаживание невесты»).

[4] В день свадьбы жених и невеста постятся до вечера.

[5] Талес котн – малый талес – носят, в отличие от большого, и холостые.

[6] Берешит, 2:18.

[7] Трапеза на исходе субботы.

[8] Женские молитвы на идише.

[9] Минимальный брачный возраст для мужчины.

[10] Кидушин (ивр.) – обряд бракосочетания.

[11] Ритуальный документ, составленный на арамейском языке, необходимый элемент обряда бракосочетания.

[12] Семь специальных благословений, которые произносят после обряда бракосочетания.

[13] «Вот ты» и «По закону Моше и Израиля» (ивр.). Эти слова – часть формулы, которую произносит жених, надевая невесте обручальное кольцо: «Вот ты посвящаешься мне этим кольцом по закону Моше и Израиля».

[14] Напевы без слов, на слоги. Распевание нигуним – принятая в хасидизме медитативная практика.

[15] Быстрые танцевальные мелодии.

[16] Букв. «танец во исполнение заповеди». На свадьбе невеста танцует со всеми уважаемыми мужчинами, причем она и ее партнер держатся за противоположные концы платка.

[17] Раввин, в качестве главы суда, должен разрешать конфликты.

[18] Как правило, расходы на свадьбу берет на себя семья невесты.

[19] Еврейский перевод польской пословицы «Раз козе шмерч», которая, в свою очередь, соответствует русской «Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ИЦИК МАНГЕР

Ààäèé Áíí øèö

Трудно сказать, кто из еврейских поэтов был самым великим, да и не за чем устраивать такие соревнования. Но зато мы точно знаем, кто из них был и остается самым любимым. Это Ицик Мангер, десятки стихотворений которого стали народными песнями.



Ицик Мангер родился в 1902 году в Коломее (Восточная Галиция, современное украинское название Коломыя), но его детство прошло в Черновицах (современные Черновцы).

Черновицы – шегольская «маленькая Вена», зажата в глухом восточноевропейском углу между гуцульскими Карпатами, молдавскими степями и галицийскими нивами, – была не только столицей австрийской Буковины, но и одной из литературных столиц Европы. Черновицкие евреи, по крайней мере образованные, говорили не на идише, а на немецком. Из Черновиц вышла целая плеяда первоклассных поэтов, писавших на немецком языке. В то же время в окрестных буковинских и галицийских местечках и селах евреи продолжали говорить на идише.

Мангер родился в семье портного, его дед был деревенским извозчиком. Но сам будущий поэт учился в черновицкой «Кайзергимназиум» и рос человеком высокой немецкой, точнее, австрийской культуры.

И все-таки Мангер выбрал идиш. Сказалось и то, что дома говорили на идише, и поездки на лето к дедушке в галицийскую деревню Стопчет. Но главную роль сыграло то, что в 1915 году семья Мангера переехала в Румынию, в Яссы, город, в котором было много вина, румынских и цыганских песен и сочного молдавского идиша.

Мангер начинает публиковаться в еврейских журналах Румынии, выпускает первую книгу стихов в Бухаресте. Но Румыния – периферия еврейского литературного мира, и в 1929 году молодой поэт переезжает в Польшу, в Варшаву, столицу еврейской литературной жизни.

До 1938 года Мангер живет в Варшаве. Это его лучшие творческие годы. Именно в Польше он написал самые восхитительные свои баллады. В Варшаве Мангер много и успешно работает, в том числе для театра и кино, создает несколько сборников стихов и прозы, среди них – одну из вершин своего творчества, «Хумеш-лидер» («Песни Пятикнижия»). В 1938 году он уезжает в Париж и там пишет свое главное прозаическое произведение – бурлескный роман «Удивительное жизнеописание Шмуэл-Абы Аберво (Книга рая)». Вторая мировая война застала поэта в Париже. Во время войны Мангер жил в Лондоне, в пятидесятых-шестидесятых годах – в Нью-Йорке.

В поздние годы Мангер все больше обращается к строгим формам: в частности, он создает цикл замечательных сонетов. И все-таки «Золотая пава скрылась вдали, / Улетела искать вчерашние дни». В 1946 году Мангер выступал на открытии памятника героям восстания в Варшавском гетто вместе с Юлианом Тувимом и Авраамом Шлёнским. Над руинами Варшавы Мангер прочитал по-русски пушкинские строки: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, / К нему не зарастет народная тропа», а потом сказал: «Раньше народ приходил на могилу своего поэта, а теперь поэты приходят на могилу своего народа». Ему, как и другим еврейским поэтам, не для кого стало писать.

Поэт пережил не только своих читателей, но и свою семью, которая сгорела в пламени Катастрофы. Незадолго до смерти Ицик Мангер переехал в Израиль, где и умер в 1969 году. Имя Ицика Мангера носит израильская литературная премия, вручаемая писателям, пишущим на идише.

Ицик Мангер был последним романтическим поэтом Европы. Свой итоговый сборник он назвал «Песня и баллада». Ему, наследнику Тракля, Гофмансталя и Верлена, удалось – быть может, в последний раз – вернуть лирическую традицию к ее фольклорным корням.

Давайте споем...

Давайте споем без затей, как всегда,
О том, с чем не вынесет сердце разлуки:
О нищих, что в поле клянут холода,
О мамах, что греют над пламенем руки.

О бедных невестах, не спящих в ночи,
И каждая ждет, что покажется ей
В зеркале, в отраженьи свечи,
Милый, что посмеялся над ней.

О цыганках, которым туз и валет
Помогают выдурить пятак
У брошенных жен, что клянут белый свет
И, кутаясь в шаль, уходят во мрак.

О служанках, что трудятся день-деньской,
И каждая ночью в подушку плачет,
И солдатика каждая ждет с тоской,
И лучший кусок для солдатика прячет.

Давайте споем без затей, как всегда,

О том, с чем не вынесет сердце разлуки:
О мамах, что в поле клянут холода,
О нищих, что греют над пламенем руки.

О девушках, что младенцев своих
В летних сумерках тащат, дрожа,
К чужим дверям, боясь, как бы их
В полицию не отвели сторожа.

О шарманках, чей тяжкий скрип
В бедных дворах по пятницам слышен,
О ворах, что попались на краже белья,
И должны теперь удирать по крышам.

О старьевщиках, роющихся везде
В надежде, что счастье им улыбнется,
О поэте, что неверной звезде
Верит напрасно, пока не свихнется.

Давайте споем без затей, как всегда,
О том, с чем не вынесет сердце разлуки:
О стариках, что клянут холода,
О детях, что греют над пламенем руки.
Перевод Валерия Дымшица

Песня о золотой паве

Маргарет

Наша пава золотая улетела чуть свет
На восток, поискать там «те дни, что уж
нет».

Тра-ли, тра-ля.

Все летит и летит, и в нагорной стране
Повстречался ей турок-старик на коне.
Говорит ему пава: «Ты дай мне ответ:
Где они скрылись, те дни, что уж нет?»

Турок наморщил лоб и сказал:
«Дни, что уж нет? Не видал, не слышал».
«Геть!» – И умчался за перевал.
Хохот среди гор зазвенел: «О-па-па,
Золото-птица, а вишь как глупа!»

Наша пава золотая улетела чуть свет
На север, все ищет «те дни, что уж нет».

Тра-ли, тра-ля.

Видит – рыбак у соленых у вод
Невод латает и песню поет.

Спит в той песне дитя, торф пылает
в печи
И рыбачка прядет свою пряжу в ночи.
Говорит ему пава: «Ты дай мне ответ:
Где они скрылись, те дни, что уж нет?»

Лоб свой наморщил рыбак и сказал:
«Дни, что уж нет? Не видал, не слышал».
И песню закончил: «Тирлим-па-па-па,
Золото-птица, а вишь как глупа!»

Наша пава золотая улетела чуть свет
К югу, все ищет «те дни, что уж нет»
Тра-ли, тра-ля.
У соломенным золотом крытой лачуги
Негра она повстречала на юге.
Говорит ему пава: «Ты дай мне ответ:
Где они скрылись, те дни, что уж нет?»

Негр ослабил белые зубы
И улыбнулся вовсе не грубо.
Но не ответил, фыркнул лишь: «Ф-фа!»
Золото-птица, а вишь как глупа!

Наша пава золотая улетела чуть свет
К западу, ищет «те дни, что уж нет».
Тра-ли, тра-ля.
Видит – у придорожной могилы
Женщина в черном колени склонила.
Пава молчит, и без слов ей все ясно:
Женщина в черном, от боли безгласна,
Что у могилы встречает рассвет –
Это вдова «тех дней, что уж нет».
Перевод Александры Глебовской

Баллада о старом гайдуке

Мчится гайдук на коне вороном –
Вихрь, вихрь в поле ночном.

Ружье за спиной, по ветру волосы,
За ним – деревни, тени и псы.

Голубю страшно в гнезде ночевать –
Мчится старый гайдук убивать.

Только откуда на шляхе лучи
Бьют в лицо и слепят в ночи?

Это луна тени черные пьет,
Свет свой серебряный в полночи льет.

Черной овце, чтоб спала до утра,
Грудью своей дает серебра.

Старый гайдук вскинул ружье.
Выстрел в луну – и из горла ее

Струйкою кровь вытекает; красна,
Рухнув на лес, повисает луна.

Мчится гайдук на коне вороном –
Вихрь, вихрь в поле ночном.

Ружье за спиной, по ветру волосы,
За ним – деревни, тени и псы.
Перевод Сергея Степанова

На дороге дерево

На дороге дерево
Замели метели.
Снялись птицы с дерева
Да и улетели.

На закат и на восход,
А какие к югу.
Дерево совсем одно
В этакую вьюгу.

Говорю я: «Мамочка,
Полно суетиться!
Мне мешать не надобно.
Раз! – и вот я птица!

Сяду я на дерево
С песней колыбельной.
Баю-баю, дерево,
До весны капельной».

Плачет мама: «Деточка,
Как же ты там будешь?
Не дай Б-г, на дереве
Горлышко простудишь».

Говорю я: «Мамочка,
Что тут убиваться?

Стал уже я птицей,
И пора считаться!»
Плачет мама все равно:
«Бедный Ицик, золото!
Ты хотя бы шарфик
Повяжи от холода.

И галоши на ноги
Прихвати с собою!
Шапку теплую надень!
Горе мне с тобою!

И фуфаячку надень,
Глупый, ради Б-га!
Или к мертвым у тебя
Верная дорога!»

Не могу поднять крыло.
Теплые вещички,
Мамою надетые,
Не по силам птичке.

Грустно я в глаза гляжу
Мамочки довольной.
Не дала ее любовь
Стать мне птичкой вольной.

Перевод Сергея Степанова



Между Стопчетом и Коломыей

Между Стопчетом и Коломыей
(В детстве нужно для счастья немного)
Дед мой на козлах сидит и молчит.
Н-но, Каштан, н-но! И в дорогу.

Юные вербы на нашем пути

Чуть трепещут и тоже молчат,
А старая верба рождает луну,
И лучи среди веток блестят.

Дедушка, здравствуй! Но дед мой молчит,
Все быстрее мчат скакуны.
И чернику в сметане я вижу во сне
На белой тарелке луны.
Дед мой молчит. Бубнит ветерок
Преданья лесов и нагорий.
Дедушка стар, а ветер юн
И знает немало историй.

Я слышу сквозь сон. Луна велика,
Дороги – от света седые.
Но где же кони? Бежит мой дед
Между Стопчетом и Коломыей.
Перевод Александры Глебовской

Вечерняя песня

Вечер тускло-золотой.
Никто со мной не пьет.
Что остается мне теперь?
Свет гаснет, тень растет.
Пусть отблеск тускло-золотой
В песню попадет...

Вечер тускло-золотой.
Старик, совсем седой,
Отмаливает праздный прах,
Нажитый суетой.
Пусть шепот старика глухой
Будет в песне той...

Вечер тускло-золотой.
По свету пыль метет.
Моя бессонная печаль
Щенком в пыли уснет.
Пусть наконец дыханье сна
В песню попадет...

Вечер тускло-золотой.
Вот мотылек ночной
На крыльях серо-золотых
Летит к себе домой.
Пусть трепет мотылька ночной
Будет в песне той...

Вечер тускло-золотой.
Никто со мной не пьет.
Что остается мне теперь?
Свет гаснет, тень растет.
Пусть отблеск тускло-золотой

В песню попадет...

Перевод
Игоря Булатовского

Эпилог

Мышка-мышь-мышья,
Нету ни гроша,
Песенка спета,
Гонят прочь поэта.

Плевать! Я сам уйду.
Куда же мне идти?
Ведь сам-то я нездешний,
Ни с кем не по пути.

Один среди зимы.
Закрыты все корчмы.
Сума моя пустая
(Не дай вам Б-г сумы).
Я крикну: «Хватит, Б-г,
В Самом Себе дремать,
Настало время жать,
Созрел Твой колосок.

Твой мир меня кормил
И му́кой, и муко́й,
А я ему с лихвой
Слезами отплатил.

Мы квиты, без обид,
Земля мой плач хранит,
Твой колосок созрел,
Пускай же серп свистит».

Мышка-мышь-мышья,
Котенок без усов.
Я песенку последнюю
Допел – и всех делов...
Перевод Игоря Булатовского

* * *

Я годами скитался в чужих краях,

Нынче еду скитаться в родных.
Пара ботинок, одна рубашка,
Клюка в руке. Куда ж я без них?

Пыль твою целовать я не буду,
как тот поэт,
Хоть и мне есть о чем голосить, горевать.
Целовать твою пыль? Я твоя пыль.
Кто же будет, я вас умоляю, себя целовать?

Встану в лохмотьях моих, как в шелках,
Перед синью Кинерета, разинув рот,
Загулявший принц – перед синью своей,
О которой мечтал дни напролет.

Синь твою целовать я не буду, я просто так,
Будто на Шмоне эсре, буду стоять и молчать.
Целовать твою синь? Я твоя синь.
Кто же будет, я вас умоляю, себя целовать?

Встану я над бескрайней пустыней твоей
И услышу верблюдов извечный шаг,
Над песками качают они на горбах
Тору и тару, и старый напев бродяг,
Что в песках раскаленных дрожит,
как стяг,
Вдруг замрет, но очнется, чтоб никогда
не смолкать.
Твой песок целовать я не буду! Нет, опять
и опять!
Целовать твой песок? Я твой песок.
Кто же будет, я вас умоляю, себя целовать?
Перевод Игоря Булатовского

Баллада о человеке,
который ушел от серого
к синему

Седой рассвет на бедном дворе
Стоит босиком и стучит в окно,

С лежанки серой встает бедняк
В сером тряпье и смотрит в окно.

Котомку закидывает на плечо,
И серый посох в руку берет,

И потихоньку уходит прочь,
И вместе с ним серый шлях идет.

**Идет он, идет, все серо вокруг,
Все давит свинцом и застит глаза,**

**И грустно седому бедняку,
В глазах у него блестит слеза,**

**Блестит слеза и катится вниз
В седую бороду бедняка,**

**И борода седая светлей
От блеска этого огонька.**

**Но что слезы серебряный свет?
Мгновенье, другое – и вот ее нет.**

**У серых ветел встает бедняк
И молится, чтобы унять грусть:**

**«Г-сподь Всевышний! Прошу, сотри
Серую краску с дорог. И пусть**

**Скитанья мои по земле Твоей
Будут чуть легче и чуть светлей».**

**Молитва – голубой мотылек –
Кружит перед ним – синевы клочок,
Синяя точка – среди всего
Серого в сером вокруг него.**

**Дальше бедняк идет, идет,
Седая корчма на развилке встает,**



**Хозяйка русая перед ней
В синем платье стоит и ждет.**

**Глядит на платье бедняк сам не свой,
Пьют, не напьются глаза синевой.**

Говорит хозяйка: «Б-г помощь вам,
Хоть на минутку зайдите к нам,

В пути вы, наверно, уже давно,
А тут у нас и хлеб, и вино».

Он дверь открывает, входит в дом
И видит: синённые стены в нем.

В углу хозяин дома сидит
И сказку младшенькому говорит

О синем царстве, о том, что оно
Синей рекою окружено.

Так много для бедняка синевы,
Что он засыпает от синевы,

Шлях вьется во сне, и шлях – синева,
Котомка и посох его – синева.

Птица летит, и она – синева,
Поле, река и лес – синева.

Дивятся хозяйева, дышат едва:
Из гостя выплескивается синева,

И в комнату хлещет она и потом
Плещет из комнаты прямо в дом.

Кто плачет? Слышишь? Как дитя
Снаружи плачет серый шлях:

«Зачем бедняк бросил меня
Снаружи, на четырех ветрах?»

Будит хозяин гостя: «Пора,
Снаружи вас дорога ждет».
Во сне улыбается гость, он стоит
Перед синим царством, у синих ворот,

Открывает ворота, а с той стороны
Три города синих в долине видны.

Дивятся хозяйева, дышат едва:
Из гостя выплескивается синева,

И в комнату хлещет она и потом
Плещет из комнаты прямо в дом.

**И вот она – шепот, лепет, полет,
Шелест, и шорох, и пенье высот,**

**Корень и дерево, ветка, листва,
Греза из грез, облака и трава.
И вот она – капля, ручей, волна,
И тайна, и рифма, и глубина,**

**И шаг, и топот, и смех, и пляс
И радость, и счастье, и вечность, и час.**

**Мерцанье, свеченье, и свет, и блик,
И тень, и тело, и облик, и лик.**

**Дивятся хозяйева, дышат едва:
Из гостя выплескивается синева,**

**И в комнату хлещет она и потом
Плещет из комнаты прямо в дом,**

И -----

Перевод Игоря Булатовского

ПИШЕМ МЕМУАРЫ

Î èõàèè Î àééîá

Только что объявили: премия «Национальный бестселлер» за 2010 год присуждена театральному художнику Эдуарду Кочергину за книгу воспоминаний «Крещенные крестами». Значит, сдался и «Нацбест».



О триумфе нон-фикшн говорят уже давно. Несколько лет назад «Русский Букер» достался мемуарам Рубена Гонсалеса Гальего «Белое на черном», что вызвало тогда подобие дискуссии или даже скандала: премия-то по уставу за роман присуждается, причем здесь пусть беллетризованные, но мемуары, да еще по всем жанровым признакам ассоциирующиеся не с романом, а максимум с повестью? Но тренд есть тренд, и продолжение не замедлило.

Надо сказать, что куратор «Нацбеста» Виктор Топоров подобное развитие событий предвидел и всячески старался его избежать. Когда в 2006 году все премии, включая тот же «Национальный бестселлер», отошли Дмитрию Быкову за книгу о Пастернаке, Топоров волевым решением запретил выдвигать на «Нацбест» биографии. Как видим, не помогло: образовавшуюся пустоту тут же с успехом заполнили мемуаристы.

Не поймите неправильно: тенденция эта вполне естественная, к ней можно относиться как угодно, но трудно отрицать закономерность происходящего. «Мемуары сейчас получаются крепче, глубже, смелей романов»^[1], – пишет обозреватель одной из газет, приветствуя решение жюри «Нацбеста». Вполне справедливо. Можно добавить еще, что мемуаров просто количественно больше: романы пишут почти все, а воспоминания – вообще все, без всяких оговорок. Знаменитое бунинское «Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле» превратилось из парадокса в категорический императив.

Математик Владимир Арнольд более полувека назад придумал знаменитую задачу о мятом рубле: можно ли сложить прямоугольный лист бумаги на плоскости так, что периметр полученной фигуры превысит периметр исходного листа? Считается, что ближе всех к решению ее подошли мастера оригами. На самом деле задача успешно решена мемуаристами. В XX веке не просто не осталось неопищенного уголка – «периметр» вспомненного о минувшем столетии давно уже превысил реальный «периметр» событийного ряда. «Можно ли нарисовать карту Англии размером с Англию?» – вопрошал другой мудрец. Ему, наивному, и в голову не приходило, что бывают карты, превосходящие величиной изображаемый объект.

Разумеется, практически в любых мемуарах, независимо от этнической и религиозной принадлежности автора, еврейская тема так или иначе присутствует. Русская и еврейская история переплелись так тесно, что часто невозможно понять, где кончается одно и начинается другое, – двести лет вместе как-никак.

Иногда еврейское обнаруживается в самых неожиданных местах. Купил, скажем, я недавно на развале по смешной цене – 40 рублей – вышедшую несколько лет тому книгу футбольного арбитра Марка Рафалова^[2]. Привлекла издательская аннотация – мол, автор был едва ли не единственным судьей, последовательно боровшимся с договорными матчами в советском футболе. Так сказать, все, что вы хотели знать о Валерии Лобановском, но боялись спросить.

И что же? Кроме ожидавшихся откровений о специфике отечественного футбола, в книге обнаружился подробнейший рассказ о детстве автора, о его отце, Михаиле Арнольдовиче Заявiline, еврейском юноше из Николаева, ушедшем в революцию. В 1922 году Заявлин женился на Вере Кузиной, дочери харьковских дворян. Две свежепороднившиеся семьи не слишком ладили: «Еврейские родители категорически отвергали русскую невестку, русские – еврейского зятя». Впрочем, рождение первенца, он же автор, способствовало установлению в семье хрупкого мира.

Дальше все в жизни Заявлина было «по плану»: работа во Внешторге, пост торгпреда Украины во Франции, переезд в Москву, обвинение в троцкизме, многократные исключения из партии с последующими восстановлениями, в 1938-м арест, приговор к восьми годам лагерей и смерть в 1944 году в Магадане. Биография сына не менее типична: 575 дней на фронте, ранение, учеба в МЭИ с попутными занятиями бегом и шахматами, работа в Минтяжмаше, каток государственного антисемитизма в 1952–1953 годах, смерть

Сталина, знаменовавшая приход «оттепели»... Вскоре Рафалов начал карьеру футбольного арбитра, став бескомпромиссным борцом с договорниками, процветавшими в советское время по преимуществу на Украине, с ведома и благословения первого секретаря Украинской компартии Щербицкого. Страшно представить, скольких украинцев сделал антисемитами чересчур принципиальный судья! Тем более что в местном футболе и без него проблем с пятым пунктом хватало: так, знаменитый форвард киевского «Динамо» Виктор Каневский значился во всех справочниках Ильичом, хотя по паспорту был Израилевичем.

Но мемуары Рафалова – это все же прежде всего воспоминания человека из мира спорта, пусть даже и с записью «еврей» в паспорте. Книга Надежды Железновой-Бергельсон[3] – это уже чисто еврейская история, хотя хронологически и тематически отчасти близкая к рассказу Рафалова.

Железнова-Бергельсон – дочь Мирры Железновой, расстрелянной в 1950 году сотрудницы Еврейского антифашистского комитета и газеты «Эйникайт». Книга состоит из воспоминаний о матери и отце, из размышлений об их судьбе и их времени. Можно по-разному относиться к идеализации автором родителей (ее отец, Леопольд Железнов, был протеже Марии Ульяновой, спичрайтером Кирова, корреспондентом «Правды» на только что присоединенной к Советскому Союзу Западной Украине, замом ответственного секретаря главной газеты страны в конце 1930-х) и их круга, хотя по-человечески такое отношение вполне понятно и даже естественно. Но прочитать эту яркую книгу, безусловно, стоит – хотя бы ради нескольких удивительных историй, в ней рассказанных.



Например, о лейтенанте МГБ Ермакове, который запомнился мемуаристке человеческим поведением во время обыска и который, как она случайно узнала много позже, застрелился после речи Хрущева на XX съезде. Или истории о том, как в 1951 (!) году Леопольд Железнов подал на гэбистов в суд и выиграл иск – им с дочерью вернули некоторые из изъятых при обыске вещей. Или об Александре Яковлеве, который, уже после всех перестроек, сначала обещает показать Надежде вновь найденные в архивах документы по делу М. Железновой, а потом произносит загадочную фразу: «Не настаивайте, Надя! Когда это станет возможным, я сам позвоню». Или о председателе Военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенанте Чепцове, который в начале 1956 года, откликнувшись на письмо Железновой-Бергельсон, приглашает ее к себе и со слезами на глазах уверяет, что ничего не знает о судьбе ее матери, но найдет, непременно найдет концы, – а через 30 лет мемуаристка увидит подпись Чепцова на смертном приговоре матери... Выразительны и страницы, посвященные Илье Эренбургу, – пожалуй, только Голда Меир в своих мемуарах нарисовала более уничтожающий портрет советского классика.

Две другие книги, о которых пойдет речь, с воспоминаниями Железновой-Бергельсон так или иначе «рифмуются». В середине 1950-х дочь Мирры Железновой выходит замуж за двоюродного внука бывавшего у них в доме и расстрелянного двумя годами позже ее матери поэта Давида Бергельсона. В связи с «делом идишских поэтов» мемуаристка упоминает и Давида Гофштейна – его арестовали в Киеве первым. Гофштейн был родственником бывшего саратовского филолога, а ныне жительницы Ришон-ле-Циона Рахели Лихт. О нем, в числе других, идет речь в ее книге, вышедшей в серии «Библиотека Иерусалимского журнала»^[4] и посвященной памяти Леви Гофштейн – дочери поэта, ангела-хранителя семьи Лихт после их репатриации.

Но книга Лихт не привязана к какому-то одному герою, в ней нет персонажей центральных и второстепенных. Легендарный Давид Гофштейн и почти забытый Давид Ройхель, дед мемуаристки, теоретик перевода и сам переводчик на идиш русской прозы от Пушкина до Пильняка, здесь равноправны как члены одной большой семьи – по сути единственного героя «Семейных свитков».

А семья действительно большая – генеалогические схемы, приложенные к книге, включают больше полутора сотен имен – и, как полагается настоящей еврейской мишпухе, прореженная историей XX века, разбросанная ее катаклизмами по разным странам и континентам, от Израиля до Средней Азии, от Польши до Аргентины. Удивительно в этой книге прежде всего то усилие коллективной памяти, благодаря которому все эти люди, многие из которых были не знакомы между собой и зачастую даже не подозревали о существовании друг друга, оказались собраны на одних страницах как в общем доме. Удивительно, что после всех трагедий, катастроф, эвакуаций, когда гибли не только люди, но и семейные архивы, и фотографии, и даже имена, такой дом оказывается все же возможным построить.

Мемуары Эфраима Холмянского^[5], и стилистически, и содержательно не имеющие практически ничего общего с книгой Железновой-Бергельсон, читаются тем не менее как ее прямое продолжение. Холмянский рассказывает о том, как через два десятилетия после окончательного, казалось бы, разгрома еврейской культуры в СССР началось еврейское возрождение, как сам он во второй половине 1970-х (тогда его звали еще Александром) вошел в это движение, стал преподавателем иврита, активистом алии, а потом узником Сиона.

Книга его делится на две почти равные части. Первая посвящена истории изучения иврита в СССР в 1970–1980-х годах, когда за несколько лет то, что начиналось с одного-двух человек (Холмянский называет этих «первопроходцев»: Моше Палхан и Владимир Шахновский), превратилось в разветвленное движение, охватывающее десятки учителей и сотни учеников в одной Москве. Однако за пределами Москвы и Ленинграда иврита по-прежнему не существовало – знавшие язык синагогальные старики не собирались переqualificироваться в педагогов, а молодых преподавателей попросту не было. Холмянский вместе с двумя Юлиями – Кошаровским и Эдельштейном – взял на себя организацию всесоюзной сети: поездки в провинцию, летние лагеря, снабжение учителей в регионах необходимыми пособиями.

Дотошность Холмянского-мемуариста, его пристрастие к деталям и подробностям делают его книгу, несмотря на неизбежные мелкие ошибки памяти, источником первостепенной важности для любого историка, который возьмется изучать отказническую среду или просто еврейскую жизнь в Советском Союзе в описываемый период. Автор дает развернутые характеристики региональных общин и активистов: Душанбе, Самарканд, Одесса, Тбилиси, Ереван (едва ли не единственный город в Союзе,

где местные власти сквозь пальцы смотрели на занятия ивритом). Он описывает разные тактики поведения на допросах, приемы гэбэшных провокаций, слежку, систему конспирации, каналы поступления и передачи информации за рубеж, зоны ответственности тех или иных неформальных лидеров движения, два лагеря: «культурников» и «политиков»...

Вторая половина книги – это рассказ о пребывании автора в тюрьме и на зоне. Поводом к аресту послужил нелепый инцидент: Холмянский вскрыл почтовый ящик в эстонском поселке, где находился еврейский летний лагерь, – одна из участниц группы, забыв о конспирации, написала родным письмо, и его нужно было срочно вернуть, чтобы не рассекретить свое местоположение. Пока он дожидался суда по обвинению в хулиганстве, в его московской квартире был проведен обыск, в ходе которого «нашлись» вальтер и четыре десятка патронов к нему. Но дальше началось непонятное: номер пистолета не был внесен в протокол обыска, в итоге оружие из дела выпало, и на суде фигурировали только патроны. В итоге приговор – полтора года заключения – оказался даже по относительно вегетарианским позднесоветским меркам мягче мягкого.

Практически весь период следствия и значительную часть лагерного срока Холмянский держал протестную голодовку, подвергался принудительному кормлению (в какой-то момент его вес упал до 42 килограммов), пять с половиной месяцев провел в карцерах. Все это время в мире шла кампания за его освобождение, в которой принимали участие самые разные люди – от рядовых энтузиастов до Маргарет Тэтчер и Джорджа Шульца. В начале 1986-го Холмянский вышел из лагеря, а еще через два года прилетел в Израиль. Такой вот хеппи-энд.

Эти четыре книги, достаточно случайно попавшие мне в руки в одно и то же время, тем не менее сами собой сложились в своего рода узор, пазл. Они цепляются одна за другую, дополняют, спорят друг с другом – об ассимиляции и возвращении к истокам, об идише и иврите, о коммунизме и антикоммунизме, о России и Эрец-Исраэль. Взятые вместе, эти книги напоминают, что закончился очередной век истории русского еврейства – век, который вместил в себя больше, чем любой другой, век, который начинался с ухода еврейских юношей и девушек в революцию и закрытия синагог и завершился борьбой их внуков за репатриацию и песнями за субботним столом в поселениях.

[1] Кучерская М. Художник пишет лучше. Ведомости. 2010. 8 июня.

[2] Рафалов М. Футбол оптом и в розницу. М.: Вагриус, 2006.

[3] Железнова-Бергельсон Н. Мою маму убили в середине XX века. М.: Московское бюро по правам человека; Academia, 2009.

[4] Лихт Р. Семейные свитки. Иерусалим, 2009.

[5] Холмянский Э. Звучание тишины. Иерусалим, 2007.

А.Б. Иегошуа:

**«Израиль не Восток и не Запад, это
Средиземноморье»**

Аאאאא אאאאא א אאאאא אאאאא אאאאא

Авраама Були Иегошуа чаще называют Алеф Бейт – по инициалам, совпадающим с первыми буквами ивритского алфавита. В таком именовании звучат восхищение и признание заслуг – целому поколению израильтян А.Б. Иегошуа по сути и впрямь заменил азбуку. Наряду с Амосом Озом и Меиром Шалевом он входит в тройку признанных лидеров современной израильской литературы. Его рассказы, повести, романы и эссе переведены на 28 языков.

Несмотря на то что Иегошуа, в отличие от Оза и Шалева, не имеет русских корней, он неоднократно приезжал в Россию. Очередной визит, инициированный Израильским культурным центром в Москве, состоялся в середине мая. Перед самым приездом писателя совместными усилиями издательств «Мосты культуры / Гешарим» и «Лимбус Пресс» увидел свет русский перевод одного из самых известных его романов – «Возвращение из Индии» (см. о нем и о других произведениях Иегошуа статью Давида Гарта: Лехаим. 2009. № 1).

Во время пребывания прозаика в Москве корреспондент «Лехаима» встретился с ним и поговорил о его литературной генеалогии, отношении к критикам и нелюбви к диаспоре.



А.Б. Иегошуа. Москва. Май 2010 года

– По-русски вышли шесть ваших романов из девяти. Какой из трех оставшихся вы хотели бы видеть следующим?

– Наверное, «Освобождающую невесту». Это роман, рассказывающий о проблемах, возникающих внутри палестинского общества, и о проблемах с палестинцами в Израиле.

– Ваши книги издавались по-русски не в том порядке, в каком они писались и выходили на языке оригинала. Это важно? Между ними есть внутренняя логическая связь?

– Нет, абсолютно неважно. Так было удобнее переводчикам и издателям – и прекрасно.

– Критики иногда пишут, что ваши романы – это сугубо мужская рефлексия, где женщинам нет места. В связи с этим вы даже подвергались атакам из феминистского лагеря. Что бы вы могли ответить своим обвинителям?

– Я думаю, что дерзновенная задача каждого писателя-мужчины – создать совершенный женский образ. И я безусловно нахожусь на пути к этому. Что же до критикесс-феминисток, то я посоветовал бы им обратить свои стрелы против тех писательниц из их лагеря, которые пишут только о женщинах, игнорируя мужчин.

– **Во многих ваших романах герои совершают путешествие – реальное либо метафизическое. Чаще всего это путешествие между Востоком и Западом, причем в этой оппозиции Израиль оказывается попеременно то тем, то другим. Чего все-таки в Израиле больше?**

– Израиль не Восток и не Запад, это Средиземноморье, то есть нечто совершенно иное. Средиземноморье – это то пространство, где Израиль должен чувствовать себя на месте. Это Северная Африка, Египет, Южная Италия, Греция – то есть колыбель цивилизации, культуры, колыбель эллинизма, родина всех религий: иудаизма, христианства, ислама. Если мы сумеем найти себя в этом межнациональном пространстве, сумеем быть не Востоком, не Западом, а именно Средиземноморьем, то обеспечим свое будущее. Нам не надо подражать Америке или Европе, наше место здесь.

– **В романе «Смерть и возвращение Юлии Рогаевой» описывается некая условная христианско-мусульманская страна – родина героини. Насколько в этом описании воплотились ваши реальные впечатления от России или каких-то ее регионов?**

– Вопрос не в том, откуда она вышла, а в том, куда пришла. Она пришла в Иерусалим. Я вспоминаю последнюю главу «Преступления и наказания», когда Раскольников идет сознаваться в совершенном преступлении и на улице падает. И прохожие начинают обсуждать, почему он упал: один говорит, что он пьян, другой говорит: он идет в Иерусалим. Я читал Достоевского еще в том Иерусалиме, который был разделен на израильский и иорданский, и это место очень ясно запечатлелось в моей памяти. Я тогда понял, что статус Иерусалима куда выше, куда серьезнее, чем у обычного города... Если вы помните, мать Юлии Рогаевой говорит: верните ее в Иерусалим, потому что она принадлежит Иерусалиму. То есть речь идет не о ее посмертном возвращении на родину, а именно о ее возвращении в Иерусалим.

– **И все-таки: значительная часть действия романа происходит в той самой условной Татарии, которая описывается весьма детально. Вы имели в виду какую-то конкретную местность?**

– Нет-нет. Скажем, в «Возвращении из Индии» я изображал Индию, хотя никогда там не был. В своем воображении ты всегда можешь уловить суть места куда точнее, чем зарисовывая с натуры. В истории литературы есть много примеров, когда люди выдумывают ту или иную местность, не побывав там, и описание от этого только выигрывает в реализме. Пример – булгаковский Иерусалим.

– **В «Путешествии на край тысячелетия» выведены культурные сефарды и малосимпатичные варвары-ашкеназы. Что это: полемика с нынешним «ашкеназоцентричным» Израилем, попытка представить упущенную альтернативу его развития?**

– Тысячу лет тому назад 93% евреев жили в исламском мире, и только 7% – в мире христианском. Как получилось, что еврейство, не имея какого-то высшего начальства, общего руководящего органа, все-таки сохраняло единство? И как вышло, что эти 7% заставили всех остальных принять свою позицию? Я думаю, дело в том, что позиция меньшинства была куда более морально цельной, поэтому она победила. Вот то, что я хотел показать в первую очередь: единство народа, единство существующих в нем подходов к решению тех или иных проблем и умение слушать друг друга. «Путешествие на край тысячелетия» – это история о том, как разные общины средневековых евреев

согласовывали алахические, языковые, культурные коды. То есть речь не о борьбе, а, напротив, о диалоге.

Если же говорить о противостоянии двух образов жизни – восточного и ашкеназийского, то об этом рассказывается скорее в моем романе «Господин Мани». Там всякий раз, когда возникает некая дилемма, герой-сефард показывает, как можно ее решить исходя из его культурных установок.

– Вы известны своим «антидиаспорным» пафосом – или, может быть, корректнее назвать это «израилецентризмом». Можно ли сказать, что, с вашей точки зрения, после образования Израиля диаспоры потеряли свое значение, или, если это преувеличение, то какова их роль сегодня?

– Видите ли, я же не придумал здесь ничего нового. Откройте сидур, и вы увидите, как евреи жалуются, что диаспора – это плохо, что мы наказаны рассеянием за наши грехи, и так далее. Мое отношение коренится в том, что было написано религиозными людьми задолго до меня. Одна из самых страшных вещей, произошедших с еврейским народом, – это изгнание со своей земли. Прямым следствием этого стал Холокост, когда треть всех евреев были уничтожены не из-за территориальных, имущественных или религиозных претензий, а единственно потому, что они были в изгнании и не могли себя защитить.

Гершом Шолем сказал, что сионизм – это возвращение евреев в историю после без малого двух тысячелетий внеисторического галутного существования. Я не призываю всех евреев немедленно приехать в Израиль, но диаспора сама должна видеть в Израиле центр притяжения.

Кроме того, давайте посмотрим на факты: миллион евреев, приехавших из России начиная с 1980-х, заставили палестинцев признать наконец Государство Израиль – признать единственно из-за такого резкого и неожиданного прироста населения. Эта алия стала для арабов моральным ударом, они испугались.

– В связи с вашим творчеством критики обычно называют имена Кафки и Агнона. Вы согласны? И кого вы сами можете назвать среди писателей, повлиявших на вас?

– Агнона и Фолкнера. Агنون – это наш Пушкин, наш Флобер, наш Бальзак. Амос Оз, Аппельфельд – все писатели моего поколения взяли что-то от Агнона. Это наш литературный дед, ориентация на которого помогла нам отстраниться от поколения наших отцов-соцреалистов эпохи Войны за независимость.

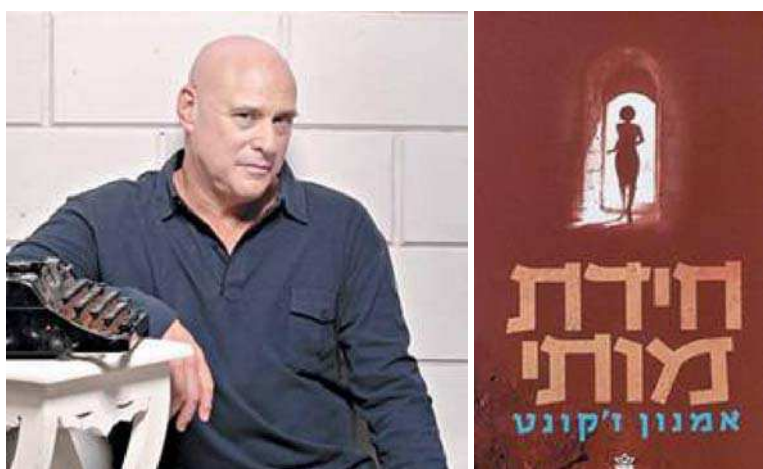
Кроме того, Агنون – это пример преодоления традиционного в еврейском мире раскола между искусством и религией, раскола, существующего до сих пор. Не секрет, что иудаизм плохо совместим со светской культурой. Прорыв в искусстве начался в нашем обществе только после отхода значительной части евреев от религии. Агنون заставил религию и искусство встретиться – и это единственная в своем роде встреча.

Что до Фолкнера, то он научил меня многоголосию повествования. К тому времени, когда я начал писать романы, к середине 1970-х годов, Израиль разделился, и уже не было какого-то одного голоса, о котором можно было бы сказать: «Это Израиль». Фолкнер помог мне организовать хаос голосов в гармонию романа. Мой первый роман, «Любовник», написан после того, как я прочел «Свет в августе».

ЗАГАДКА ЕГО СМЕРТИ

Àéà à Dèi íí

Мифы – подспудные силы, направляющие развитие культуры к расцвету или к гибели, – проявляются на всех ее уровнях. Такой почти не прикрытый миф лежит в основе сюжета приключенческого романа израильского писателя Амнона Жаконта «Хидат моти» («Загадка моей смерти»), который вышел в издательстве «Кетер» в самом конце 2009 года. Конечно, нехорошо пересказывать триллер в журнальной рецензии, но, думаю, читатели не будут в обиде, поскольку русский перевод выйдет еще нескоро.



Но вначале несколько слов об авторе. Амнон Жаконт в юности изучал юриспруденцию, но несколько лет назад, будучи уже весьма популярным израильским писателем, автором многочисленных романов и рассказов, поступил на первый курс исторического факультета Тель-Авивского университета и не так давно защитил диссертацию. Профессиональное знание истории и близкое знакомство с реалиями израильской академической жизни сильно ощутимо в «Загадке моей смерти». Роман изобилует чудесными описаниями Тель-Авива и в особенности Иерусалима и окрестностей Старого города. Жаконту удалось передать атмосферу этих мест, их историческую ауру. К тому же мастерски построенный сюжет, уверенно выписанные диалоги... В общем, прочитать стоит.

Вкратце интрига романа такова. В руки историка Гидеона Лурия, профессора Тель-Авивского университета, попадает древняя плита с изображением вавилонской богини, состоящая из двух каменных слоев, между которыми обнаруживается чудом сохранившийся лист пергамента, покрытый для сохранности каким-то странным составом, похожим на воск. Коллега по университету, новая репатриантка Светлана, которую Лурия просит помочь очистить пергамент (как все «русские», она готова на любую работу), через несколько часов умирает от удушья – оказывается, к воску был подмешан смертельный яд. Светлана – первая жертва пергамента, за ней последуют другие.

Теперь Гидеон может прочесть текст, начертанный на пергаменте. Это послание, под которым стоит подпись Гедальи бен Ахикама – того самого Гедальи,

который после разрушения Первого храма был назначен управителем остатков еврейского населения Иудеи и пытался навести порядок в истерзанной и разгромленной стране. Это ему не удалось: вскоре он был убит одним из политических соперников, после чего надежда на восстановление государства стала еще более призрачной (но не увяла совсем – через несколько столетий остатки евреев вернулись из вавилонского плена и отстроили Храм и государство). В память Гедаля был установлен специальный пост, который верующие евреи соблюдают до сих пор.

Так вот, письмо, написанное Гедалей в предвидении скорой гибели, адресовано его будущему преемнику и содержит намек на то, что Гедаля называет «хидат моти» – «загадка моей смерти». Эта загадка связана с другой – с тем местом, где, как явствует из письма, Гедаля спрятал некоторые из храмовых сокровищ. Известно (или, по крайней мере, считается), что священники успели спрятать сокровища Первого храма где-то в недрах Храмовой горы, и с тех пор их местонахождение неизвестно. Гедаля, как явствует из послания, вынес из обреченного Храма только один предмет – хошен, тканый нагрудник первосвященника, украшенный двенадцатью драгоценными камнями, на каждом из которых было вырезано имя одного из колен Израиля. Сосредоточившись на сиянии этих камней, священник мог в пророческом вдохновении получить ответ на важнейшие вопросы, касавшиеся народа Израиля (например, следует ли начинать войну и как ее вести).

Послание Гедаля содержит десять загадок, разгадка которых должна привести к тайнику, где спрятан хошен (наконец-то израильские литераторы приняли вызов Дэна Брауна). Разгадать эти загадки может только человек, который досконально знает топографию Иерусалима, наизусть помнит библейские книги Шмуэля и Млахим и превосходно разбирается в истории и мифологии Ближнего Востока.

Кто же может соответствовать этим требованиям, как не профессиональный историк Гидеон Лурия? Но в том-то и дело, что одного профессионализма тут недостаточно. Расшифровка послания завораживает Гидеона, он ни с кем не хочет делиться этими чарами и меньше всего готов поставить их в рамки обыкновенного научного исследования. Кафедра, коллеги, университетские склоки... Ни за что! В погоне за разгадкой он расстаётся с любовницей, ставит под угрозу свой университетский статус, опустошает банковский счет, портит отношения с сотрудниками и с дочерью-подростком – в общем, неуклонно разрушает свою жизнь. Ученики, вместе с которыми он начинал поиск, один за другим уходят или умирают. Но он упрямо и одержимо идет к своей цели.

Гидеон достаточно честен с самим собой, чтобы признаться: поиск хошена – это единственное, что есть у него в жизни. Больше ничего нет. Его сознание свободно от всякого пафоса, от всякой идеологии и, в конце концов, – от всякого смысла. Верующие люди вызывают у него недоверие и отвращение. Разгадывая послание Гедаля, Гидеон все ближе подходит к разгадке его личности и начинает понимать, что они двойники. Почему Гедаля, зная, что его собираются убить, не приказал усилить охрану или схватить убийцу? Потому что он был точно такой же отчаявшийся человек – этаким библейский экзистенциалист.

Две группы отслеживают поиск Гидеона – арабы и харедим (по-русски их иногда называют «ультраортодоксы», что не совсем точно). И те, и эти – другие, чужие и непонятные светскому интеллигентному израильтянину. Но эти другие – разные. Арабы – горячие, простодушные, симпатичные и благородные, и это, пожалуй, все, что о них можно сказать, поскольку они очерчены неясно. Харедим же изображены в полном соответствии с карикатурными штампами: отвратительные и смешные, но в то же время

коварные и опасные. У их агента, который связывается с Гидеоном и предлагает ему помощь и поддержку – что угодно, лишь бы тот нашел хошен, – говорящая фамилия Эрзац. Религия, с точки зрения автора романа, предлагает эрзац духовности и смысла. Гидеон гнушается такими союзниками.

К тому моменту, когда Гидеон подбирается к последней разгадке, слухи о близящейся находке просачиваются в Интернет. Толпы молящихся разных конфессий собираются вокруг источника Шилоах, где вот-вот должно совершиться величайшее открытие – ведь находка хошена может означать возвращение пророчества и скорое восстановление Храма. Машина, которую нанял неугомонный Эрзац с согласия правительственных археологов, уже начинает долбить скалу. Тысячи глаз устремлены на Гидеона, полиция и секретные службы сторожат каждый его шаг. Но ему удается ускользнуть – он уходит с места раскопок и пробирается к подъему на Храмовую гору, где назначил ему встречу араб Висам, его бывший докторант. Друзья Висама отпирают недоступную для любого еврея дверь в подземелье, ведущее в тайные переходы под Храмовой горой. Гидеон приходит к заветному месту по подземным туннелям в то время, когда глупые ортодоксы напрасно ждут его наверху. И вот он, заветный миг! Гидеон держит в руках хошен – и в следующую секунду швыряет его в подземную пропасть. И видит, как хошен, падая в бездну, безвозвратно распадается на камешки и волокна ткани...

Но как? Почему? Каким образом ученый мог совершить подобный акт вандализма? В романе это психологически оправдано, более того, нет сомнения, что автор не только идентифицируется со своим героем, он им любит. Внутренняя логика, которая приводит историка к уничтожению священной реликвии, выведена в романе безукоризненно. Только он один, Гидеон Лурия, интеллигент, рационалист и атеист, способен сохранить трезвый разум среди всеобщей бури эмоций и коллективного умопомешательства вокруг хошена. Он не желает, чтобы кто бы то ни было – будь то правительство, государство, университетские круги или мессианские фанатики – испортил его одинокий праздник и использовал открытие в своих пропагандистских целях. Он презирает их всех и не подвергает сомнению свое право сделать с хошеном все, что ему заблагорассудится, – тем более что это право подкреплено его внутренней связью с великим предшественником и двойником Гедальей.

Из неожиданной и в то же время логичной развязки становится понятно, почему арабы в романе Жаконта гораздо симпатичнее харедим. Арабы отрицают историческую связь израильтян со Страной Израиля и считают сионистов захватчиками. Напротив, даже те группы харедим, которые не согласны с идеями сионизма, не подвергают сомнению святость Страны Израиля для еврейского народа. Вот почему союзниками постсионистского интеллигента могут быть только арабы. Ведь Гидеон разыскивает хошен не ради научной славы, денег или грантов, не ради доброго имени своей кафедры и университета и уж конечно не из патриотизма, а только для себя. Только отчаянный поиск на грани саморазрушения придает вкус его эфемерному существованию. Хошен сам по себе не имеет для него никакой ценности. Да и какой толк от хошена в отсутствие Храма? Кто-нибудь другой (например, религиозный еврей или христианин-евангелист), может быть, попытался бы сберечь хошен для будущего, в котором – кто знает? – разрозненные остатки народа Израиля, вернувшиеся из изгнания, воссоединятся и отстроят Третий храм. Кто-нибудь – но только не университетский профессор. Ведь в любой мессианской утопии такому, как он, не может быть места, а стало быть, и она ему не нужна. Как говорил один герой Достоевского: «Свету ли провалиться или вот мне чаю не пить?»

Неудивительно, что араб Висам помогает Гидеону найти хошен – он ведь хорошо знает своего учителя. Интеллектуал этого типа может сколько угодно рассуждать о демократии, о либеральных ценностях, о равенстве и братстве, о праве каждого гражданина на выбор. Но в решительный момент он принимает решение один и сам для себя, а не для всех. До всех ему дела нет. Его решение разрушительно по определению – ведь сам он ничего создать не способен, да и не стремится. Примечательно также, что у этого интеллектуала не возникает и тени сомнения в том, что такое толкование истории и текста, которое закономерно приводит историка к чудовищному уничтожению хошена (чем бы его ни считать: священной реликвией или бесценным артефактом), – самое правильное. Единственно правильное.

Блокбастеры, дамские романы и триллеры существуют отнюдь не только для того, чтобы дать читателю отдохнуть от проблем. То есть, наверное, пишутся они прежде всего для этого. Но в качественной массовой культуре находит свое наивно-откровенное выражение миф, который в более изысканных культурных сферах завернут в многочисленные оболочки. Да, в романе Жаконта выражена мифология, которую некоторые почему-то считают нерелигиозной. Нравится ли она вам?

ЗАКЛЯТИЕ

Аади аади І аеаи оа

Фогель, писатель, получил от Гэри Симсона, будущего писателя, очередное письмо, и как всегда с просьбой. Тот писал прозу, но имени еще не заработал. Из уважения к коллегам Фогель обычно хранил их письма, однако искушение не включать в этот список Симсона было велико, несмотря на то что он уже начал публиковаться. Я не считаю себя его наставником, хотя он и называет себя моим учеником. А чему я его, собственно, научил? Все-таки он положил письмо в одну из папок. Ведь прежние его письма я сохранил, подумал он.

Эли Фогель был писателем не хуже многих, однако не особенно «удачливым». Слово это он недолго любил. Темп его работы был ограничен медлительностью походки – наслаждаться жизнью приходилось, преодолевая одышку. За пятнадцать лет – две с половиной книги, из которых половина – тоненькая книжечка малозначительных стихов. Хромота моя символична, думал он. Ногу он повредил в юности – упал с велосипеда, впрочем, в нарастившем ботинке хромота была заметна гораздо меньше, чем когда он ковылял босиком. Он шел по жизни с трудом, потому что ему многого не хватало. Например, Фогель жалел, что так никогда и не женился, и все из-за того, что целиком отдавал себя работе. Одно другого вовсе не исключает, но, по мне, либо что-то одно, либо – ничего. Он был в некотором роде маньяк. Жизнь это упрощало, но и обедняло. И все же жалостью к себе он не мучился. Фогеля, пожалуй, даже забавляло то, что героями обоих его романов были мужчины женатые, обремененные семьей, и причиной их мук были не увечные члены и не неизбежное одиночество. Меня выручает богатое воображение, думал он.

Оба романа хвалили, но денег они не принесли; последние шесть лет он трудился над третьим и написал больше половины. Поскольку строчить рецензии, читать лекции и постоянно преподавать он отказывался, с деньгами у него часто бывало туго. К счастью, он получил от отца небольшое наследство – выходило около пяти тысяч ежегодно, но из-за инфляции сумма эта покрывала все меньше расходов, поэтому Фогель хотя и неохотно, но принимал приглашения поработать в летних школах или же преподавал, преодолевая раздражение, на писательских семинарах, раза два за лето. Этих денег ему кое-как хватало.



На одном из таких семинаров, в июне в Буффало, писатель познакомился, а в середине августа того же года в кампусе маленького колледжа в Уайт-Маунтинс почти подружился с Гэри Симсоном, тогда он был чуть ли не вдвое моложе Фогеля; дружбой это можно было назвать с натяжкой, она была поверхностной и ненадежной, но некоторое время вполне Фогеля удовлетворяла – так сказать, имела некоторые признаки и задатки дружбы.

Гэри, с блеском в глазах слушавший рассуждения Фогеля о писательском ремесле, однажды со всей серьезностью признался, что «больше всего на свете» и даже «отчаянно» мечтает стать писателем, – от этого отчаяния Фогеля бросило в дрожь, и он минут пятнадцать приходил в себя. Он сидел в кабинете и подавленно молчал, а юнец беспокойно ерзал на стуле.

- К чему такая спешка? – спросил наконец писатель.
- Я непременно должен этого добиться, – ответил юнец.
- Чего именно?
- Я, мистер Фогель, хочу стать когда-нибудь хорошим писателем!

– Это долгий путь, мой мальчик, – сказал Эли Фогель. – Подружись со временем. И беги отчаяния. Предающиеся отчаянию становятся плохими писателями – они лишь это отчаяние сеют.

Он усмехнулся почти по-доброму. Гэри кивал с таким видом, будто получил свой самый главный в жизни урок. Гэри, старшекурсник двадцати двух лет, был кудряв, с широким тяжелым лицом и такой же фигурой. Когда он появился на семинаре в Буффало, он носил пышные рыжеватые усы, окаймлявшие толстогубый рот. Познакомившись с Фогелем, он их сбрил, а к концу лета отрастил снова. Ростом он был метр восемьдесят и из-за своих габаритов казался если не мудрее, то уж точно старше. После беседы с Фогелем он некоторое время делал вид, будто относится к своему творчеству более взвешенно. Он немного подражал Фогелю, и Фогеля это забавляло. Прежде у него не было учеников, и он привязался к юноше. Тот внес в его жизнь некоторое разнообразие. Гэри с его желтой гитарой было видно издалека. Играл он кое-как, но пел вполне прилично, почти профессионально, тенором.

– Спойте «Очи черные», Гэри, – просил Фогель, юноша исполнял его просьбу, на писателя накатывала сладкая грусть, и он думал о том, каково было бы иметь сына. Едва звучал первый аккорд, у Фогеля слезы на глаза наворачивались. Гэри не только окружил его вниманием, но и исполнял поручения: приносил Фогелю книги из библиотеки, возил в город по делам, его можно было послать за записями к лекции, забытыми в комнате, – словно это была плата (которой, впрочем, Фогель не требовал) за право сидеть у его ног и мучить вопросами о мастерстве писателя. Фогель, растроганный обходительностью и тем, что ему еще предстояло узнать, как печальна жизнь писателя, приглашал его, обычно вместе с кем-нибудь из его друзей, к себе выпить аперитив перед ужином. Гэри приносил с собой пухлый блокнот, куда записывал застольные беседы Фогеля. Он показал ему первую вписанную им фразу: «Воображение не обязательно есть игра подсознания» – прочитав ее, писатель натужно засмеялся, чтобы скрыть неловкость. Гэри тоже засмеялся. Фогель считал, что делать записи глупо, однако не возражал, когда Гэри заносил в блокнот целые пассажи, хоть и полагал, что вряд ли может поведать ему что-нибудь мудрое. В творчестве он был мудрее – как любой, кто многое переосмысливает. Уж лучше бы, думал он, Гэри искал ответы на вопросы в его книгах и не почитал беднягу Фогеля за гуру.

– Ни к чему разбирать писателя по винтику – все равно не поймешь, что такое творчество и куда оно ведет. Учатся люди на опыте, во всяком случае, должны учиться. Гэри, я не могу ни из кого вырастить писателя – я говорил об этом в лекциях. Я могу лишь рассказывать о том, чему научился сам, в надежде, что меня услышит кто-то действительно талантливый. Я всякий раз раскаиваюсь в том, что езжу на эти семинары.

- Но у вас же бывают озарения.
- Озарения и у вашей мамы бывают.
- Тогда спрошу напрямик: какого вы мнения о моих работах, сэр?

Фогель задумался.

- Задатки у вас есть, а больше я пока ничего не могу сказать. Пишите.
- А на что бы вы посоветовали обратить внимание?

– На те возможности, которые можно извлечь из факта – внутри него, снаружи и по ту сторону. Когда я читал ваши рассказы, два в Буффало и один здесь, у меня создалось впечатление, что у вас многое основано на воспоминаниях и построениях. Память – отличная приправа, но из нее одной каши не сварить. И не допускайте весьма распространенной ошибки, не пытайтесь строить свою жизнь как роман. Побольше выдумки, мальчик мой!

- Непременно это учту, мистер Фогель. – Вид у него был озабоченный.

Фогель читал лекции четыре раза в неделю, с восьми тридцати, чтобы остаток дня посвящать работе. У него была светлая просторная комната в гостевом домике рядом с сосновым бором; работая за шатким столиком у занавешенного окна, он вдыхал аромат хвои, там было прохладно даже в жару. Работал он ежедневно, по воскресеньям – полдня, обычно часов до четырех, затем нежилась в крохотной облупленной ванне, затем, насвистывая, неторопливо одевался в белый фланелевый костюм, служивший ему уже пятнадцать лет, и ждал, уткнувшись носом в книгу, не заглянет ли кто-нибудь пропустить

стаканчик. Последнюю неделю в Уайт-Маунтинс они с Гэри виделись каждый вечер. Несколько раз ездили в город в кино, порой гуляли после ужина у реки, и юноша то и дело останавливался – записывал в блокнот изречения Фогеля, и зерна, и плевелы. Гуляли, пока не одолевали комары или Фогеля – его хромота. Он носил пожелтевшую панаму и белые туфли с разновысокими каблуками, которые начищал ежедневно. Даже когда Фогель оживлялся, взгляд его черных, под набрякшими веками, глаз оставался задумчивым. Гэри он слушал сосредоточенно, но слышал не всегда. За последние пару лет он похудел, и белый костюм на нем болтался. Рядом с Гэри он казался еще меньше, хотя и был ниже его всего на семь сантиметров. Как-то раз юноша в приливе то ли энергии, то ли чувств подхватил Фогеля на руки, и у того аж дыхание перехватило. Писатель уставился в переливавшиеся золотыми искорками глаза Гэри и с сожалением отметил, что зеркалом души их не назовешь.



Или же они отправлялись на одышливом «пежо» Гэри в придорожный музыкальный бар в десяти километрах от города, иногда в обществе одного-двух студентов, изредка – с кем-то из коллег, но чаще все же со студентами, и это Фогелю нравилось больше: он любил проводить время в обществе женщин. Однажды вечером Гэри, у которого был талант заводить знакомство с хорошенькими девушками, привел такую прелестную, каких Фогель прежде не встречал. Девушка в алом платье, лет двадцати пяти, с мелированными волосами – темные пряди вперемешку с вытравленными светлыми, длинная талия, пышная грудь, упругий зад, – прелесть что за девица. Одним словом, редкий экземпляр, однако юноша сидел мрачный и безучастный – перебрал, что ли, – и внимания на нее почти не обращал. Время от времени он бросал на нее взгляды, словно пытался вспомнить, откуда она взялась. Она с грустным видом пила скотч со льдом и, закусив губу, наблюдала за тем, как он скользит рассеянным взглядом по танцующим парам. Как жаль, что она и не догадывается о том, как она мне нравится, думал Фогель.

Где он только находит столько симпатичных девушек – в Буффало ему сопутствовал такой же успех – и почему никогда не появляется ни с одной из них дважды? С этим небесным созданием в алом платье я бы согласился провести полжизни. Надо признать, вкус на женщин у юноши оказался отменный, но они, похоже, скоро ему надоедали, и он начинал неприкрыто скучать, хотя, по слухам, вел активную гетеросексуальную жизнь. Уж слишком у него их много, и слишком быстро он их меняет, а ведь томиться, маяться – это необходимый опыт. Откуда иначе взяться поэзии? Она слишком хороша для него, подумал он, сам точно не зная почему, – потому разве, что

хороша для него. Ах, юность, ах, лето! И он в который раз серьезно задумался – не жениться ли? В конце концов, сорок шесть – это не так уж и много, во всяком случае, еще не старость. Впереди еще добрых лет двадцать пять, тридцать – чтобы построить семейную жизнь, вполне достаточно.

Только вот на что?

Фогель пригласил с собой одну учительницу из его же группы, некую мисс Рудель с Манхэттена, незамужнюю, но с чувством юмора; к тому же она относилась к своим литературным экзерсисам без излишней серьезности, чем выгодно отличалась от безумных дамочек, которых на семинаре было в избытке. Однако, приглядевшись к ней, решил сначала, что чего-то в ней не хватает, затем – что скорее не хватает в нем самом.

Возможно, из-за сексуальных флюидов, которыми был пронизан вечер, он вспомнил Люси Мэттьюз, одну из безумных дамочек-писательниц, посещавшую сейчас его лекции. С неделю назад, проглядев целую кипу ее ужасающих рассказов, результат ее трудов за прошлый год, он сказал ей напрямик:

– Мисс Мэттьюз, не стройте иллюзий: плодovitость таланта не заменяет. – Она только тихонько охнула и хрустнула пальцами одной, затем другой руки, а он продолжал: – Если вы решили таким образом спасти душу, для этого есть способы и поэффeктивнее.

Дамочка уныло воззрилась на Фогеля – изящная женщина с хорошей фигурой, упругой шеей и тревожными глазами.

– Мистер Фогель, но как же определить меру своего таланта? Некоторые из моих прежних учителей считали, что я пишу неплохие рассказы, вы же считаете меня безнадежной. – Глаза ее наполнились слезами.

Фогель чуть было не смягчил приговор, однако сдержал порыв – поощрять ее было бы не совсем честно. Она жила в Сидар-Фоллз и уже четвертый год ездила летом на семинар. Он снова поклялся, что откажется от семинаров.

Люси Мэттьюз выудила из сумки бумажную салфетку и тихонько плакала – ожидала, что ли, вдруг он ее как-то обнадежит, однако писатель сидел молча – утешить ее ему было нечем. Она встала и торопливо вышла.

Но в тот же вечер, в десять часов, Люси, одетая в выходное платье из тафты, с тщательно уложенной прической, благоухающая, постучала в дверь Фогеля. Он удивился, пригласил ее войти, она молча сделала три глотка виски с водой, после чего стащила через голову шуршащее платье и предстала перед ним обнаженной.

– Мистер Фогель, – страстно прошептала она, – вы не боитесь говорить правду. Ваша работа – искусство в полном смысле слова. У меня такое чувство, что, если я прильну к вашей груди, я стану ближе к искусству и к правде.

– Это не так, – ответил Фогель, борясь с ощущением, что он попал в рассказ Шервуда Андерсона. – Честно говоря, я бы с удовольствием с вами переспал, но вовсе не по тем причинам, которые вы назвали. Если бы вы сказали «Фогель, ты, конечно, странный тип, но сегодня ты меня завел, и я хочу заняться с тобой любовью»... Можете так сказать?

– Если вы предпочитаете оральный секс... – сдавленно прошептала Люси.

– Искренне вам благодарен, – сказал он с нежностью. – Я предпочитаю обнимать женщину. Не соблаговолите ли ответить на мой вопрос?

Люси Мэттьюз била дрожь. Наступил прекраснейший миг за все проведенные на семинарах годы.

– По правде говоря, так я сказать не могу.

– Что ж, очень жаль, – вздохнул Фогель. – Однако я польщен тем, что вы сочли возможным разоблачиться в моем присутствии.

Она натянула валявшееся у ее ног платье и испарилась. Фогель об этом искренне сожалел, поскольку единственная женщина, с которой он переспал за лето, юная горничная из отеля в Буффало, где он останавливался в июне, нанесла ему жестокий удар.

– Мистер Фогель, вы о чем-то задумались? – спросил его Гэри.

– Так, пустяки, – ответил Фогель.

– Наверняка придумали тему для рассказа.

– Может, что и выйдет.

Когда семинар закончился, Гэри, ждавший Фогеля у павильона, где проходили лекции, чтобы отвезти его на вокзал, спросил:

– Мистер Фогель, как вы думаете, из меня выйдет настоящий писатель?

– Все зависит от вас. От того, как вы себя проявите.

– Я буду стараться, но мне очень важно, чтобы вы в меня верили.

– Даже если я не буду в вас верить... В конце концов, кто такой Эли Фогель – всего лишь человек, пытающийся найти свою дорогу.

Фогель улыбнулся юноше и – сам не понимая почему – не смог подавить порыва и сказал:

– Надо укреплять свой дух.

Юноша жмурился на ярком солнце.

– Я счастлив, что мы с вами оба писатели, мистер Фогель.

Следующей весной, весной дождливой, Фогель, проходя в насквозь промокшем плаще и шляпе по залу периодики Нью-Йоркской публичной библиотеки, случайно снял с полки какой-то университетский журнал и в оглавлении увидел имя Гэри Симсона, он

опубликовал там рассказ под названием «Муки творчества». Он удивился: они с Гэри переписывались, но тот ни словом не обмолвился о своей первой публикации. Может, рассказ был не из лучших? Проглядев его, Фогель убедился: да, не из лучших; впрочем, не упоминал о нем Гэри не поэтому. Истинная причина повергла Фогеля в уныние.

Героем рассказа был некий мистер Л.Е. Вогель, язвительный и эгоцентричный, впрочем, не законченный мизантроп, писатель средних лет, с изуродованной ногой, носивший летом изо дня в день белый костюм с длинноватыми брюками, старомодную соломенную шляпу и один и тот же желтый вязаный галстук. Это был невысокий человек с громким смехом, которого он сам смущался, любивший, несмотря на хромоту, пешие прогулки. Как-то летом он преподавал на писательском семинаре в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Там писатель влюбился в молоденькую студентку, работавшую в гостинице, где он жил две недели, пока читал лекции. Она переспала с ним – ей льстило то, что он автор двух романов. Одного раза ей, однако, хватило, но Вогеля, отведавшего юной плоти, зацепило всерьез. Он влюбился в эту девицу, двадцатилетнюю шлюховатую блондинку, и постоянно донимал ее торжественными предложениями руки и сердца, пока не надоел ей окончательно. Чтобы избавиться от него, она подговорила своего друга открыть отмычкой номер Вогеля и устроить ему какую-нибудь гадость. Вогель принимал, как обычно, ванну перед ужином, когда кто-то заорал: «Пожар! Все на улицу!» Он выскочил из ванны, дружок схватил его за руку и вытолкнул в коридор, после чего захлопнул дверь номера и скрылся. Голый писатель бродил – ни дать ни взять мокрый зверек – по огромному коридору гостиницы, стучался во все двери, которые тут же захлопывались у него перед носом, пока наконец некая пожилая дама не дала ему покрывало, замотавшись в которое он позвонил управляющему и попросил ключ от своего номера. Вогель, чье сердце было разбито – он понял, что все подстроила девица, и догадался почему, – собрал вещи и покинул Сиракузы за неделю до окончания работы семинара.

«Бедняга Вогель дал зарок больше не влюбляться, а продолжать писать».

Так заканчивался рассказ «Муки творчества».

Придя домой, Эли Фогель шваркнул вазочку с нарциссами о кухонный пол и растоптал осколки увечной ногой.

– Свинья! Разве этому я тебя учил?

Злой, униженный (рассказ пробудил воспоминания, и он страдал по двум причинам), Фогель в приступе бешенства проклинал Гэри, призывал на его голову все самые страшные кары. Но здравый смысл все-таки победил, и он ограничился язвительным письмом.

Откуда Гэри узнал подробности? Может, просто наслушался сплетен? Он представил себе девицу и ее кавалера, забавляющих этим рассказом всех, кто проявлял хоть малейший интерес, и визжащих от восторга, когда доходило до описания сатира с волосатой грудью, мокрого и дрожащего, мечущегося по гостиничному коридору. Гэри вполне мог услышать эту историю от них самих или от их друзей. А может, он переспал с девицей, и она ему во всем призналась. Г-споди, неужто это он ее подговорил? Да нет, вряд ли.

Тогда зачем он такое написал? Почему не пощадил Фогеля, зачем напомнил об этом унижении? Впрочем, он явно не рассчитывал, что тот наткнется на рассказ. Суть не в этом, суть в том, что их дружба его не остановила. Так вот какая цена этой дружбе. Сама

мысль о том, что Гэри все лето к нему подлизывался для того, чтобы собрать побольше фактов для своего опуса, была Фогелю омерзительна. А что, утешал себя Фогель, если он услышал об этой истории после семинара в Уайт-Маунтинс и просто не смог устоять? Возможно, он вынашивал «идею» еще летом, но написать решился, когда уже вернулся в Сан-Франциско и в свой колледж. Всего-то и надо было добавить описание его внешности, привести пару-тройку его фразочек, и все – рассказ состряпан и готов для публикации в ежеквартальном университетском альманахе. Быть может, Гэри выразил таким образом свое к нему уважение: отличный писатель, с которым я знаком, предстает перед вами как простой человек. Он не сумел устоять против искушения. Все лето он вел столько бесед о тайнах писательского мастерства, что испытывал острую необходимость немедленно опубликовать что-нибудь свое, неважно что, но свое. Он получил практически готовый сюжет и перенес его на бумагу почти без изменений. Никакой игры воображения, по сути дела почти что мемуаристика.

Когда Фогель решил, что способность к объективной оценке к нему вернулась, он уселся за стол, откуда был виден садик его хозяйки, окунул перо в чернильницу и начал письмо к Гэри: «Поздравляю вас с публикацией первого рассказа, однако не могу сказать, что это событие меня обрадовало».

Лист порвал, а на новом написал:

В вашем рассказе так мало смысла, что остается только удивляться, зачем он был написан. Он свидетельствует о том, на какой отчаянный шаг готов человек, желающий опубликоваться во что бы то ни стало, к чему ведет попытка сотворить из сплетен произведение искусства и походя предать друга. Если этот убогий опус отражает всю силу и глубину вашего воображения, мой вам совет – бросайте писать.

Л.Е. Вогель, как бы не так! Искренне ваш, Эли Фогель.

P. S. Посмотрите в словаре значение словосочетания «муки творчества». Понять это дано не каждому.

Письмо он запечатал, но отсылать не стал. Все мы порой поддаемся дурным чувствам, думал Фогель. И жизнь так коротка. Поэтому он порвал письмо и вместо него отправил открытку с репродукцией картины Пикассо, с шестиликой женщиной, сидящей на ночном горшке.

Дорогой Гэри, я прочел ваше произведение в «СФ Юникорн». Хотел бы похвалить рассказ, но, увы, не могу – он значительно уступает тем, которые я читал прошлым летом и которые вам опубликовать не удалось. Жаль, что мне не представилось возможности написать об Л.Е. Вогеле, уж я бы сумел воздать ему должное.

От Гэри он получил письмо авиапочтой, четыре страницы на машинке через один интервал.

Честно говоря, я немного беспокоился за этот рассказ. С семинара в Уайт-Маунтинс прошло несколько месяцев, а я все никак не мог ничего написать, поэтому, отринув сомнения, пошел по наиболее легкому пути. Могу сказать только, что надеюсь – вы меня простите и забудете об этом. Как только я перечел рассказ в «Юникорне», я понял, что отдал бы все, лишь бы он не попался вам на глаза. Если вы порвете со мной

отношения – искренне надеюсь, что этого не произойдет, – я приложу все силы, чтобы писать лучше, а вас прошу потерпеть. Я постараюсь стать вам настоящим другом.

Недавно я прочел в статье о Томасе Вулфе, что он говорил так: можно писать о людях, которых вы знаете, не следует только называть их адреса и номера телефонов. Как вам, мистер Фогель, известно, мне еще многое предстоит узнать о писательстве, и что есть, то есть. По поводу того, что вы могли бы сделать с тем же самым материалом, отвечу одно: прошу вас, не сравнивайте свой великолепный талант с моими жалкими способностями.

Посылаю вам свою фотографию и фотографию моей нынешней невесты.

В конверт был вложен недодержанный любительский снимок: длинноволосая брюнетка в крохотном бикини сидит на калифорнийском пляже рядом с желтой гитарой Гэри. Откинувшись назад, она смотрит с отрешенным и точно уж несчастливым видом на птицу; время для нее словно остановилось. Вид у нее изможденный и унылый, словно ее уже раз обманули и она решила, что больше на удочку не попадет. Похоже, она отлично усвоила уроки, преподанные ей жизнью. Фогелю она показалась такой непосредственной, милой, доступной, идеально сложенной, что он подумал: вот оно, подлинное произведение искусства, и шумно вздохнул.

Гэри предстал на втором снимке – цветном и передержанном, возможно сделанном самой разочарованной дамой, – в белых плавках, подчеркивавших его солидные гениталии, с мускулистым загорелым торсом; подтянутый, загорелый, стройнее, чем раньше. Он смотрел прямо в объектив, и выражение его глаз плохо сочеталось с улыбкой. Похоже, он смотрел не на несчастную даму, а сквозь нее. В лучах яркого солнца он виделся зрителю темной фигурой. А может, в Фогеле говорило предубеждение?

На обороте фотографии было небрежно нацарапано: «Наверное, вы меня и не узнали. Я изменился, похудел».

«Что вы подразумеваете под словом “невеста”?» – писал Фогель в постскрипуме письма, в котором даровал Гэри прощение. «Торопящих время оно торопит само. С ним не совладать».

– К браку это отношения не имеет, – объяснил Гэри, когда лично явился на квартиру Фогеля в штормовке и туристических ботинках, с шестидневной щетиной, отросшей, пока он ехал, практически без остановок, через всю страну на своем недавно приобретенном подержанном пикапе – так он проводил зимние каникулы. Он привез с собой гитару и сыграл Фогелю «Очи черные».

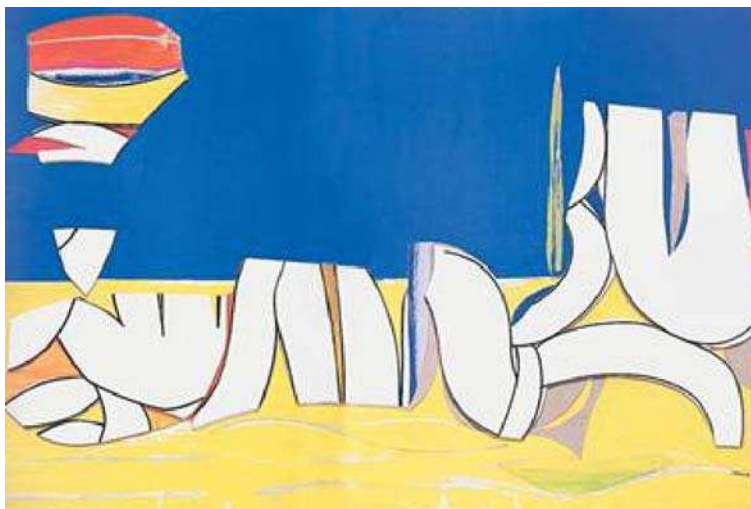
Поначалу оба держались напряженно. Фогель пытался настроиться доброжелательно, но никак не мог справиться с отвращением, которое вызывал в нем юноша, однако постепенно оттаял, и они углубились в беседу. В воображении старшего то и дело возникала картинка: он, мокрый и жалкий, мечется по коридору гостиницы; в конце концов он справился с наваждением, и добрые чувства к Гэри постепенно возобладали. Помогла гитара. Его пение часто трогало Фогеля до слез. О голос человеческий, что лучше тебя воспоет либо оплачет нашу жизнь? Должно быть, я недооценил его способность излагать факты, или он научился делать это лучше. Я и сам совершаю ошибки, мне ли ему пенять?

Беседы, в сравнении с летними, стали раскованнее, как бывает между равными, и темы интереснее, чем раньше, когда Гэри все записывал, дабы сохранить для человечества. И все же, когда среди разговора Фогель касался писательства, юноша двигал рукой, словно заносил в невидимый блокнот замечания старшего товарища, отчего тот и сказал потом:

– Гэри, не переживайте, если не все запомните слово в слово. Вы Пруста читали? Он ведь, даже вспоминая, фантазирует.

– Пока не читал, но он у меня в плане.

В чем-то он был по-прежнему наивен, хотя вполне умен, и производил впечатление человека более опытного, чем его сверстники. Так казалось из-за его внушительной фигуры, которая словно бы являлась для этого опыта вместительным хранилищем. Фогель чуть было не спросил, что для него значат женщины, однако счел вопрос глупым и сдержался; Гэри молод, пусть сам разбирается. Не хотел бы Фогель вновь оказаться таким молодым.



Юноша прожил три дня в небольшой гостевой спальне в квартирке Фогеля, которую он снимал по фиксированной цене в трехэтажном кирпичном доме на Девятой Западной. В один из вечеров Гэри пригласил нескольких своих друзей, Фогель тоже позвал двух-трех своих бывших учеников, в том числе и мисс Рудель. Шумная и многолюдная вечеринка удалась, Фогелю больше всего понравилось, как пел, брэнча на гитаре, Гэри, а молодой человек с жидкой бородкой и волосами до плеч подыгрывал ему на флейте. Чудесные сочетания звуков, инвенции, вот оно – поколение мечты. Гости ставили пластинки, которые принесли с собой, и танцевали. Девушка, насквозь пропахшая марихуаной и плясавшая босиком, поцеловала Фогеля и вовлекла его в свой танец. Движения несложные, да, собственно, это и не движения, решил он, поэтому сбросил туфли и танцевал в черных носках, и хромота вписывалась в узор танца. Во всяком случае, похоже, никто на это не обращал внимания, и Фогель чудесно провел время. Он снова был благодарен юноше за то, что тот вытащил его, почти насильно, из одиночества.

Утром перед отъездом Гэри, вымытый, выбритый и благоухающий лосьоном, одетый в белую футболку и чистые вельветовые брюки, запихнул свой рюкзак в пикап и, поднявшись на нижнюю ступеньку крыльца, беседовал с Фогелем, вышедшим его проводить. Писатель понимал, что Гэри не просто прощается, но хочет сказать что-то еще. Пробормотав несколько вежливых фраз и извинившись, что заговорил «об этом», молодой

человек признался, что хотел бы, если Фогель не против, кое о чем его попросить. Фогель поколебался какое-то мгновение, но возражать не стал. Гэри поведал ему, что разослал запросы в несколько университетов на Западном побережье и рассчитывает, что Фогель напишет рекомендательное письмо. Или два.

– Не вижу причин вам отказывать.

– Громадное вам спасибо, мистер Фогель, не хочу вас утруждать, но, надеюсь, вы не будете возражать, если я иногда буду ссылаться на вас и в других анкетах?

– Зачем, Гэри? Не забывайте, я ведь всего лишь писатель. – Ему стало не по себе – словно его попросили о кредите, предварительно выбрав лимит.

– Обещаю этим не злоупотреблять. Если только буду подавать на стипендию или еще что-нибудь – нужна же финансовая поддержка.

– Ну что ж, я не против. Но я хотел бы каждый запрос рассматривать отдельно.

– Именно это я и имел в виду, мистер Фогель.

Когда юноша уже собрался уезжать, Фогель не сдержался и спросил, почему он, собственно, решил стать писателем.

– Чтобы иметь возможность выразить себя, а еще – чтобы создавать произведения искусства, – незамедлительно ответил Гэри. – Хочу делиться своим опытом так, чтобы читатели воспринимали его как свой собственный. Тогда мы все, как вы бы сказали, спасемся от одиночества.

Фогель кивнул.

– А вы почему пишете?

– Потому что это сидит во мне. Потому что не могу не писать, – смущенно усмехнулся Фогель.

– Это не противоречит сказанному мной.

– А я и не собирался с этим спорить. – Он не стал говорить о том, что Гэри, похоже, помнит свои летние записи лучше, чем думает.

Юноша с жаром протянул ему руку.

– Мистер Фогель, я благодарен вам за вашу дружбу и гостеприимство.

– Если хотите, можете звать меня Эли.

– Обязательно попробую, – хрипло сказал Гэри.

Несколько месяцев спустя он писал с Западного побережья:

«Необходима ли в большой литературе нравственность? Я хочу сказать, обязательная ли это составляющая? Девушка, с которой я здесь встречаюсь, говорит, что да. Хотелось бы узнать ваше мнение. Искренне ваш, Гэри».

«Необходима, когда становится частью эстетики, – отвечал Фогель, которому очень хотелось знать, что это за девушка – та брюнетка в бикини или другая. – Можно выразиться иначе: искусство не сводится к одной только нравственности».

«Точнее, я хотел спросить, – написал Гэри, – обязан ли художник быть нравственным?»

«Не обязан. И его творчество – тоже».

«Спасибо за откровенность, мистер Фогель».

Перечитывая эти письма, прежде чем положить их в папку, Фогель отметил, что Гэри по-прежнему обращается к нему по фамилии.

Пожалуй, оно и к лучшему.

За два года Фогель похудел на два килограмма и написал еще семьдесят страниц романа. Он предполагал написать сто пятьдесят, но сбавил темпы. Совершенство трудно дается тому, кто от него далек. Его мучили предчувствия – он боялся, что умрет до того, как книга будет закончена. Видения эти были ужасны: Фогель сидит за столом, уставившись в рукопись, с пером в руке, а в конце страницы расплывается клякса. Осенью и зимой он несколько месяцев вообще не мог работать, но постепенно расписался. После этого его отношения с миром слегка улучшились.

Все это время они с Гэри не встречались, хотя и переписывались. Письма Гэри месяцами валялись нераспечатанными, пока Фогель не решился наконец ответить. В ноябре юноша написал, что перед Рождеством отправляется на восток, и попросил разрешения заглянуть к Фогелю. Тот ответил: лучше попозже, когда он снова начнет писать в полную силу. Тогда Гэри написал: «Наверное, у нас с вами одинаковое экстрасенсорное восприятие, потому что со мной происходит то же самое. У меня все это оттого, что я озабочен грядущими проблемами, в основном финансовыми, с которыми я непременно столкнусь в июне, когда закончу курс. Что до остального, то в прошлом году, как вы знаете, были напечатаны два моих рассказа». (Оба они обеспокоили Фогеля – пироги ни с чем. Гэри писал, что они «целиком и полностью плод его творческой фантазии». Один был о сексуально озабоченном мужчине, второй – о сексуально озабоченной женщине.) «Меня беспокоит будущее, я ведь собираюсь засесть за роман. Не могли бы вы дать мне рекомендацию для Общества Макдоуэлла? Я бы пожил в их пансионате месяцев шесть, начал работу».

Фогель ответил: «Гэри, я и так рекомендовал вас всюду, куда только мог, считая, что вам нужно дать шанс. Но я бы солгал, если бы не признался, что последние раз или два делал это через силу – вы подвергаете мою доброжелательность слишком серьезным испытаниям. Если вы пришлете что-нибудь действительно стоящее – новый рассказ, пару глав вашего романа, я подумаю, чем смогу вам помочь».

Вместо ответа Гэри явился сам, причем незамедлительно, через несколько дней – Фогель как раз шел в винный магазин на углу. Он услышал вой клаксона, к тротуару

подъехал темно-зеленый микроавтобус, из которого выпрыгнул Гэри Симсон и кинулся пожимать писателю руку.

– Я привез новый рассказ. – Он помахал черной папкой.

Он хоть и улыбался во весь рот, было заметно, что не спал по меньшей мере неделю. Лицо усталое, глаза напряженные – словно он стал человеком более зрелым. Он на грани отчаяния, подумал Фогель.

– Простите, что не предупредил вас, – я уехал из Калифорнии внезапно, а у вас, как вам известно, телефона нет. – Он замолчал – пытался преодолеть скованность, которая всегда его мучила поначалу, хоть Фогель и улыбался ему в ответ.

– Вы ужинали, Гэри?

– Пока нет.

– Пойдемте наверх, перекусим.

– Великолепно! – сказал Гэри. – Так приятно снова вас видеть. Отлично выглядите, разве что чуточку похудели и вид у вас бледный.

– Превратности судьбы, Гэри. Да и тружусь я не покладая рук – похоже, это для меня единственный способ выжить. Ответственное это занятие – строить свою жизнь.

Он хотел было предложить позвать кого-нибудь и устроить вечеринку, но решил, что пока не время.

Ужин был незамысловатый. Фогель приготовил неплохой омлет. К нему салат, итальянский хлеб, вино. Оба ели с жадностью, а за кофе курили сигары Гэри.

В кабинете Фогеля юноша открыл папку, замком которой до этого играл, жаль только, что это была не гитара, и оба вдруг стали друг к другу настороженно внимательны. Фогелю послышался запах пота, и действительно, Гэри утер носовым платком лицо и побагровевшую шею.

– Это черновой вариант, я написал его на днях, впервые за многие месяцы сел за стол. Как вы знаете, я некоторое время не работал вообще. Я это придумал позавчера ночью. Собирался к вам нагрянуть вчера, но вместо этого сидел в комнате той девушки и, пока она была на работе, выпил чашек двадцать кофе и добил рассказ. По-моему, получилось. Вы не слушаете, мистер Фогель?

– Черновой вариант? – протянул Фогель разочарованно. – Лучше дайте почитать, когда закончите.

– Я бы так и сделал, но сроки поджимают – последний день подачи документов в следующий понедельник. Надо бы поработать над ним с недельку, и я хотел прочитывать его сейчас, чтобы вы хоть приблизительно поняли, что я уже успел из него сделать.

– Ну, тогда дайте, я сам прочту, – сказал Фогель. – Так мне будет проще.

– Сами знаете, печатаю я не очень, вы запутаетесь в моей правке. Лучше я вам вслух прочитаю.

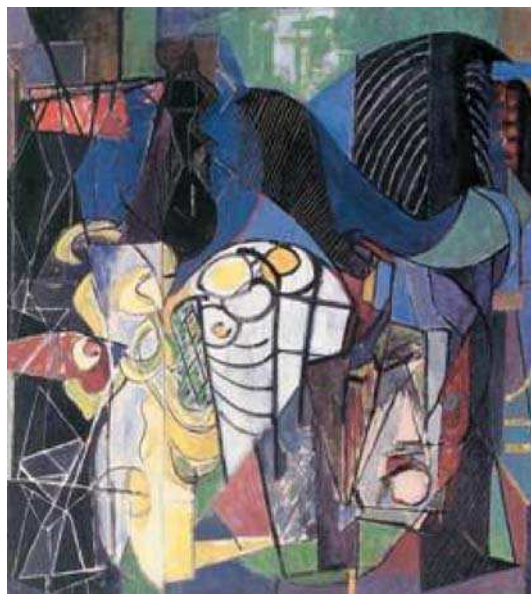
Фогель кивнул и снял туфли, чтобы дать отдых ногам. Гэри последовал его примеру. Он сидел со своими бумагами на кушетке, скрестив ноги в белых спортивных носках. Фогель качался в кресле-качалке и с тоской поглядывал на собственную рукопись, лежавшую на столе. Он хорошо помнил собственные юношеские амбиции и искренне надеялся, что рассказ у Гэри получился.

Молодой человек, послунив палец, провел им по пересохшим губам.

– Насчет названия я пока не уверен, есть вариант «Считаю до трех».

Он начал читать, и Фогель перестал скрипеть креслом.

Рассказ шел от лица некоего Джорджа, аспиранта Станфордского университета, приехавшего весной в Нью-Йорк и от нечего делать разыскавшего Конни, девушку, с которой прошлым летом у него был роман. Жила она в Уэст-Виллидж, снимала квартиру вместе с двумя подругами, Грейс и Баффи, очень симпатичными девушками; за ужином Джордж узнал, что вечером они никуда не собираются, и решил переспать со всеми тремя по очереди. Ему захотелось устроить себе проверку. С Конни, прикинул он, ходы-выходы известны. Грейс, поймав на себе его взгляд, слегка смутилась, и Джордж решил, что это ему на руку. Баффи, самая хорошенькая, показалась ему недотрогой, держалась отчужденно, а может, только прикидывалась, не исключено, что с ней ничего и не получится, и ее он решил отложить напоследок. Вечер только начинался, спешить было некуда.



Джордж предложил Конни прогуляться, в баре на Салливан-стрит купил ей выпить. Сидя за столиком, сказал, что не забыл прошлое лето в Блумингтоне, штат Индиана. Едва он об этом заговорил, Конни назвала его подонком. Джордж, выдержав паузу, сказал, что это было лучшее лето в его жизни. После чего снова погрузился в молчание. Они выпили еще, и на улице она, сменив гнев на милость, шла, прижавшись к нему.

Был чудесный теплый вечер, они бродили по улицам Уэст-Виллидж. Джордж сказал, что Баффи, похоже, балуется марихуаной, а Конни возмущенно ответила, что это полная чушь. Баффи из них троих самая ответственная. Работает в какой-то молодежной организации, там все на ней. Отец у нее погиб на войне в Корее, и она заботится об овдовевшей матери и двух младших сестренках, которые живут в Спокане.

– А что за человек Грейс?

Конни призналась, что у нее, в отличие от Баффи, на Грейс терпения не хватает. У нее, Конни, нет ни малейшего желания решать за Грейс ее проблемы, впрочем, какие именно, она не уточняла.

– Даже когда у нее все вроде ничего, она приходит домой мрачная, садится перед зеркалом и ну ресницы выщипывать.

Потом Джордж сказал Конни, что прошлым летом полюбил ее, но боялся себе в этом признаться. Его отцу пришлось рано жениться, и он не хотел повторить его судьбу – старик всю жизнь об этом жалел. Конни снова назвала его подонком, но с первой же попытки позволила себя поцеловать.

Когда она сказала, что согласна с ним переспать, Джордж ответил, что у него в автобусе есть матрац, так что наверх подниматься незачем. Конни засмеялась и сказала, что никогда не занималась любовью в микроавтобусе, но с удовольствием попробует, надо только припарковаться в каком-нибудь тихом, уединенном месте.

В автобусе он делал все так, как, по его воспоминаниям, ей нравилось.

Конни ушла спать с головной болью. Она сказала, что он может переночевать в гостиной, но утром пусть уходит.

– Таковы наши правила, и Баффи терпеть не может, когда их нарушают.

Джордж посидел на диване, почитал журнал, а потом заглянул в комнату Грейс. Дверь была открыта, и он зашел без стука. Ресниц у Грейс уже почти не осталось. На ней был махровый халат, и она сказала, что поболтает с Джорджем, но только при условии, что он не будет распускать руки. Халат на ней был запахнут неплотно, и он видел ее налитые груди, все в синяках, просвечивающие сквозь ночную рубашку.

Так вот на что она под села, подумал Джордж.

Он завел разговор о сексе, рассказывал о своих калифорнийских подружках и о том, как они разнообразят это дело. Она слушала его, раскрыв рот и пряча глаза, и все вытирала мокрые волосы полотенцем.

Джордж спросил, где джин, – хотел приготовить коктейли. Она сказала, что пить не будет. Он спросил, не хочет ли она раскурить косячок.

– Этим не увлекаюсь, – ответила Грейс.

– А чем увлекаешься? – спросил Джордж.

– Держу пари, ты переспал с Конни.

- Пойди спроси у нее.

Потом Джордж сказал, что знает, чем она увлекается. Он встал и, несмотря на ее попытку схватить его за руки, одну руку все-таки выдернул, взял Грейс за подбородок и поцеловал в засос. Она его оттолкнула, халат распахнулся. Джордж повел себя как профессиональный боксер – сгруппировался, пригнул голову и сделал обманный выпад левой. А правой рукой стиснул ее грудь. Грейс судорожно вздохнула и собралась было заорать. Но, видно, передумала и, бросив на него призывный взгляд, припала к нему. Глаза ее затуманились, по лицу блуждала улыбка. Целуясь, она кусала ему губы. Джордж ударил ее кулаком между ног. Грейс, тихо застонав, прижалась к нему еще крепче. Он стал стаскивать с нее халат, но она удержала его руку и закрыла дверь.

- Не здесь, – шепнула Грейс.
- Надевай платье и спускайся вниз.

Она вышла в зеленом платье, под которым ничего, кроме синяков, не было.

- Я люблю тебя, – сказала Грейс, забравшись в автобус.

Джордж протянул ей свой ремень и сказал, что она может его несколько раз хлестнуть, только не слишком сильно.

Баффи читала, лежа в постели. Когда он постучался, она сказала «войдите», но, увидев, кто это, подтянула ноги к подбородку и заявила, что сейчас уже очень поздно, а ей завтра с утра на работу. Джордж предложил ей косячок – ими снабдила Грейс, но Баффи сказала, чтобы он отвалил. Он спросил, не будет ли она возражать, если он с ней поболтает пару минут, а потом уйдет. Она сказала, что будет. Тогда Джордж сказал, что утром уезжает на войну.

Она спросила, почему это, ведь призывников почти не посылают.

– Призывная комиссия приберегла подарочек специально для меня. Им осточертели мои просьбы об отсрочке.

- А почему ты не откажешься служить?

Он сказал, что всю жизнь был трусом и пора наконец это преодолеть. Она назвала эту войну бессмысленной и несправедливой, на что Джордж сказал: двум смертям не бывать. Он снова предложил ей косячок, и она затаилась. Несколько минут курила, а потом сказала, что ее не забирает.

– Меня тоже, – признался Джордж. – Может, оденешься, и пойдем погуляем?
Ночь чудесная.

Она спросила, разве он не нагулялся с Конни и Грейс, а он ответил, что на самом деле запал на нее.

- Я не хотел уезжать, не сказав тебе этого.
- Я старше тебя лет на пять, не меньше.

- Это на мои чувства не влияет.
- Кончай трепаться, – сказала она.

Джордж начал прощаться. Он поблагодарил ее за ужин и за то, что она согласилась с ним поболтать.

- Увидимся после войны.
- Конни говорила, ты будешь здесь ночевать.

Он сказал, что поспит в микроавтобусе, тот стоит внизу. В семь он должен быть в Форт-Диксе, но сначала надо заехать к приятелю, который отвезет его в Джерси и возьмет себе автобус, пока его не будет. Так что выезжать ему в пять утра, и незачем их всех будить.

- Ты боишься смерти? – спросила его Баффи.
- Кто не боится?

Джордж закрыл за собой дверь и спустился вниз. В автобусе он включил бритву, начал бриться. Тут в дверь постучали. Это была Баффи, в юбке и свитере, готовая к прогулке. Перевитые жгутом волосы спускались на грудь. На руке, повыше запястья, поблескивал золотой браслет.

Когда они вернулись, дул легкий ветерок, но было тепло. Они еще немного поболтали вполголоса и забрались в автобус. Джордж пропахал ее трижды, и на третий раз она таки кончила.

Они лежали на узком матрасе и курили, и она спросила, имел ли он этой ночью Конни и Грейс. Джордж не стал ничего отрицать.

- Считаю до трех.

Такой вот рассказ.

«Кого я выпестовал», – подумал Фогель.

– Ох, – вздохнул писатель, больная нога подрагивала. Он нашарил шлепанцы, хотел налить себе выпить и, увидев, что бутылка бурбона пуста, разозлился. Пришлось довольствоваться стаканом воды.

Гэри, выдохшийся на финише, сидел на краю кушетки, подвернув под себя ноги. Он рассматривал свои белые носки, изредка поглядывая на Фогеля.

– Вам понравилось? – был вынужден спросить он. – Хотите критиковать – пожалуйста, если, конечно, за дело.

– Как я понял, Конни была права, когда назвала Джорджа подонком, не так ли?

– До некоторой степени так, антигерой – это антигерой, – занял оборону Гэри. – Смысл рассказа – вот как оно бывает и тому подобное. Другими словами, *c'est la vie*. А мне интересно, понравилось вам или нет.

Фогель замер в своем кресле-качалке.

– Жаль, Гэри, что вы так и остались ходячим диктофоном, записывающим истории из собственной жизни.

Обвинять Гэри в том, что, прежде чем зафиксировать такой опыт, он его приобрел, Фогель не стал, хотя эта мысль омерзительно засела у него в голове.

Гэри зашнуровал ботинки, видно было, что он раздражен.

– Не понимаю, что в этом плохого. Вы сами как-то раз сказали, что неважно, из чего рождается сюжет. Важно, как с ним работает писатель.

– Верно, – согласился Фогель. – Честно говоря, должен признать, что этот рассказ в целом превосходит два предыдущих. Захватывающая история.

– Спасибо и на этом, мистер Фогель.

– Что касается рекомендации, я бы хотел еще немного подумать. У меня есть сомнения.



Гэри вскочил и замахал руками.

– Г-споди! Мистер Фогель, дайте же мне шанс! На что мне жить весь следующий год? Мне отец не оставил в наследство пять тысяч годового дохода, как вам!

– Вы слышали, что я сказал. – Фогель поднялся из кресла. – Мне нужно что-нибудь выпить. Когда вы подъехали, я как раз шел в винный магазин.

Гэри хотел сам сходить за бутылкой, но Фогель отказался наотрез.

Писатель, прихрамывая, спустился вниз в шлепанцах. У тротуара стоял зеленый микроавтобус. При виде его Фогеля чуть не вырвало.

Он мне никакой не друг.

Он дошел до угла и вдруг неожиданно вернулся к автобусу и подергал за ручку. Дверца оказалась не заперта. Задние сиденья были убраны, на полу лежал потрепанный матрац в серо-розовую полоску.

В винном Фогель купил кварту виски. Забравшись в автобус Гэри, он прикрыл за собой дверь. Занавески были задернуты. Света он не зажигал.

Открыв бутылку виски, Фогель, словно сам удивляясь тому, что собирается сделать, сказал себе: «У меня воображение побогаче».

Опустившись на колени, писатель серебряным ножичком, которым обычно точил карандаши, исполосовал матрац и полил его виски. Потом он в нескольких местах поджег спичками намокший ватин. Матрац горел голубым пламенем и вонял.

Затем Фогель поднялся наверх и сказал Гэри, что вошел в его рассказ и подправил финал – сделал его более логичным.

Когда пожарные затушили пламя и юноша в провонявшем гарью автобусе отбыл, писатель достал из папки его письма и порвал их.

От Гэри он получил еще одно известие – журнал с рассказом «Считаю до трех», напечатанным в первом варианте, почти без изменений. Между страниц он вложил листья ядовитого плюща.

1968

Í adanā nai weenā Áadu Í dídíatē

ЛЕХАИМ ИЮЛЬ 2010 ТАМУЗ 5770 – 7(219)

НОЧЬ НАКАНУНЕ КОНЦА СВЕТА

Юлиан Стрыйковский

Аустерия

Пер. с польского К. Старосельской

М.: Книжники; Текст, 2010. – 284 с. (Серия «Проза еврейской жизни».)



Юлиан Стрыйковский – псевдоним Песаха Старка (1905–1996), выходца из семьи галицийских хасидов. В молодости он вступил в Компартию, успел побывать в тюрьме, а после прихода коммунистов к власти в Польше сделал успешную журналистско-писательскую карьеру (его первый роман, «Возвращение в долину Фрагаля», о тяжелой жизни итальянских крестьян, был в 1953 году издан в СССР). Однако в середине 1960-х Стрыйковский, протестуя против преследования инакомыслящих, вышел из ПОРП и сблизился с диссидентскими кругами, а впоследствии и с «Солидарностью».

Тогда же был написан его роман «Аустерия» – одно из нескольких произведений писателя о еврейской Галиции конца XIX – начала XX века. Время действия книги – самое начало первой мировой, место действия – корчма старого Тага, которую для пущей торжественности именуют аустерией. Роман Стрыйковского – это галицийский вариант легенды о потерянном рае, об Австро-Венгрии Франца-Иосифа, где евреи десятилетиями существовали, не зная горя, и не уставали славить императора. Этот мир ушел и никогда не вернется – престарелый кайзер через два года умрет, его империя распадется. Но пока об этом еще никто не подозревает: солдатушки, бравы ребяташки, только что промаршировали на войну, рассчитывая через пару месяцев, к Рош а-Шана, вернуться домой с победой. И не беда, что русские наступают, что потянулись первые беженцы, – посетители аустерии по-прежнему рассказывают друг другу истории о доброте и мудрости императора, Гарун аль-Рашидом бродящего по деревням и утешающего своих подданных в их несчастьях.

В корчме собрались вольнодумец, цадик, богач, калека – сравнение с ковчегом приходит в голову героям и читателям одновременно. Ненадолго заглядывает даже отставший от полка венгерский гусар, но лишь соблазняет одну из постоялиц и растворяется в ночной тьме – что ему делать на еврейском ковчеге? Евреи же ведут себя, как положено евреям: пересказывают анекдоты и притчи, бранятся, затевают теологические споры, танцуют, ждут Мессию. Пикейные жилеты недоумевают, зачем русские так торопятся захватить их городок – не иначе у них с оружием проблемы, – и возмущаются, что теперь воюют не по правилам, не то что в старые добрые времена.

Впрочем, все это кончится еще быстрее, чем Австро-Венгрия: через несколько минут, через несколько страниц. Придут казаки и справятся с изгнанием из рая не хуже херувима с огненным мечом. Местная Джульетта погибнет от первого же выстрела, Ромео повесят, с кем-то перепутав, город подожгут. А старый Таг, уверенный, что мир рушится из-за его грехов, принесет себя в жертву – уйдет на рассвете вместе с другом детства ксендзом требовать справедливости у русского коменданта.

ПАРАДОКСЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лев Городецкий

Текст и мир на листе Мебиуса: языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация

М.: Таргум, 2008. – 344 с.



Интерпретация мандельштамовского наследия давно уже превратилась в особую дисциплину, весьма разветвленную, подчас внутренне противоречивую, чреватую спорами и скандалами. Связано это не только со значимостью поэта для словесности XX века, его центральной (и все увеличивающейся с годами) ролью культурного героя, сформировавшего современный поэтический язык и предложившего многие интеллектуальные интуиции, столь важные в Новейшее время. Помимо всего этого, спор о творчестве Мандельштама может носить и идеологический характер (как это, впрочем, всегда происходит со структурообразующими персонажами культуры).

Принципиальнейшим в этом смысле остается полемика о принадлежности Мандельштама к христианской или еврейской культуре. Христианская интерпретация мандельштамовского творчества (и жизненного выбора), характерная для Н.Я. Мандельштам, получила развитие, например, у С.С. Аверинцева (впрочем, настаивавшего не на православном, а на западнохристианском, католическом выборе поэта). Ответом на эту позицию явилась работа Л.Ф. Кациса «Осип Мандельштам: мускус иудейства», где подробнейшим образом рассматриваются еврейские претексты и контексты мандельштамовских поэзии и особенно прозы. Исследователь подчеркивает: «Самое главное, Осип Мандельштам оставался евреем во всем, что он делал в жизни».

Лев Городецкий отчасти продолжает разработки Кациса, доводя их, впрочем, чуть ли не до абсурда. Характерно понимание культуры как пространства, дробящегося на цивилизации. Рассматривая отношения Мандельштама «с “германской” и немецко-еврейской культурно-цивилизационными системами, а также с русской цивилизацией», Городецкий постулирует, «что Мандельштам является “носителем генома” еврейской ашкеназийской цивилизации». И далее: «В этом смысле “национально-ориентированный” ашкеназский интеллект мог бы сказать: “Мандельштам – это наше все”».

Сама по себе эта идея (если принимать всерьез подобную классификацию «национально-ориентированных» цивилизаций) вполне имеет право на существование. Более того, она – на уровне концептуального проектирования – разрабатывается иногда

остроумно; так, определяя сущность еврейской цивилизации, Городецкий говорит о «ее «интерфейсности», «буферности», медиативности, ориентации на информационное посредничество, на сохранение и передачу информации через время и пространство от одной цивилизации (социума) к другой». Однако уже здесь возникает методологическая проблема: есть ощущение, что исследователь не вполне различает объективную характеристику цивилизации и миф о ней (при том, что и миф может быть внутренним либо внешним по отношению к данной цивилизации или даже, так сказать, «трансцивилизационным»), – а меж тем вышеуказанное описание носит скорее мифологический характер.

Но это, в сущности, не имеющие прямого отношения к пониманию творчества Мандельштама постулаты. Впрочем, немало места Городецкий уделяет демонстрации «отторжения» Мандельштама русской цивилизацией, что должны доказывать многочисленные цитаты из критики, мемуаров и прочих документов. При этом уравниваются такие синтагмы, как ахматовское «его поэзия – темная, непонятная для публики, византийская» и куняевское «всего-навсего жидовский нарост на Тютчеве». На самом деле мифологический ореол, существовавший вокруг Мандельштама, подчеркивает его «чуждость» не более, чем, например, миф о Хлебникове, по поводу которого можно составить столь же объемную подборку, говорящую о нем как о «другом» (при этом, понятно, еврейство в случае Хлебникова будет совершенно ни при чем).

Важнее же всего методология анализа текстов и интерпретация результатов. Здесь центральным для Городецкого становится, в общем-то, бесспорный, но весьма локальный аспект текстопорождения, который у исследователя превращается едва ли не в основу для понимания мандельштамовского творчества. Речь идет об особенностях языковой картины мира, присущей Мандельштаму. Городецкий настаивает на ее двухуровневой структуре. С одной стороны, он подчеркивает в текстах Мандельштама черты «медиативности», «буферности» и т. п., присущие еврейской цивилизации согласно его собственным вышеприведенным утверждениям (иными словами, перед нами – опора на предьявленные в качестве аксиом постулаты). С другой – на более глубинном уровне Городецкий прослеживает многочисленные германизмы и идишизмы, проступающие в словоупотреблении и синтаксисе Мандельштама. Здесь есть ряд ценных наблюдений, но по преимуществу эти сближения вполне произвольны. Или, что еще важнее, необязательны: интертекст может ветвиться сколь угодно далеко, но важны сближения, реально распаковывающие смыслы текста, а не умножающие ризоматическую бесконечность ассоциаций. Наличие у Мандельштама «межъязыкового» слуха, контуры иноязычной стихии, проступающие сквозь русскую речь, очевидны – однако это вовсе не самое важное в его текстах.

ПОЭТ В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ

Петр Горелик, Никита Елисеев

По течению и против течения... (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)

М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 392 с.



Понимание личности Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986) является принципиальным для уяснения того, что происходило в целом в русской литературе середины минувшего века.

К сожалению, осознание особой важности Слуцкого, мало с кем сравнимого в подцензурной части литературного пространства – осознание, характерное для многих аналитиков и, скажем так, профессиональных читателей, – не получило доселе адекватного продолжения в критической и литературоведческой рефлексии по поводу судьбы и творчества поэта (несмотря на обширный том воспоминаний о Слуцком, выпущенный несколько лет назад). Быть может, дело тут именно в специфической двойственности репутации Слуцкого: фронтовик, коммунист, более того, человек, публично выступивший с осуждением Пастернака (часто не принимается в расчет, что именно это выступление, по сути, внутренне сломало Слуцкого, привело к его болезни и самоизоляции), но в то же время – покровитель молодых и независимых, бесстрашно ломающий стереотипы поэт, стремящийся к непривычно прямому, для многих неудобному высказыванию...

Книга Петра Горелика и Никиты Елисеева важна не только как чуть ли не первая попытка полномасштабного исследования биографии Слуцкого, совмещенного с очерком его творчества (биографии заведомо неакадемической: Елисеев представляет литературно-критический дискурс, Горелик, друг Слуцкого с харьковских школьных лет и до кончины поэта, – мемуарно-аналитический, вкрапленный в основную канву повествования так, что не разрывает текст, но придает ему дополнительное измерение). Важно здесь и стремление понять Слуцкого не изолированно – пусть бы и в диалоге с эпохой, от чего немислимо отказаться в случае поэта-фронтовика, но в некоей, так сказать, блистательной историко-культурной изоляции (подобные попытки предпринимаются); нет, соавторы демонстрируют контекст не только исторический, социальный, но и собственно историко-литературный.

Эпоха «слома», «разрыва», «провала» оказывается в нашем восприятии подчас несамостоятельной, несущностной – либо слепой, выморочной полосой, отделяющей величие начала века от современности, либо своего рода зоной перехода, периодом одновременно мемориальным (для культуры предшествующей) и инкубационным (для последующей). И в том и в другом подходе есть резоны, но и тот и другой в равной степени мешают осознать феноменальность, самость данного периода, выделенность его из общего ряда. Помимо объективных внелитературных причин его «особости» – репрессии, война, социальное и культурное расщепление (от эмиграции до коллективизации) – есть и причины сугубо литературные, связанные с процессом растожествления общемодернистского языка, остававшегося еще в культурной памяти единым наречием, но уже не существовавшего в качестве подлинной целостности. Трагизм эпохи мог быть сознаваем разными способами; для Слуцкого он проходит сквозь

психологический, социальный, даже политический аспекты бытия – но все равно упирается в проблему поэтического языка.

В этом смысле очень значимо место Слуцкого в картине до сих пор в полноте не осознанного литературного пространства той поры – его наследование позднему авангарду (лефовскому и конструктивистскому), участие в том круге поэтов, который в дальнейшем станет известен как фронтовое поколение (особенно важен диалог с другим харьковчанином – погибшим на войне Михаилом Кульчицким, а также специфическая многолетняя дружба-конкуренция с Давидом Самойловым). Но не менее, а может, и более важно понимание специфики контактов Слуцкого с младшим поколением. В этом смысле книга Горелика и Елисеева весьма полезна: в особый раздел здесь вынесена проблема диалога поэта с Иосифом Бродским и Сергеем Довлатовым. И если второе сопоставление представляется явственной натяжкой (или, по крайней мере, необязательным), то первое – принципиально и не может быть упущено при исследовании творческого генезиса будущего нобелиата.

Увы, на страницах книги не нашлось места характеристике контактов Слуцкого с другими представителями неофициальной культуры. Так, интереснейшим мог бы быть сюжет о Слуцком и «лианозовской школе». В книге поминается лишь известный эпизод, когда Слуцкий натолкнул Генриха Сапгира на идею писать детские стихи; меж тем соотнесение с поэзией Слуцкого «барачной» эстетики Евгения Кропивницкого и Игоря Холина (да и еще одного харьковчанина – Эдуарда Лимонова, близкого одно время к лианозовцам), «Голосов» Сапгира – необходимо для понимания контекста. Интересен и психологический конфликт между фронтовиками и следующим поколением – первыми нонконформистами пятидесятых, такими, как группа Леонида Черткова (в воспоминаниях и других текстах ее участника Андрея Сергеева, на страницах книги вовсе не упоминаемого, есть немало интересного на данную тему).

Отдельно соавторы рассматривают еврейскую тему у Слуцкого, показывая болезненную двойственность его самоощущения как еврея и русского поэта, наслонившуюся на непосредственный жизненный опыт. Другой раздел посвящен женским образам и вообще лирическому началу у Слуцкого. Особо, конечно же, говорится о процессе исключения Пастернака и той внутренней трагедии Слуцкого, которая связана с этой историей... К сожалению, эти страницы слишком эссеистичны, балансируют на грани критики и публицистики. Впрочем, это не мешает книге Горелика и Елисеева стать важным шагом на пути понимания одной из самых недооцененных поэтических фигур минувшего века.

Ààí èèà Àààùãã

НЕКЛИШИРОВАННЫЙ ВЗГЛЯД

Typisch! Klischees von Juden und anderen («Типично! Клише о евреях и других»).

Berlin: Nicolai, 2008. – 135 S. (На нем. яз.)



Эта книга задумывалась как каталог выставок в Еврейских музеях Вены и Берлина, но в итоге продается на amazon как самоценный том, состоящий из трех отменных эссе и огромного количества иллюстраций. Темой эссе стала жизнь клише во всем их разнообразии, от обобщения до стереотипа, от предубеждения до расистского высказывания. В качестве иллюстраций используется богатейший материал изобразительного искусства, фотографии, кино и даже сувенирной продукции.

Открывает книгу статья австрийской публицистки Изольды Харим «Негативный фетиш: способ функционирования расистских стереотипов». Автор пишет, в частности, о стереотипах как «парадоксальной форме» мировоззрения: они воспроизводятся как нечто, не нуждающееся в доказательствах, и в то же время никогда не могли бы быть доказаны (именно поэтому они нуждаются в постоянном повторении). Далее идет эссе американского романиста Дарила Пинкни «Маски и метафоры», следом – «Опыт о знакомом: о клише, стереотипах и предрассудках» Детлева Клаусена, профессора социологии из Ганновера.

За этими текстами следуют 25 главок, анализирующих образцы клишированного сознания. К примеру, тот же Пинкни описывает ситуацию с расовой сегрегацией в Америке, регулярно обострявшуюся после войн, которые вели США. Каждый раз возвращение чернокожих солдат домой сопровождалось усилением социальной напряженности – далеко не все на родине были готовы воспринимать солдат-героев как равноправных членов общества. Дополнением к наблюдениям Пинкни служит глава о Черной Венере, знаменитой танцовщице 1920-х Джозефине Бейкер, которая вынуждена была делать карьеру в Европе, потому что цвет кожи лишил ее доступа на американскую сцену.

Клишированным оказывается прежде всего «типичный образ». Многие иллюстрации в книге воспроизводят экспонаты коллекции Мартина Шлафа, передавшего в 1993 году пять тысяч предметов Еврейскому музею Вены. Среди них – множество палок для ходьбы, массово производившихся в Вене в начале XX века. В качестве их навершия часто изображались лица с огромными, откровенно кривыми носами. Собиратель описывал эти лица как семитские – но речь должна идти скорее о готовности принять такое изображение за семитское.

Еврейскому профилю посвящена отдельная главка, где анализируется знаменитый бюст галериста Альфреда Флехтхайма, выполненный в 1927 году Рудольфом Беллингом. Лицо Флехтхайма изображено как комбинация глаз, рта и огромного носа – сегодня это выглядит едва ли не карикатурно. Именно так был воспринят держатель для книг под названием «Марсель Райх-Раницки» Герда Бауера и Руди Сопера (Германия, до 1999 года), изображающий известного критика польско-еврейского происхождения с огромнейшим носом.

Стереотипы возникают по отношению к самым разным религиозным и этническим группам, от цыган до негров. В книге описываются, в частности, европейские предубеждения против мусульман. В качестве примера рассматривается популярнейшая австрийская книга для детей «Воздушный шар Хатши Братши», опубликованная Францем-Карлом Гинцкеем в 1904 году и выдержавшая множество переизданий. Тексты послевоенных изданий были отредактированы, из иллюстраций и текста исчезли сцены, связанные с людоедством турков.

Политическим стереотипам посвящена глава «Призрак бродит по Европе». Здесь воспроизведен, например, белогвардейский плакат «Мир и свобода в Совдепии», отпечатанный в Одессе в 1918–1920 годах. Он изображает кровавую фигуру обнаженного Троцкого, восседающего на кремлевской стене над грудями человеческих черепов. Менее агрессивными предстают литературные персонажи вроде «шекспировского трагического еврея» из «Венецианского купца». Его изображение на протяжении столетий, включающее книжные и театральные-кинематографические версии и парафразы, в том числе израильский фильм «Avanti Popolo» (1986) Рафи Букае, пережило несколько этапов – от комического персонажа к образу мстительного скупердяя в XVIII веке и далее к трагическому герою XX столетия.

Какое чувство остается по прочтении этой книги? Возможна ли толерантность в мире, где, кажется, все стремится к упрощению и уплощению, структуры мышления примитивизируются, образы унифицируются, а предлагаемая для рассмотрения фактура сознательно обедняется, лишь бы подогнать ее под существующие схемы? Авторы не дают ответа, оставляя его на усмотрение читателя. В конечном счете все зависит от того, оптимист вы или пессимист.

Августин I Гедош

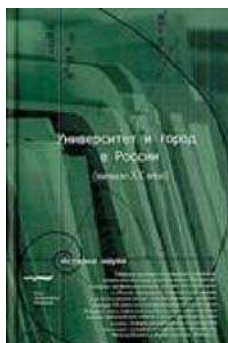
ЕВРЕИ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Университет и город в России (начало XX века)

Под ред. Т. Маурер и А. Дмитриева

М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 784 с.



Еврейский вопрос не относится к числу приоритетных сфер осмысления, к которым обращаются авторы сборника, посвященного исследованию городского контекста эволюции университетов Российской империи предреволюционного периода. Вместе с тем вопрос этот имплицитно присутствует в проблемном поле сборника и неизбежно эксплицируется при рассмотрении определенных аспектов университетской жизни и ее связей с городским окружением.

В сборник, завершивший совместный исследовательский проект «Немецкие и русские университеты в первой мировой войне: сравнительные исследования социальных, научных и политических связей», вошли семь обширных статей немецких, российских и эстонских историков, посвященные университетам Германии и России. В ходе проекта основное внимание уделялось описанию трех типов университета: столичного, провинциального и «пограничного», находящегося «в транзитивной и конфликтной области взаимодействия различных культур». В результате представленными оказались два университета российских столиц, а также самый западный (Тартуский/Дерптский/Юрьевский) и самый восточный (Казанский) университеты империи. Все четыре университета располагались в городах с традиционно полиэтничным и поликонфессиональным составом жителей; при этом Тартуский находился в провинциальном городе имперской «окраины» с преобладанием протестантов (немцев и эстонцев), а Казанский – в крупном губернском центре с преобладанием русского православного населения. Очевидно, что все означенные параметры приобретают существенное значение как с точки зрения заявленной в названии сборника темы, так и с точки зрения темы еврейской.

Эти две темы оказываются неразделимыми, когда речь идет об этноконфессиональной принадлежности профессорско-преподавательского состава и студентов; об отношениях власти и университета; об общественно-политической деятельности профессоров и студентов; о формах организации внутриуниверситетской деятельности и самоорганизации студентов; о проявлениях антисемитизма в университетской среде. Представленные в сборнике статистические данные свидетельствуют о жестких рамках пресловутой процентной нормы с одной стороны, но и о довольно широком наборе факторов, способствовавших как негативной, так и позитивной динамике в этом вопросе, – с другой. К таким факторам относились: личная позиция министра просвещения и вызванные ею изменения в университетском уставе; исторически сложившееся количественное соотношение коренного, русского и еврейского населения в регионе; роль евреев в общественной жизни города; специфика исторического момента и др.

Проявления антисемитизма в профессорско-преподавательской и студенческой среде, а также в окружавшем университет городском пространстве, в свою очередь, были обусловлены факторами внешнего порядка, от традиционно позитивного либо негативного отношения к евреям в определенной местности до тех или иных событий в общественной, политической, экономической жизни страны в целом и данного региона/города в частности. К событиям, вызвавшим взрыв антисемитских настроений, все исследователи относят революцию 1905 года и первую мировую войну. При этом война сыграла амбивалентную роль, изменив как положение студентов-евреев, так и отношение к ним со стороны внутренней, университетской, и внешней, городской. Многие профессорско-студенческие и собственно студенческие общества объединяли участников по общекультурному и профессиональному признакам, стирая этноконфессиональные различия и таким образом противостоя антисемитским настроениям. Боролись с антисемитизмом также некоторые студенческие землячества и национальные объединения.

В целом вывод о положении евреев в российских университетах начала прошлого столетия, несколько парадоксально предлагаемый в качестве предваряющего во вступительной статье, вполне оптимистичен: «Российский университет – вопреки процентным нормам для евреев и поляков – являлся с сословной и с национальной точки зрения учреждением открытым. Это касалось как студенчества, так и преподавательского корпуса. На основе русского языка и ввиду общих целей и задач здесь могли встречаться и сотрудничать представители различных сословий и национальностей – как едва ли где-нибудь еще в тогдашней Российской империи». Право читателя – согласиться с этим утверждением полностью, частично или же подвергнуть его сомнению.

Ī ēvāā Āāi ēāīāā

Еще раз о «Синеньком платочке»

В предыдущем номере журнала «Лехаим» в статье «Песни черно-белого времени» в качестве создателей песни «Катюша» были указаны братья Покрасс. Вскоре в редакцию поступило письмо от Александра из Лос-Анджелеса. Он пишет: «Автор песни “Катюша” – Матвей Блантер, а не Покрасс». Нужно признаться честно: читатель прав. Ошибка вкралась по той причине, что журналист в момент создания текста находился буквально под гипнотическим впечатлением как от описанной программы военных песен Льва Рубинштейна, так и от съемок в телепередаче «ДОстояние РЕспублики», в которой произведения того же периода были исполнены в огромном количестве, и фамилии поэтов и композиторов роились в голове в полной неразберихе. Требуется восстановить справедливость.

Официально автором песни «Катюша» числится Матвей Блантер, автор текста – Михаил Исаковский. Первое исполнение песни датируется 27 ноября 1938 года. В энциклопедиях сказано, что ее исполнила Валентина Батищева в сопровождении оркестра под управлением Виктора Кнушевицкого. Особую популярность песня приобрела в годы Великой Отечественной войны. В частности, считается, что именно в честь этой песни реактивные минометы БМ-13 стали именовать «катюшами». Но есть и другие версии происхождения названия орудия. Например, от аббревиатуры «КАТ» – «Костиковские автоматические термические», по фамилии разработчика «катюши». К слову, в период развенчания культа личности заслуги Андрея Костикова в разработке миномета были поставлены под сомнение. Другая версия происхождения названия – литеры «К» на корпусе машины (завод им. Калинина).

Нет единой версии не только о происхождении названия орудия, но и относительно песни. Конечно, братья Покрасс не имеют к ней отношения. Но справедливости ради отметим, что и авторство Матвея Блантера нередко подвергается сомнению. В частности, корни «Катюши» находят в комической опере Игоря Стравинского «Мавра» (1922). Похожая на «Катюшу» мелодия

была переделана для сборника «Русский шансон» (1937). В Интернете нередко можно найти и упоминания о «венгерско-еврейском танце magararosszigeti tanc», которым «вдохновлялся» Матвей Блантер. Положа руку на сердце, стоит сказать, что мелодию, с которой Матвей Блантер мог «списать» «Катюшу», в обоих случаях можно услышать, только если очень этого захотеть.

Однако целый ряд довольно известных песен, которые у нас принято называть «военными» и ассоциировать с Великой Отечественной, были действительно либо написаны до войны, либо использовали мотивы довоенных произведений. К примеру, песня «На поле танки грохотали» представляет собой переделку шахтерской песни «Коногон», звучавшей в фильме «Большая жизнь» (1939). Она начиналась словами: «Эх, что-то сердце заболело, – / Шахтер своей жене сказал. / – Чуешь беду? Не в том ли дело? / Шахтер жене не отвечал».

Ставшая фактически гимном танковых войск песня «Три танкиста» («На границе тучи ходят хмуро») также появилась до войны. Она была написана для фильма «Трактористы» братьями Покрасс. Авторству Самуила, Дмитрия и Даниила Покрассов принадлежат самые известные довоенные патриотические песни, в том числе «Марш Буденного» («Мы – красная кавалерия») и «Красная Армия всех сильнее». А вскоре после взятия Берлина они написали «Казаков в Берлине». К слову сказать, в семье Якова Моисеевича Покрасса, скромного торговца колбасой из Киева, всего было 12 детей, и, как минимум, пятеро имели отношение к музыке, с детства зарабатывали игрой на еврейских свадьбах. Автор песни «Красная Армия всех сильнее» Самуил Покрасс в юности считал своим призванием романсы. Патриотическая линия в творчестве братьев появилась, что называется, по велению времени. В 1924 году Самуил Покрасс эмигрировал. Считается, что все «хиты» братьев – лишь развитие его наработок.

Песня «Смуглянка», ставшая популярной после выхода на экраны фильма «В бой идут одни старики» (1973), также появилась до войны. Она была частью сюиты Анатолия Новикова и Якова Шведова о Григории Котовском. Сюита была написана в 1940 году по заказу ансамбля Киевского Особого военного округа. Сюита стала частью советского мифа, в данном случае – мифа о «герое Гражданской войны» Котовском. Фигура это крайне противоречивая. Используя нынешнюю терминологию, Григорий Котовский был, по сути, простым «боевиком» не самых строгих правил. Согласно официальной версии, Григория Котовского убил адъютант Мишки Япончика в отместку за учиненные частями Котовского в годы Гражданской войны еврейские погромы. Есть и другие, не менее колоритные версии. Пианист Левон Оганезов рассказывал автору этих строк, что его теща служила стенографисткой в штабе Котовского, и, по ее словам, героя убил его собственный помощник, застав со своей женой. Впрочем, непосредственного отношения к «Смуглянке» этот факт не имеет. У песни своя сложная история. В довоенные годы она не исполнялась. Ее партитура была утеряна, и только в 1944 году песню восстановили по черновикам, когда Александр Александров, автор советского гимна и руководитель знаменитого ансамбля песни и пляски, попросил у композитора песни для новой программы. Ансамбль исполнил песню в Зале им. Чайковского, вскоре ее услышали на фронте и исполняли как произведение, воспевавшее освободителей Молдавии. Каноническая версия прозвучала почти тридцать лет спустя – в фильме о «поющей эскадрилье». Действие «В бой идут одни старики» происходит в 1943 году, то есть летчики фактически исполняют песню, которая еще не сочинена.

Песню «Синенький скромный платочек», ставшую «визитной карточкой» Клавдии Шульженко, написал в 1939 году польский композитор Ежи Петербургский. После раздела Польши он остался в оказавшемся на территории Белоруссии Белостоке и возглавил республиканский джаз-оркестр. По другой версии, поляк Петербургский гастролировал в СССР в составе ансамбля «Голубой джаз». Во время концерта в столичном театре «Эрмитаж» поэт Яков Галицкий был восхищен вальсом, исполненным ансамблем, и тут же написал на него стихи. Песня попала в репертуар Вадима Козина, Изабеллы Юрьевой, Лидии Руслановой, Екатерины Юровской. Каждый исполнитель пел ее немного по-своему, и в довоенную пору пулеметчик в тексте не строчил. Клавдия Шульженко стала исполнять «Платочек» лишь в 1942 году. Журналист Михаил Максимов, служивший в газете 54-й армии Волховского фронта, специально для нее переделал строчки Якова Галицкого. По просьбе певицы он добавил строки, «отражавшие великую битву с фашизмом». Несмотря на то что в тексте появился пулеметчик, она, как принято считать, стала первой лирической фронтовой песней, прервавшей череду маршей и

Что такое парижская школа, о которой шла речь в нашем предыдущем материале (см.: Лехаим, 2010, № 6), и кто входил в нее, едва ли не каждый второй историк искусства определяет по-своему. Но единственным ее художником, удостоившимся памятника в Париже, оказался Хаим Сутин. Тот самый Сутин, о котором в «Улье» рассказывали анекдоты и невероятные истории, нелепый, со взрывным характером, застенчивый и гордый, теперь он стоит в бронзе на Монпарнасе. Этим памятником Париж обязан скульптору Арбиту Блатасу, литовцу, дружившему с Сутиным и не раз лепившему его. Тот самый Сутин, о художественной мощи которого Фальк сказал одному из своих учеников: «Вот представьте себе, если я, Фальк, – одна лошадиная сила, то Сутин – это сто лошадиных сил».

Смиловичи–Минск–Вильно

Эта мощь умножалась еще и абсолютной одержимостью искусством. Собственно, без этой одержимости немислим был бы тот путь, который прошел сын бедного портного из белорусского местечка Смиловичи, десятый из одиннадцати детей Сары и Соломона Сутиных, родившийся 13 января 1893 года. Имя Хаим он получил в честь деда. От кого он получил свой дар, история умалчивает. Но уже с детства он рисовал мелом, углем, позже – цветными карандашами портреты и фигуры людей. Из полуголодного детства, кроме побоев отца и жалости к матери, отдававшей последний кусок детям, в памяти Хаима навсегда остались субботы. «Зажигался семисвечник, и все мужчины в семье, бородатые, с пейсами, в шапочках на макушке и длинных кафтанах, становились в круг, а женщины и дети располагались на скамьях вдоль стен. Мужчины, положив руки на плечи друг другу, начинали с медленного распева, слегка покачиваясь из стороны в сторону, постепенно ускоряя ритм пения и танца, так что молитва становилась похожей на рыдающий стон, а фигуры сливались в единое целое. Маленький Хаим дрожал от возбуждения и прижимался к материнским коленям; его до слез захватывал головокружительный вихрь танца и мелькающие на стенах и потолке огромные тени, которые придавали всей сцене фантастический вид» – так, опираясь на рассказы Сутина, описывает его детство Мария Воробьева-Стебельская (Маревна). Эти празднования субботы и укрывающие объятия леса, куда Хаим частенько сбегал из дома, относятся, по видимому, к самым восхитительным воспоминаниям детства.

Другая радость была связана с рисованием. В 16 лет его отправляют в Минск в рисовальную школу Якова (Янкеля) Кругера, учившегося в Петербурге и в Париже. «Когда нужно было нарисовать углем какого-нибудь Аполлона, Венеру или Минерву, – как я наслаждался! – вспоминал позже, в Париже, Сутин. – Я рисовал для них богов! Они все были похожи на стариков из деревни Смиловичи!» Если так, надо ли удивляться тому, что учителя ругали его: Хаим рисовал не «как все»...

В школе Кругера он учился вместе с Михаилом Кикоиным, отец которого служил в банке. Что касается Хаима, то «ему приходилось довольствоваться булкой, селедкой и солеными огурцами, которые каждую неделю присылала из деревни мать». Вместе с Михаилом Хаим и отправляется учиться дальше – в Вильно, город, который называли порой «восточноевропейским Иерусалимом». Этому путешествию помог «скверный анекдот». Хаим, вернувшись из Минска, имел неосторожность нарисовать портрет мясника. Сыновья персонажа сочли это оскорблением (и отца, и веры) и избili мальчика так сильно, что мать Хаима подала жалобу в суд. Суд присудил то ли 15, то ли 25 рублей компенсации, которой как раз хватило для того, чтобы отправиться в Вильно.

Виленское иудаистское общество поощрения художеств (или Попечительский комитет талмуд торы) направило его в Виленскую рисовальную школу. Ее иногда называли еще Академией, и в 1904 году она была признана лучшей из рисовальных школ в России. Возглавлял ее академик Иван Петрович Трутнев, который был инициатором создания Виленского художественного общества. В выставках Общества принимали участие художники из Варшавы, Мюнхена, Парижа, не говоря уже о Москве и Петербурге. Короче, три года в Вильно и для Сутина, и для Кикоина много значили. В Вильно был определен дальнейший путь – в Париж.

В 1912 году туда уезжают Михаил Кикоин и Пинхус Кремень, новый приятель друзей из Смиловичей. Кремень родом был из деревни под Гродно под названием Желудок. Он, как и Сутин, оказался младшим в многодетной семье. Пинхус был чуть старше Сутина и, по-видимому, опекал Хаима. Влияние его на Сутина, по крайней мере в юности, было значительным. Как вспоминала Маревна, были годы, когда «Сутин <...> готов был сокрушать все, что критиковал Кремень». По легенде (и по словам Жан-Поля Креспеля), именно «спокойный, жизнерадостный, чуткий, добрый» Пинхус спасет Сутина, когда, доведенный нищетой до крайности, тот попытается повеситься в «Улье».

Но летом 1913 года, когда Хаим сходит с поезда в Париже, о таких ужасах никто не думал. Жизнь виделась в розовом свете. Исследователь творчества Сутина М. Герман пишет, что Хаим, не зная ни слова по-французски, в поисках пути обращался к прохожим с двумя словами: «Монпарнас» и «Кикоин». Оказалось, что этого достаточно. Найдя Монпарнас, он обнаружил Кикоина у кафе «Ротонда». Чуть ли не в тот же вечер друзья отправились в театр на «Гамлета». После спектакля Сутин сказал: «Если в таком городе мы не сумеем раскрыться, не сможем создать великих произведений искусства, грош нам цена».

Джентльмены богемы

Цена им была не грош. Но даже грош нужно было заработать. Иногда приходилось исхитряться самым невероятным образом. Скульптор Лев Инденбаум, в мастерской которого в «Улье» Сутин иногда ночевал, чуть ли не первый покупатель работ Хаима, рассказывал, что однажды художник пришел с просьбой вернуть свою работу, поскольку... он продал ее второй раз кому-то за три франка. Чертыхаясь, Инденбаум не смог отказать приятелю.

Натюрморты писались со страстью «экспертов по голоду». Маревна вспоминала, как увидела в мастерской Сутина натюрморт с копченой селедкой на тарелке, выжатым лимоном, ножом и вилкой. Не тот ли самый, в расположении предметов которого критики будут находить сходство с человеческой фигурой? Натюрморт, судя по слою пыли на нем, служил долго. Маревна, видно, посетовала, что хорошие продукты пропадают. На что Сутин возразил: «Что ты, если бросить селедку в кипяток, она разбухнет, и я съем ее с картошкой и луком».

В «Улье» были разные компании. Если сдержанный и романтичный Шагал был дружен с поэтом Блезом Сандраром, общался с Гийомом Аполлинером, то любитель бокса и выпивки, непредсказуемый Хаим Сутин подружился с «гулякой праздным» Амедео Модильяни. Красавец из Ливорно, Модии, как звали его друзья, умел очаровывать. «Модии был полон прелести, непосредственности и заносчивости, его аристократическая душа обитала среди нас во всей многоцветной, небрежной красоте», – писал Поль Гийом. Модильяни просиживал в кафе, рисуя портреты за франк или бокал вина – до двадцати штук за вечер. Но Маревна (кстати, так художницу звали с легкой руки Горького) в своих

мемуарах пишет и о другом: «Благодаря глубоким знаниям итальянского искусства он был великолепным гидом по Лувру и познакомил Сутина с итальянскими примитивистами, художниками кватроченто, – с Джотто, Боттичелли, Тинторетто. Он ввел Сутина в круг блестящих молодых художников <...> Пабло Пикассо и Диего Риверы, поэтов Жака Кокто, Гийома Аполлинера и Макса Жакоба <...> композитора Эрика Сати». Справедливости ради надо заметить, что Модильяни с Сутиным проводили время не только в Лувре, но и в кабаках, где Модии тоже не было равных...

Кстати, он же познакомил Сутина с Леопольдом Зборовским. Зборовский был поэтом, приехавшим из Польши изучать словесность в Сорбонне, но во время войны, за неимением лучшего, начавшим торговать работами художников, с которыми просиживал в «Ротонде». Точнее, он предлагал парижским торговцам их работы. С Модильяни у Зборовского был договор. С 1916 года он платил ему 15 франков в день (к 1920 году сумма выросла до 3 тыс. франков в месяц), а тот отдавал ему свои произведения для продажи. Зборовскому удалось не только как-то ввести в рамки разгульную жизнь художника (по крайней мере, историк Жан-Поль Креспель утверждает, что за три года этого соглашения – до смерти в 1920 году – Модильяни написал свои основные работы), но и поднять цену с 50 до 400 франков за портрет его работы. Видимо, Модильяни убедил Зборовского взять под свое крыло и картины Сутина. Во всяком случае, в 1919 году Збо купил несколько работ Сутина по 5 франков за каждую и отправил его на три года подальше от Парижа, с его военными бомбардировками, голодом и соблазнами пьяных застолий. Вначале в городок Сере во французских Пиренеях, а затем – на Ривьеру в Кань-сюр-Мер. Оба места были давно облюбованы французскими художниками.

И видимо, Сутина поначалу там было неплохо. Тем более что туда же приезжают парижские друзья. В частности, по воспоминаниям Маревны, в Кань-сюр-Мер Модии и Сутин какое-то время «жили и работали вместе; их дружба была настоящей и прочной, с чувством преданности с обеих сторон». Там, считают критики, сложился фирменный стиль Сутина – «драматический колоризм <...> одержимость рубиново-красными тонами <...> деформации изображения, открытая эмоциональность письма» (В. Кулаков). Там в 1920-м Сутин узнал о смерти Модильяни в Париже. Именно там его охватывает депрессия. К 1923 году Сутина явно осточертел Лазурный Берег. Сохранилось его письмо Зборовскому 1923 года из Каня. Его можно было бы считать трагикомичным, если бы не подлинное отчаяние, которым оно наполнено. Поблагодарив за письмо и денежный перевод, Сутин пишет: «Первый раз в жизни я не в состоянии ничего делать. Мне плохо. Я деморализован, и это сказывается на работе. Я написал только семь холстов. Прошу Вас простить меня за это. Я хотел уехать из Кань-сюр-Мер, я больше не в силах выносить этот пейзаж. <...> Я должен писать мерзкие натюрморты вместо пейзажей. <...> Не могли бы вы сказать мне, куда податься, поскольку уже несколько раз я собирался возвращаться в Париж». Поразительнее всего, что для Сутина самый важный аргумент – не то, что ему плохо, а то, что «это сказывается на работе».

Можно представить, с каким чувством Зборовский читал этот крик души. Скорее всего ему хотелось послать подальше (гораздо дальше Ривьеры!) и Сутина, и его работы, которые скорее отпугивали, чем привлекали покупателей. Легенда гласит, что однажды после скандала с женой, которая явно не была поклонницей странного таланта Хаима Сутина, Зборовский вырвал из подрамников несколько холстов своего подопечного и сунул их в печку. По другой версии, отдал кухарке. Но им не суждено было сгореть. Потому что на следующий день к Зборовскому заглянул американский коллекционер Альфред Барнс, маленький старичок в очках, в сопровождении поэта Поля Гийома. Барнс и углядел на стене маленькую работу Сутина, заинтересовался, кто этот парень и есть ли еще его работы. Збо, сказав, что часть работ хранится у приятеля, понесся на кухню к

печке и извлек холсты Сутина. Остальное было делом техники – нагреть утюг, прогладить загибы через тряпку и представить американцу все в лучшем виде. Барнс смотрел долго и купил все работы Сутина, которые нашлись у маршана. «Как я мог сомневаться в таланте Сутина, что я за идиот!» – радостно сообщил Зборовский Маревне, рассказывая эту историю. Так вошла звезда Хаима Сутина, одного из самых необычных гениев XX века.

Кстати, чуть позже Сутин возненавидел все свои работы, сделанные в Сере. Отчего – неизвестно. Но, разбогатеv, он скупал их, чтобы... немедленно уничтожить. Мадлен Кастен, в имении которой Сутин гостил несколько лет подряд в 1930-х, вспоминала, что даже говорить о покупке новой картины Сутина можно было только после того, как ему находили два-три его же полотна с видами Сера. «Сутин закрывался у себя, долго рассматривал их и затем рвал и сжигал даже кусочки холста». Ну, в том, что сжигал, как раз ничего странного. Чтобы никому не пришло в голову их сшивать и, подновив, снова продавать, как это приключилось однажды. А кроме того, он все-таки был родом из той же страны, что и другой одержимый талант, сжегший второй том «Мертвых душ».

Неисповедимое парижское счастье

Однажды Сутина спросили: «В вашей жизни было, наверное, какое-то несчастье». «Как вам это могло прийти в голову? – возмутился тот. – Я всю жизнь был счастливым человеком».

С этим трудно не согласиться, когда читаешь письма Сутина, написанные в 1939-м из Бургундии, некоему кавалеристу Жоржу Грогу, который (можете себе представить!) оказался родом из-под Минска и даже знал Смиловичи. На носу вторая мировая, самые разумные люди собирают монетки и уезжают в Штаты. А еврей Сутин, сидя в бургундской глуши, жалуется кавалеристу Жоржу, который служит в Алжире, на отсутствие... бумаги и красок в магазинах: «Если сможешь купить мне в Алжире тюбики масляной краски и гуашь, покупай все, что найдешь. Привезешь их, когда приедешь на праздники. Ты меня очень обяжешь. Раввин Ибрагим, которому ты посылаешь привет, передал мне наконец мои семейные документы из Смиловичей. Он, если помнишь, когда-то преподавал там древнееврейский. <...> Я встретил также Исаака Спорча из Минска, который работает у одного парижского торговца картинами. Он мне иногда приносит краски, потому что мне без того просто не выжить...» Та же просьба – «краски в тюбиках или в коробках, покупай все!» – повторится в письме 1940 года, когда немцы были уже на подступах к Арденнам...

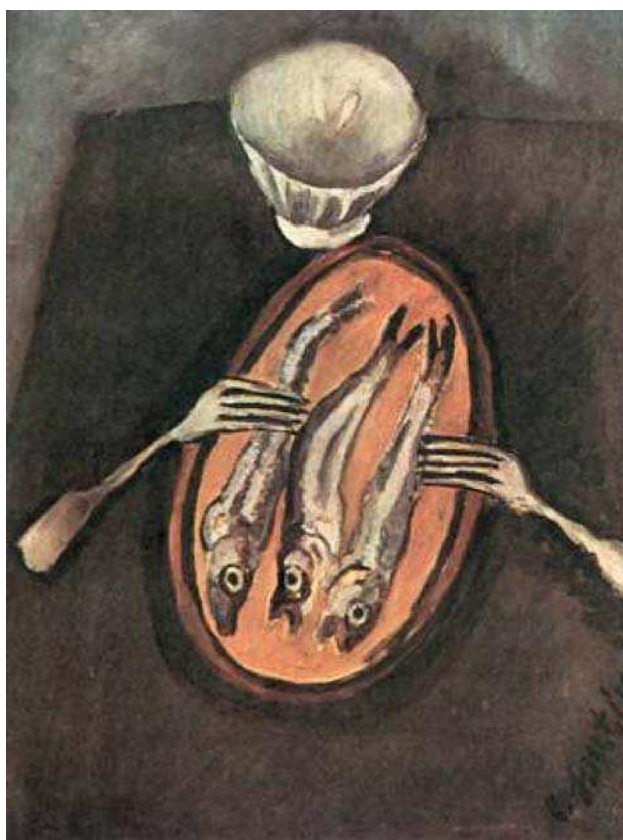
Сутин действительно не мог жить без живописи. Ему везло: вокруг почти всегда были люди, которые были готовы, как минимум, помочь с красками. Как максимум, спрятать от немцев, когда те оккупировали Францию. Счастливчик Хаим Сутин не был арестован, не попал в фашистский концлагерь. Всегда находились женщины, готовые его опекать и, возможно, любить. Он умер в Париже в 1943 году, не дожив до пятидесяти лет, от мирной болезни – язвы желудка, которой страдал всю жизнь, то ли во время операции, то ли ночью после нее. За его гробом на Монпарнасском кладбище шли Карко, Кокто и Пикассо.

Его друзья юности Михаил Кикоин и Пинхус Кремень не были такими счастливыми, как Хаим Сутин. Пинхус Кремень, с которым Сутин рассорился, то ли не сойдясь во взглядах на творчество Сезанна, то ли обидев друга неблагодарностью и швырнув ему в лицо деньги, дожил до 91 года. Говорят, на вопрос о Сутине Кремень отвечал, что никогда не слышал о таком художнике. В 1923 году Пинхус остепенился,

женился, родил сына... После второй мировой войны построил себе дом в Сера, столь любимом художниками. Сутин, разумеется, не в счет.

Михаил Кикоин женился и того раньше – в 1915-м у него уже была дочка Клэр, а потом родился и сын Жак (Янкель). За полвека он написал больше двух с половиной тысяч картин, многие из которых хранятся в крупнейших музеях мира. Он умер в 1968-м, в 76 лет, на вилле дочери на Лазурном Берегу, на мысе Антиб. За год до смерти Кикоин написал портрет старого друга Хаима Сутина.

Несмотря на музеи и успех у галеристов, долгое время считалось, что и Кикоин, и Кремень все же остались в тени своего друга. Впрочем, Маревна, например, была убеждена, что их работы заслуживают большего признания любителей искусства, чем приговора «Сутины для бедняков». Их вина была только в том, что они были не гениями, а просто талантливыми художниками.



**Хаим Сутин. Натюрморт с селедками.
1916 год. Коллекция Е.Ф. Грановой
(Кати Гранофф), Париж**



Пинхус Кремень. Городок. 1926 год



Пинхус Кремень. Дама в шляпе. Около 1920 года



**Михаил Кикоин. Пейзаж в окрестностях Анне-сюр-Серен. Около 1928 год.
Частная коллекция**



**Хаим Сутин. Вид на Сере (фрагмент). Около 1919 года.
Частная коллекция**



Амедео Модильяни. Портрет Леопольда Зборовского. 1918 год.

Художественный музей, Сан-Паулу, Бразилия



**Хаим Сутин. Автопортрет. Около 1918 года. Музей искусств,
Принстонский университет**



**Хаим Сутин. Двое детей на дороге. Около 1942 года.
Музей искусств и истории, Женева, Швейцария**

Кумран

*Париж, Национальная библиотека Франции,
до 11 июля*

Подзаголовок этой уникальной выставки – «Секрет манускриптов Мертвого моря» – лишь обозначает тему, но не обещает раскрытия секретов. Оно и понятно: одно из самых фундаментальных и одновременно загадочных открытий XX века выглядит лишь началом большого пути. Путь этот, начавшийся после находки бедуинами в 1947 году семи фрагментов пергамента на древнееврейском языке, документирован на выставке множеством предметов из раскопок в Кумране. Многие из них посвящены жизни таинственной общины, соблюдавшей строжайшие повседневные правила и ожидавшей явления мессии. 130 экспонатов предоставлены как ближневосточными фондами самой библиотеки, так и Лувром и Музеем Библии и Святой земли. Впервые показывается во Франции и важнейший фрагмент т. н. «храмового свитка» – из иерусалимского Музея Израиля. Современное состояние научной мысли разъясняют многочисленные разделы, посвященные раскопкам и комментариям ученых (здесь много видеофильмов с интервью). Тем, кто не увидит самой выставки, утешением может служить каталог, своей содержательностью способный заменить университетский курс лекций.

Исаак Левитан

*Петербург, Русский музей,
до 26 июля*



Исаак Левитан. Золотая осень. Слободка. 1889 год
Государственный Русский музей, Петербург

Исаак Ильич Левитан – вроде бы классик на все времена, но прежде Русский музей никогда еще не выставлял вместе все его работы из собственной коллекции. Первая такая экспозиция, состоящая из примерно сотни работ, дополнена также картинами из Третьяковки и петербургского Музея-квартиры И.И. Бродского.

Смерть Левитана (1860–1900) потрясла не только Чехова и всех его близко знавших, но и людей, казалось бы, совершенно далеких. Так, 24 июля 1900 года Дягилев признается коллекционеру и художнику Илье Остроухову: «Я искренне любил Левитана. После смерти Чайковского это первая смерть, которая так тяжела для меня. Это две самые ужасные утраты в моей жизни. Всю мою энергию посвящу на заботы о его памяти». Конечно, для Дягилева это был и политический вопрос: он пытался переманить Левитана у передвижников, заполучить его в члены «Мира искусств», но безуспешно. Ничего не вышло и из просьб к Чехову написать что-либо о Левитане для дягилевского журнала. Но сама эта борьба за Левитана в начале века показательна: его актуальность понималась уже и тогда.

Кирхнер

*Ödai éóóóò, Øò äääüü
ãî 25 èpëÿ*



Эрнст-Людвиг Кирхнер. Западный порт Франкфурта-на-Майне.
1916 год. Штедель, Франкфурт

В этом году проходит сразу несколько выставок немецкого экспрессиониста Эрнста-Людвига Кирхнера (1880–1938). Его долгий путь к прижизненному признанию (первая картина была куплена музеем, когда художнику было почти сорок) едва не закончился катастрофой после прихода нацистов к власти. Кирхнер уже перебрался к этому времени в Швейцарию, но более 600 его работ покинули немецкие музеи, а также частные коллекции. Среди собирателей Кирхнера было немало евреев, принужденных сдать свои коллекции «на временное хранение» нацистскому государству; многие из них так и не вернулись ни к хозяевам, ни к их наследникам. Портрет галериста Людвиг Шамеса, работавшего с Кирхнером, тоже представлен во Франкфурте. Штедель, первым среди музеев купивший полотно у Кирхнера, также лишился всех его работ. Зато сегодня он воздает должное художнику блестящей ретроспективой. Она выстроена не по тематическому, но стилистическому принципу и способна удивить даже тех, кто считает себя знатоком кирхнеровского творчества. Множество споров вызывает последний период его творчества, прошедший фактически в ситуации художественной изоляции в Давосе, но отмеченный тем не менее рядом запоминающихся работ.

Герои, фрики, суперраввины. Еврейские цвета комиксов.

*Аадеи, Аадеиее и оае,
аи 8 ааиіа*



Ури Финк. Сабрамен,

№ 1, ноябрь 1978 года

Выставка – совместный проект трех Еврейских музеев (Парижа, Амстердама и Берлина). Но герои прибыли из Нью-Йорка. Именно там обосновались в свое время еврей-иммигранты, которые и стали авторами хрестоматийных образов – Бэтмена, Человека-паука, Супермена... Здесь вся история комикса, с начала XX столетия и до наших дней. Представлены все классики жанра, от Рубе Гольдеберга, Вила Эйснера и Нарвея Куртцмана до наших современников Арта Спигельмана, Руту Модана и Бена Кэтчора. Считается, что современные комиксы обладают еще и высоким литературным качеством. Так это или не так, зритель сможет решить на экспозиции, объединившей 400 экспонатов. Каталог к выставке продается лишь в самом музее.

Ааеиіе І іедіаі

ПРИСТАЮТ К ЗАСТАВЕ ГОСТИ

49-й Фестиваль Израиля

Āāēē-Āāī à Çèí āāð, Ī æīä Çèí āāð

Рассказ о программе Израильского музыкально-драматического фестиваля, 49-го по счету, сам по себе, не спрашивая рассказчиков, начинается словами из бергамески Франческо Манелли (1594–1667) «Пассажиры барки»:

Ñāāē ò āīī ā āāðēé

Ī āīīæ è ðū!

Ó íāñ āāð āðīē ī īī ò ò íúé

Óæ á āāī ūēà ÷ à ò ūðá

Āāé, īēūāāī, īēūāāī āī āðāā!

À í ó ī īāāēēī āñ ī ī ÷ āīðè:

Óðāī òòó - āāð ÷ è í ó è ī ī ÷ āī óð,

Èīī āī òó - ðāāīēó ī ī ÷ āī óð,

Ī āī òó - æēī í óð óēŷæéú

Èīāīēēī - ī óīò óð ÷ à óéú

Èīī āāðāóó - ò ðāāíóēē ī āī ī īæēī,

Óīīēāī òó - ī æēéóð ðīāāóéú

× ò ī - ò ī æī ò èē ī āðāī òēē...

Āāé, īēūāāī, īēūāāī āī āðāā!



Сцена из спектакля «Шинель». Постановка английского театра «Геккон» Сцена из балета «Гнозис». Постановка танцевальной компании Акрама Хана

Эта песенка, старинная итальянская версия хита нашего детства «Мы едем, едем, едем в далекие края», – часть венецианской барочной композиции французского камерного ансамбля «Le Pœ`me Harmonique», и она отчасти передает настроение, вызываемое замечательным международным фестивалем нашей столицы. По какой-то странной традиции (по крайней мере, на нашей более чем двадцатилетней израильской памяти) он постоянно приходится на международные кризисы, естественно, с Израилем в центре событий. Что ни сиван месяц – то очередной кризис, а вместе с ним – радость, даруемая ведущими мастерами искусств со всего мира, радость, помогающая вновь и вновь испытать ту самую, ни с чем не сравнимую легкость бытия в нашем невероятном городе. И вместе с нею – вечную иронию невероятных совпадений.

Концерт состоялся через несколько часов после известного всем инцидента в нейтральных водах. Израильская публика устроила мастерам из Франции такую овацию, которой мы, пожалуй, и не упомним. Гости были чрезвычайно щедры, после полуторачасовой, без перерыва, программы повторяли целые номера на бис – один раз, другой... Для тех, кто в фильме Эжена Грина «Мост искусств» слышал в их исполнении мадригал Клаудио Монтеверди «Жалоба нимфы» и на годы остался под впечатлением от неземного сопрано Клэр Лефиллиатр, живую встречу с этим ансамблем можно приравнять к сбывшейся детской мечте. И вот «Жалоба нимфы» звучит со сцены Зала Генри Крауна в Иерусалимском театре дважды.

Мы сидим в зале и думаем: значит, не все еще потеряно. Все-таки наша собственная барка продолжает плыть. Кажется, как раз наличие носорога абсурда на борту и спасает положение (персональные поклоны господам Феллини и Ионеско). Вот и все флаги в гости к нам, а если и не все, так хоть самые красивые.

В репертуаре этого замечательного музыкального коллектива, созданного в 1998 году Винсентом Деместром, костюмная постановка «Мещанина во дворянстве» Мольера и Люлли. Хотелось бы услышать и увидеть шедевр двух Жан-Батистов на следующем фестивале. И дальнейшие турецкие ассоциации вовсе не обязательны.

Āāē, i'ēūāāi, i'ēūāāi āi'āāā!

Программа этого года весьма разнообразна. В ней можно достаточно определенно проследить два основных направления: мультикультурализм, с одной стороны, и необычное, парадоксальное прочтение классики – с другой.

Как всегда, важное место в ней занимает современный балет. Открывшая для нас фестивальную программу балетная труппа Шен Вей выступила с трехчастной композицией «Re». Шен Вей – один из ведущих современных хореографов, родился в Китае и постоянно живет в США. Вполне естественно, что синтез различных культур – основа его эстетики. Сочетание тибетского фольклорного пения в камбоджийских джунглях авторской звукозаписи, скрипки Тодда Рейнолдса и живых картин, напоминающих одновременно и о Босхе, и о Хиросигэ, создает особый эффект. С начальных тактов первой части, когда на занимающей всю сцену мандале из крашеного риса медленно разворачивается причудливый медитативный узор движений, и до самого конца, когда истекает завод многофигурной механической игрушки «Транскитайский Великий железный путь», зрители пребывают в эклектичном мире видений.

Тот же синтез культур торжествует и в балете «Гнозис» английской танцевальной компании Акрама Хана. Балет основан на индийском эпосе «Махабхарата» и совмещает классический танцевальный стиль каток с современной западной хореографией, а вдобавок к индийским мастерам задействует таких всемирно известных музыкантов, как японский барабанщик Ёшиэ Сунахата и виолончелистка Люси Рэйлтон.

Композиция «Тангокинез» группы «Nuevo Tango» аргентинского хореографа Аны Марии Стекельман соединяет традиционное танго с элементами классического балета.

Компания Билла Джонса в мультимедийной постмодернистской программе «Серенада / Утверждение» замахнулась (по заказу – нет, не Гостелерадио СССР и не самого Белого дома – Центра Линкольна) аж на американскую историю. Особенно хочется отметить музыкальную композицию – от моцартовского «Реквиема» до диксиленда – в живом исполнении (скрипач Джером Бегин, пианист К.А.У. Ланкастер и сопрано Лиса Комара), прекрасную работу с видеопроекциями Джанет Вонг и костюмы Анджи Джалак.

Израильская танцевальная труппа «Вертиго» (руководитель Ноа Верхайм) обратилась к экологической теме в трилогии на музыку Рана Багно: «Рождение Феникса», «Белый шум» и «Манна».

Группа «Зик», созданная художниками, выпускниками Академии Бецалель, и начавшая играть с огнем уже два с половиной десятилетия назад, продолжает удивлять публику. Их новая постановка «Кокутзу», показанная в промышленной зоне столичного квартала Тальпиот, совмещает геометрию, скульптуру и перформанс.

А теперь об авангардном прочтении классики. В этом году особое внимание на фестивале было уделено шекспириане. «Сон в летнюю ночь» Вильнюсского городского театра в постановке Оскараса Коршуноваса уводит всем известную волшебную комедию за грань психодраматических опытов Арто.

«Макбет» Тбилисского театра имени Васо Абашидзе в постановке Давида Доиашвили превращает всемирно известную трагедию в фарс с акробатикой и видео, в

котором главными героинями становятся три ведьмы. А в спектакле «Ромео и Джульетта (Эта сучка может стать частью меня!)» по пьесе живущего в Германии турецкого еврея Нурана-Давида Калиса в постановке Михаэля Ронена и Орена Дольфина шекспировский текст сошелся с хип-хопом, рэпом и изрядной порцией чернухи.

Отнюдь не традиционно и прочтение «Шинели» английским театром «Геккон». Основатель театра режиссер спектакля и исполнитель главной роли Амит Лахав, наш человек в Манчестере, использует Гоголя лишь в качестве источника сценического вдохновения, не более. Созданное им эклектическое действо, жанрово определяемое как «физический театр», находится на пересечении балета, пантомимы и трагикомической клоунады. И снова, конечно, мульти-культы: со сцены звучит вавилонская смесь языков, в которой можно различить итальянский, японский, венгерский, французский, английский, иврит и испанский.

Израильская драма была представлена инсценировкой знаменитого рассказа Ш.-Й. Агнона «Из недруга в друга» в постановке Яффского еврейско-арабского театра и спектаклем «Магия Орны» по биографической пьесе Хагит Рахви Николивски в постановке Рафи Нива, посвященным творчеству одного из ведущих израильских режиссеров Орны Порат, лауреата специальной премии нынешнего фестиваля.

Детей тоже не обошли вниманием. Им были предложены «Двойная Лотта» по книге Эриха Кестнера, в Израиле давно уже превратившаяся в «Двойную Ору», «Петя и волк», где Сергей Прокофьев встречается с Эфраимом Сидоном, а также «Экстраваганца» грузинского Театра пальцев под руководством Бесо Купрейшвили.

А сколько музыки, классической и не очень, в залах, в фойе, на улицах, начиная с шопеновских и шумановских марафонов с участием израильских и зарубежных исполнителей, лауреатов конкурса Артура Рубинштейна Еол Еум Сон (Корея) и Пухан Ванга (Германия/Китай), и кончая концертом такого традиционного жанра еврейской литургии, как пияут, в аранжировке Омера Авиталья и в исполнении рабби Хаима Лука. Большой удачей стало исполнение «Короля Артура» Генри Перселла Иерусалимским барочным оркестром под управлением английского дирижера Эндрю Пэрротта и при участии израильских и британских солистов Яалы Авиталь, Анат Эдри, Томаса Гетри и Саймона Уолла, а также хора Нового израильского вокального ансамбля.

Театр голосов и квартет «NYUD» из Эстонии привезли композицию, составленную из средневековой музыки и сочинений Арво Пярта. Ансамбль «Adapter» (Израиль–Исландия–Германия) выступил с музыкальной композицией, посвященной Вальтеру Беньямину. На открытой сцене Султанского пруда звучала «Травиата» Джузеппе Верди в постановке Новой израильской оперы. Большим концертом, включающим в себя неизбежных «Порги в морге и Бесс в ребро» и Голубую, то есть попросту в стиле блюз, рапсодию (дирижер и пианист Ярон Готтфрид), была почтена память Джорджа Гершвина. Любители джаза смогли услышать легендарного саксофониста Чарльза Ллойда, трио Анджея Ягодзинского и множество израильских мастеров.

В кратком обзоре широкой и богатой фестивальной программы почти все неизбежно сводится к перечислению, да и для него под конец тоже не хватает места. А ведь хочется не оборвать рассказ, а, напротив, оставить читателей с чувством некоей перспективы. Раз уж мы начали с образа плывущей в иерусалимских водах барки, то ею, видимо, лучше всего и закончить.

Чему навстречу плывет она? Да кто же знает! Жизнь наша непредсказуема, оттого она так и прекрасна. Единственное, что можно сказать с определенной долей уверенности, – это то, что на будущий год, как бы там ни было, состоится юбилейный, пятидесятый Фестиваль Израиля. И снова нам будет что вспомнить.

Ááé, áí áðáá, áí áðáá í èúááì !

Êíááà æ ì ù í ááá þ áíííáí ?

Ì íðÿ:éè, áí áðáá í èúáè ò á

Áðáéíí, ì èèúá, áðááè ò á

È óáááí í í ðéè ò á!

ЖИТИЕ ЕЕ

Майя Волчек

Режиссер Джон Кент Харрисон

Храброе сердце Ирены Сендлер

США, 2009



«Храброе сердце Ирены Сендлер» – телевизионный фильм, снятый год назад канадским режиссером Джоном Кентом Харрисоном для «Hallmark Hall of Fame» – компании, специализирующейся на выпуске «фильмов о женщинах и для женщин». «Храброе сердце» вполне подпадает под это определение, но об этом чуть ниже. Пока лишь отметим, что, к чести режиссера и компании «Hallmark», событийная часть фильма вполне исторически достоверна. Во время войны Сендлер была сотрудницей варшавского Управления здравоохранения. Ей и нескольким коллегам разрешалось посещать гетто, где были заключены 441 тыс. евреев. В обязанности Ирены и ее подруг входило следить за тем, чтобы в гетто не разразилась эпидемия тифа. Заболевших требовалось немедленно уничтожить. За время работы в гетто Сендлер удалось вывезти оттуда 2500 детей, которые были переданы в польские детские дома, частные семьи и монастыри. Младенцев прятали

в ящик из-под инструментов, детей постарше вывозили под брезентом в кузове грузовика медицинской помощи. В машине находилась собака, обученная лаять, когда ее пропускали в гетто или выпускали из него. Лай собаки заглушал плач младенцев. Надеясь разыскать родственников спасенных детей после войны, Ирена записывала их данные и хранила этот список. В 1943 году Ирена Сендлер была арестована по анонимному доносу. Во время допросов ее жестоко пытали и приговорили к смертной казни. К счастью, охранник, сопровождавший ее к месту расстрела, был подкуплен польской подпольной организацией Совета помощи евреям («Жегота»), и Ирене удалось бежать. По официальным данным, она числилась казненной. До конца войны Ирена Сендлер скрывалась под именем Ирены Домбровской и продолжала помогать еврейским детям. Такова событийная канва фильма, в конце которого зритель видит интервью с 98-летней Иреной Сендлер, записанное незадолго до ее смерти.

Иными словами, «Храброе сердце» – вполне добротный биографический телефильм, дань памяти великой женщине, спродюсированный в США при участии Польши и Латвии (то есть еще и интернациональный проект). На этом можно было бы и закончить, если бы латвийский продюсер Игорь Пронин не надумал устроить «Храбромому сердцу» настоящую кинопремьеру в одном из московских кинотеатров. И случилось неизбежное: на большом экране скромные художественные достоинства ленты стали вдруг удручающе очевидны.

В версии Харрисона жизнь Ирены Сендлер выглядит как житие святой, снятое в жанре феминистской мелодрамы: сильные женщины на фоне трагедии Варшавского гетто, скорбящая героиня, бредущая дорогой праведницы под красиво-печальную, хотя и слегка однообразную музыку композитора Кашмарика, – все вызывает уважение и навеивает невольную скуку. «Тематика фильма невероятно тяжелая, но другого способа рассказать эту историю нет», – утверждает уважаемый журнал «Variety». Позволим себе не согласиться. То, что случилось с Харрисоном, по-человечески понятно: потрясенный величием подвига, он смотрел на свою героиню снизу вверх. Беда в том, что «взгляд снизу» невозможен, когда речь идет об отношениях художника и героя. Если бы Харрисон встал чуть сверху и чуть в стороне, он бы увидел, какие быстрые и живые глаза у его героини. И безусловно, задумался бы о том, что жизнь молодой женщины даже посреди ада Варшавского гетто не могла состоять лишь из великой миссии. Наверняка она была кокеткой – с такими-то глазами! Любила поболтать с подружками – чуть детское любопытство к жизни заметно даже в лице 98-летней Ирены. В конце концов, как мы сегодня знаем, война была только началом испытаний этой великой судьбы: фашистскую оккупацию сменила советская, и Ирену Сендлер опять преследовали, таскали беременную на допросы (ребенка она тогда потеряла), а позже не давали ее детям поступать на дневное отделение в Университет.

Она переживала: считала себя плохой женой и матерью, но греха уныния за ней отродясь не водилось – никто не чувствовал радости жизни так остро, как ощущала ее Ирена.

И если бы в картине у Харрисона высокое перемежалось с обычным, а страшное со смешным (как это и случается в жизни), художественное впечатление от его фильма было бы много ярче. Но как бы то ни было, фильм об Ирене Сендлер снят, российские зрители его увидят на ТВ, и это, конечно, благо. Потому что есть истории, которые заслуживают постоянного и подробного пересказа. Пусть даже и не в самом удачном формате.

52 МИНУТЫ ВОПРЕКИ ВЕЧНОСТИ

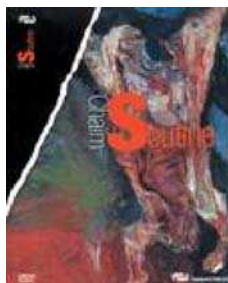
À l'encre et à l'huile

Режиссер Валери Фирла

Chaim Soutine

Франция, DVD

Язык французский, английский



Во Франции вышел документальный фильм о Хаиме Сутине. Режиссер Валери Фирла (сценарий написан совместно с Мирей Леви) не мучился с названием. «Хаим Сутин» – чего же проще? Но особенность мифа такова, что само имя оказывается вопросом и попыткой ответа одновременно.

Фильм начинается сценой аукционных торгов. Цены растут как на дрожжах. Спрос на Сутина сегодня так велик, что 15 млн долларов за портрет его кисти мало кого удивят.

Очередная издевка истории: бедный, порой нищий художник после смерти становится одним из самых дорогих представителей парижской школы (тон в ней задавали выходцы из еврейских местечек Российской империи).

Фильм состоит из интервью с арт-критиками, специалистами по творчеству Сутина, воспоминаний его друзей и современников – тут много архивных съемок. Например, художники Мишель Кикоин, Хана Орлова и Пинхус Кремень показаны в черно-белой записи 1962 года, а в записи 1985-го – Полетт Журден, секретарь галереи Леопольда Зборовского и подруга Сутина. Но в этих рассказах есть обаяние живой речи, самого важного свойства документалистики, когда интонация и пауза оказываются столь же важными свойствами рассказа, как и сами слова. Ведь то, о чем они рассказывают, в принципе известно по мемуарам: холодная студия, без света и газа, чтение Данте, бесконечные, на протяжении всей жизни походы в Лувр (влияние Курбе, Коро и других его любимцев очевидно при параллельном показе). Зборовский опекал Сутина, отправив его за свой счет сперва в Серре, столицу кубизма, которую облюбовали Пикассо и Брак, затем на Лазурный берег, в Кань-сюр-Мер... В Серре работал и Кикоин. Их натюрморты

той поры оказываются похожими по композиции. Вероятно, из-за бедности принадлежности для рисования они покупали сообща.

В фильме используется простой, но эффектный прием, когда реальный пейзаж, городской вид «переплавляется» в картину. Становится понятно, как обретают силу новые пропорции, как деформируется привычное пространство, словно выдавливая краски из глубины предметов на их поверхность. Поначалу этот мир кажется неудобным, чуть ли не галлюциногенным, с его подчеркнутой экспрессией красок, тревожным ощущением всеобщей текучести. Но есть такой слух, который и сквозь саксофоны *belle époque* слышит завывание ветра, волчий вой и треск разрушаемых непогодой деревьев. Шоферу Зборовского Сутин говорил, что дерево на площади в Вансе кажется ему собором. На улице у мольберта он мог часами ждать ветра, чтобы ветки и листва пришли наконец-то в движение, без этого не получалось полотна. Природа для него – основа всего, его взгляды далеки от антропоцентризма, люди лишь часть вечно меняющегося мира, и хотя восторг художника перед кондитерами в белом непреходящ, обстоятельства повседневной жизни совершенно неважны. Потому можно было не мыться неделями (что вспоминают не всегда одобрительно) и воспринимать окружающее как одну из версий бытия.

По приезду в Париж в 1913 году Сутин зарегистрировался в полиции как русский – позднее это помогло ему в годы оккупации. Его личное дело с фотографией плохого качества до сих пор хранится в архиве. Сперва он жил в «Ля Рюш», затем в «Сите Фальгер» на Монпарнасе. До своей смерти в 1932 году Зборовский был его галеристом, снимал ателье, платил жалованье. Оба они дружили с Модильяни, но круг общения ограничивался в основном соотечественниками. По-французски Сутин говорил плохо, а в Сере, где в ходу был лишь каталонский язык, жизнь его вообще напоминала затворничество (впрочем, он как-то ведь договаривался с местными жителями о цене в 5 су за позирование?!). Кикоин и Кремень шли в фарватере Шагала, но сам Сутин так никогда и не стал художником еврейской темы. Та революция в искусстве, которую он совершал, нацеливалась на предметный мир – натюрморты, портреты, мясные туши, которые сам он после Сера терпеть не мог, с середины 1920-х перестал рисовать вовсе и стремился уничтожить их при первой возможности. Зборовский в свое время вытащил немало холстов из помойки рядом с его мастерской.

В первую мировую Сутин отправился на фронт добровольцем, но из-за проблем со здоровьем вынужден был вскоре покинуть армию. Двадцать с лишним лет спустя язва желудка и сведет его в могилу; операция, решил консилиум, уже не помогла бы. В войну он жил в провинции, в Шампиньи-сюр-Вёд. Голодая, пытался менять картины на еду, но крестьяне отказывались, о чем сегодня очень жалеют их дети. Но у кого-то еще хранится, например, палитра, подаренная Сутиным (артроз руки ему уже не позволял ее держать).

Смерть в пятьдесят кажется несправедливостью, но все в итоге зависит от интенсивности, с которой проживалась жизнь. Иным и к ста не удастся совершить то, на чем другие остановились в молодости.

Сутин изображал людей более старыми, чем те были в действительности. Но десятилетия спустя, когда его модели старились с течением времени, они становились похожими на давние портреты Сутина. Этот зазор во времени между взглядом автора и способностью окружающих принять его оптику составляет подлинный возраст художника. Но невозможно понять, чем определяется его будущее.

Для мамы, а особенно бабушки, не говоря уже о счастливнице-прабабушке, это событие – радость («Наш мальчик вырос!»), но со слезами на глазах («Наш мальчик-то уже совсем взрослый...»).

Стало традицией праздновать бар мицву торжественно и устраивать по этому случаю торжественный ужин – трапезу мицвы, или сеудат мицва.

Как сказано: «И устроил Авраам пир великий в день отлучения Ицхака, то есть отлучения его от дурных наклонностей, когда ему исполнилось 13 лет».

На этой знаменательной трапезе виновник торжества произносит в присутствии приглашенных речь (драша), читает выдержки из Торы. А гости – родственники и друзья – поздравляют его, дарят ему конфеты и подарки, лучше не столько дорогие, сколько полезные и «умные» – хорошую книгу, например.

В ресторане «Йона» Московского еврейского общинного центра регулярно проходят трапезы мицвы.

На одной из них, состоявшейся недавно, нам посчастливилось побывать.

Может быть, какие-то идеи, рецепты вам пригодятся, что-то вы захотите взять на вооружение, поскольку к меню трапезы и к приготовлению каждого блюда шеф ресторана Петр Слабодник подходит творчески, с фантазией и душой.

Аперитив

Не только напитки, но и блюда, которые подаются, пока гости продолжают собираться.

ТУНЕЦ ПОД МАРМЕЛАДОМ



Замечательная холодная закуска с нежным пикантным вкусом, легкая в приготовлении. Можете попробовать приготовить этот аперитив дома.

Γάλακτα εις: 2 εα ιιι εαϊδία, 1 εα παδα, 500 α οεεα οοιοα «αεβ οει» (ιδαι εοι-εεαι), 1 αιευσαγ οιαειαεα παεαοα δειεα ε αεγ μοα: 200 ιε παεααιαεαοια αιευηειαια μεα, 100 α πααδιε ιοαου ε 10 α παι γι ειδεαιαδα Γαλακτα ιιι εαϊδου δαμαδεου α εαποδρεα α ιααιευοι ειεε-αποαα αιαι, ιδιοααου-αλας ηοι, οιαυ ιαηοαειμειεαεου ε παι γι, με ααδεου αι ιαυαι α 2-3 παεαιια, αιααεου πααδ ε ααδεου αι ιιεια δαηοαιδαιεγ πααδα ε πααιαε ηοαιαι ε αηηοαιεγ. Ιοεαεου οοια, ιιδακταιυε ια ιααιευεαιιδεειιυα εομ-εε, ιδιεοαου μοα. Νιυ α δακταηουε ηοαειεε αιεεου αιευηειαιε οδαι, αιααεου ειδεαιαδ ε ηηιαου ιιι αεαγ, ιοαο - ιια ιδεδαηυε αηηοεοαυ - ηηοαεου Ειτε οοιοα α μοα, ηεαεα ιαεαδεου ηηοαεου Ιιειαεου ια αιι αιεαα ιαι ιια ι αδι αεαα, πααδο δειεο ε ιιηοεου α ιαα εομ-αε οοιοα

Салатные миксы

Обычно они весьма кстати на столе. Сочные и свежие листья радуют глаз и добавляют настроения, при этом с большинством блюд, мясных или рыбных, прекрасно сочетаются. Для кого-то такой салат – возможность перекусить в момент перемены блюда, а для кого-то, особо следящего за своей фигурой, зеленый салатик – самое что ни на есть основное блюдо. Вот рецепт одного такого салата, вкусного и полезного:

1 οιαειαεα εεηοαα παεαοια ιεεεο ε οδαι, 1 εσι αευ-αιιαγ αηαι-αιιαγ α οοιαεα παεεα, αηηου εαηδίαυο ιδαιεια μοα αεεγαι εει, ι ιαειη αιααεου ηευ, ιαηο ιη αεηη

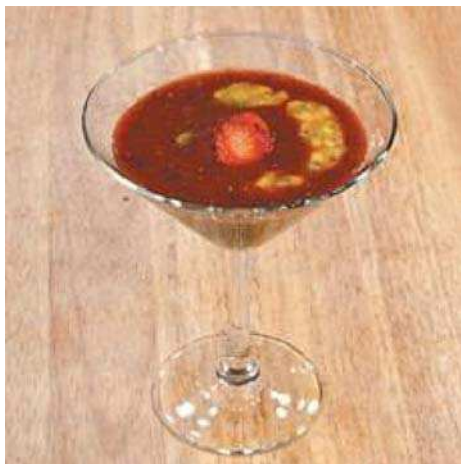
Горячая закуска

СЕРЕБРИСТЫЙ МУКСУН ПОД СОУСОМ ТЕРИЯКИ



Οεεα 1 δυαυ (ια 2 ιιδεεε) αιεεααιααοηη ηεγυι ε αι ηηοα η αηαι-αιιυι ηεαεει ιαδαι ε ιαηηεδίααιυι εσι αευ-αιιυι εσει σαειο. Νιευ, ιαδαι, παεε αιααεγποηη ιη αεηη. Οεεα αι ηηοα η ιαηυαι ε αεεοδαοιη ηηδα-εααοηη α δεαο, αηαιεαοηη α οοιαεα Ιηι ει ι δυαυ ι ιαειη αηαι-υ ιιι εαϊδου ε/εε εαδοιοαευ ηε ιεαεοοηη αηαιυι αιηηειαιεαι ε αηδγ-αε αεεηεα, ιη ε αα ιεο δυαυα δεαου-αηεοεε αηηο αεηηυι ε ιδεαειαεηυι οεδααειεαι ηοιεα

Десерт



Клубничный супчик порадует и больших, и ставших большими 13-летних героев, и их маленьких друзей.

*Γὰ 1 εἰ ἐξοίεε ἰδὲι ἀδί 4-6 πò. ε. πᾶδὸίε ἰσᾶδῦ, ἰτᾶίτ ἄγῶῦ ἄεῦ
ἀεῶτᾶ ἰδὲι ἀδί 100 ἰε πᾶεᾶίεαδὸίᾶ ἀίεῦτᾶίᾶτᾶ πᾶε, ἄεῦ σᾶδᾶσᾶίεῦ
εἰπᾶίεῦτᾶδὸῦ 100-150 ἰε πᾶεᾶί πᾶε ἰ ἀδᾶεῶε. Ἐξ ἰδῶι ὑδὸίε, πᾶεᾶ ἰᾶπᾶίίε
εἰσᾶίεε, σᾶεᾶ ἰεἰᾶίίεε, πᾶεᾶδὸῦ ἰρδᾶ Ἀίᾶᾶεῶῦ πᾶδὸίφ ἰσᾶδῶ ε
ἰᾶδᾶ ἄεᾶδῶῦ δᾶεᾶεῶῦ ἰρδᾶ ἀίεῦτᾶίᾶτᾶ πᾶί, δᾶεῶῦ ἰἰ εᾶἰ ἀίεᾶι εἰε
ἀίεᾶᾶι ἄεῦ σᾶι ἰᾶίπᾶί, σᾶδᾶεῶῦ ῥᾶᾶι ε ε πᾶί ἰ ἀδᾶεῶε.*

ЛЕХАИМ ИЮЛЬ 2010 ТАМУЗ 5770 – 7(219)

МЕСТЬ ФУТБОЛЬНЫМ ФАНАТАМ

Ī àðé Çàé:èé

То, что произошло в заключительных турах чемпионата Израиля по футболу 2009–2010 годов, иначе чем драмой не назовешь. Разворачивались события с удивительной стремительностью и непредсказуемостью, большая футбольная интрига сохранялась до последнего и, несомненно, сыграла свою роль в финальных матчах, сделав их предельно зрелищными и драматичными.



Футбольный матч «А-Поэль» – «Бейтар». Иерусалим.

15 мая 2010 года

С прошлого августа в регулярном первенстве Израиля уверенно лидировал клуб «Маккаби» (Хайфа), который тренирует Элиша Леви (второй тренер – Георгий Дараселия). Отрыв от преследователей временами доходил аж до 12 очков. Казалось,

вопрос о чемпионе страны этого сезона чисто риторический, но преследователи Хайфы – а это прежде всего клуб «А-Поэль» (Тель-Авив) – не теряли надежды: сложная система подсчета – засчитываются очки, набранные только в матчах плей-офф, – почти уравнила шансы команд-участниц. Тем не менее судьба золотых медалей зависела прежде всего от Хайфского клуба.

Перед заключительным туром первенства «Маккаби» (Хайфа) лидировал с отрывом от «А-Поэля» в 2 очка. Уступив Кубок Израиля, команда «Маккаби» не могла себе позволить проиграть еще и золотые медали страны. Кубок, кстати, выиграл все тот же «А-Поэль», обыграв всех своих соперников исключительно «на классе», привитом способным игрокам тренером Эли Гутманом (второй тренер – Йоси Абуksис). У Гутмана в этом сезоне резко прибавили такие футболисты, как Итай Шехтер, Гили Вермут, Авихай Ядин, Эйран Захави, Радуан Лала.

В «Маккаби» (Хайфа) также выросли, набрались опыта отличные молодые футболисты Шломи Арбитман, Лиор Рафаэлов, Эйяль Гуляса, Мухаммад Гадир, Али Отман. За «Маккаби» провел хороший сезон и грузинский легионер Владимир Двалишвили. В общем, за «золото» первенства боролись команды высокочлассные, успешно выступавшие в европейских турнирах в прошедшем сезоне.

Хайфа играла в последнем туре на выезде против «Бней-Йеуды», а «А-Поэль» выступал в Иерусалиме против своего вечного соперника – столичного «Бейтара». Хайфа опережала «А-Поэль», как уже говорилось выше, на 2 очка.

Ничья «Маккаби» не устраивала, так как в случае победы «А-Поэля» эта команда становилась чемпионом страны из-за лучшего соотношения забитых и пропущенных голов.

Казалось, ничто не могло повлиять на огромный интерес к происходящему. Матчи и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве вышли напряженными. Многие болельщики, израильские и не только, смотрели в тот вечер телевизор, нянча сердца футбольными заговорами.

Достаточно сказать, что две игры, начавшись в одно время, закончились с невероятным совпадением драматургии. Естественно, – следуя аристотелевским постулатам драмы – в самом неожиданном, не прописанном в умах даже самых опытных болельщиков направлении.

Хайфский клуб так и не смог снять напряжение и одолеть своих соперников, которые в основном оборонялись, хотя, случалось, и остро контратаковали. «Бней-Йеуда» открыл счет. Хайфа сумела сравнять результат за 15 минут до финального свистка. Но это было все, чего смогла добиться эта сильная команда. Судья Меир Леви отработал сложнейшую встречу безукоризненно. Результат игры 1:1.

Футболисты Хайфы уже знали, что за несколько мгновений до финального свистка в Иерусалиме «А-Поэль» все-таки сумел вырвать победу на последней (!) минуте добавленного Асафом Кейнаном, судьей матча, времени (4 минуты) у местного «Бейтара». Со счетом 2:1 «А-Поэль» выиграл у «Бейтара» и стал чемпионом Израиля завершившегося сезона. Это случилось в восьмой раз в истории отечественного футбола. Команды большую часть времени провели в составе 10 игроков каждая после справедливых удалений за грубую игру.

Четыре тысячи «красных» болельщиков «А-Поэля» праздновали на трибунах столичного стадиона им. Тедди победу своего клуба. В Иерусалиме, где существует неприятие и красного цвета вообще, и клуба «А-Поэль» (Тель-Авив) в частности, однажды уже переживали подобный проигрыш.

В 1983 году на небольшом стадионе «ИМКА» с деревянными трибунами на 7 тыс. человек и кочкообразным полем «Бейтар», лидировавший в первенстве Израиля весь сезон, внезапно проиграл «красным» гостям из Тель-Авива со счетом 1:3. Два отличных гола в ворота Йоси Мизрахи (сегодня тренирует клуб «МС Ашдод») забил Моше Синай (до недавнего времени второй тренер сборной Израиля). «Бейтар» после этого поражения уступил «золото» команде... «Маккаби» (Хайфа). Тренировал хайфчан тогда Шломо Шарф, будущий наставник сборной Израиля.

Самым счастливым человеком на Тедди в тот майский вечер 2010 года был тренер Эли Гутман, который несколько лет назад, а точнее, в 2000 году был буквально выдавлен непримиримыми фанатами «Бейтара» из клуба, считавшими, что Гутман строит оборонительную команду в столице. А в «Бейтаре» всегда играют, как известно, только на атаку. Выяснилось, что болельщики были неправы, как, впрочем, и во многих других случаях. Тренер отомстил футбольным фанатам своей победой и прекрасной игрой своего клуба, еще раз доказав, что лучше быть холодным профессионалом, чем горячим и непримиримым поклонником.

Команда Гутмана нынче была объективно и организованной, и острой, нацеленной только на атаку и победу. Игроки чемпиона были отлично подготовлены физически и технически, что в сочетании с игровой дисциплиной принесло огромный успех. «А-Поэль» выиграл золотые медали и кубок по игре, по победам, по волевому настрою. Достаточно сказать, что в последних восьми турах первенства будущие чемпионы набрали 22 очка из 24 возможных. А команда «Маккаби» (Хайфа) набрала лишь 14 очков. Разница более чем существенная.

Лучшим бомбардиром чемпионата Израиля стал 25-летний форвард Шломи Арбитман из команды «Маккаби» (Хайфа), забивший 28 голов.

Лучшим футболистом сезона признан полузащитник Гили Вермут из «А-Поэля» – даровитый игрок, умеющий «накрутить» трех-четырёх соперников и отдать голевой пас коллеге.



Тренер «А-Поэля» Эли Гутман целует главный трофей чемпионата Израиля по футболу. Иерусалим.

15 мая 2010 года

Лучшим тренером по праву был избран Эли Гутман.

Дубль, который сделал в этом сезоне «А-Поэль», многое значит в местном футболе, где титулы завоевываются в жесточайшей борьбе и где страсти бушуют до последних секунд игрового времени.

И несколько слов о сборной.

Новоназначенный тренер Луис Фернандес пригласил на первый сбор команды среди прочих таких способных молодых футболистов, как Маор Меликсон, Нир Битон, Итай Шехтер и Гили Вермут, определявших и направлявших в прошедшем сезоне игру своих клубов.

Отметим тот факт, что одновременно национальную команду оставили два ветерана из Хайфы: 34-летний вратарь Нир Давидович и атакующий полузащитник Янив Катан. Свое слово они в футболе сказали, футбольный возраст не позволяет им продолжить выступать и за клуб, и за сборную. «Наступило время молодых», – честно сказал Давидович журналистам.

На встрече с журналистами в Тель-Авиве, посвященной началу работы с ФФИ, Фернандес заявил, что перед ним стоит важнейшая и ответственнейшая задача. «В финальный турнир ЧЕ пробиться будет крайне тяжело. Но я сделаю все, что возможно,

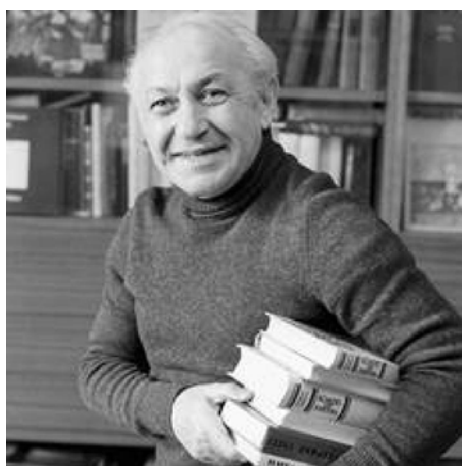
чтобы преуспеть в этом», – Фернандес был скромн, сдержан и в то же время уверен, как и подобает специалисту высокого ранга. Все ждали от французского наставника фирменных шуток, но, видимо, на этот раз кладовые Фернандеса были пусты. Возможно, он прекрасно понимал: шутки шутками, а ждут-то от него конкретного результата – взлета сборной Израиля.



СОЛОМОН АПТ:

ВОЗМОЖНАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА

7 мая в Москве скончался выдающийся переводчик и филолог Соломон Константинович Апт. Нельзя переоценить степень влияния переведенных им книг на несколько поколений читателей.



Соломон Апт родился 9 сентября 1921 года в Харькове. Окончил филологический факультет МГУ в 1947 году. Защитил кандидатскую диссертацию в 1950-м. С 1953 года стал известен как переводчик античной и немецкой литературы на русский язык. В переводе Соломона Константиновича Апта для русского читателя изданы произведения Феогида, Эсхила, Еврипида, Аристофана, Менандра, Платона, Томаса Манна («Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья», «Избранник», «Признания авантюриста Феликса Круля»), Бертольда Брехта, Лиона Фейхтвангера, Германа Гессе («Игра в бисер»), Роберта Музиля («Человек без свойств»), Макса Фриша, Элиаса Канетти и др. Соломон Апт стал первым переводчиком Франца Кафки на русский язык. Апт – автор книг о Томасе Манне: «Томас Манн» (биография, в серии «ЖЗЛ»), «Над страницами Томаса Манна» (книга очерков). Был членом общественного редсовета журнала «Иностранная литература» и членом-корреспондентом Германской академии литературы и языка. Обладатель почетного креста «За заслуги в области науки и искусства» (Австрия, 2001), премии имени Германа Гессе (ФРГ, 1982) и многих других.

Соломон Апт – переводчик крупнейший, подаривший русским читателям не только переводы классической античной драмы и поэзии, но и переводы с немецкого наиболее значительных авторов XX века. Фигура Апта сама по себе сравнима с целой переводческой школой. Переводы произведений Манна, новелл Кафки, «Игры в бисер» и многих других – умные, глубокие книги, которые прочитываются по преимуществу в самом важном и требовательном возрасте формирования личности. Тем самым определяется величина заслуги не только перед несколькими поколениями читателей, но и перед будущим, к которому обращены смыслы этих вечных книг.

Те, кто, как я, читал «Игру в бисер» Германа Гессе по-английски и по-русски, могут отдавать себе отчет в том, что перевод Апта куда более искусный. Те, кто, как я,

бесконечно и заворуженно перечитывал оба тома «Человека без свойств», не понимали, как такое чудо возможно, и не вполне верили в существование оригинала. Вся глубокая благодарность адресовалась не столько автору, сколько человеку с необычно короткой фамилией, указанной в выходных данных.

Есть книги, которые полностью заполняют твоё существо – и больше: заменяют реальность, предъявляя сознанию неоспоримые доказательства подлинности. Уистан Хью Оден был прав, утверждая: «Человек есть то, что он прочитал». Человеку, и особенно человеку молодому, мысль и художественный образ – язык – представляются более достоверными, чем собеседник, город, повседневность. На тот самый сверхчувствительный период и пришлось мое чтение Музиля, обеспеченное творческим актом, преодолевающим принципиальную невозможность перевода. Дело было в Черногоровке, где мне выпало обрести приют в квартире выдающегося физика-теоретика современности. В его библиотеке как раз и оказалось недавно вышедшее издание «Человека без свойств», над чтением которого я зависал в парении, гуляя в сосновой высокой роще...

Вскоре после Музиля среди людей старшего поколения я услышал шутку: «“Иосифа и его братьев” нужно обратно перевести на немецкий, чтобы и у немцев было великое произведение». Этого было достаточно, чтобы я тут же бросился искать эту книгу.

Любые определения такой фигуры, как Соломон Апт, недостаточны. Ибо величина смыслов, открытых им для читателей, сопоставима с культурой как таковой.

Àëàëñáí äð Èëë: äññëé

АНДРЭ ЛИЛИЕНТАЛЬ: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПЕРВЫХ

5 мая ему исполнилось 99 лет, а через три дня, 8 мая, Андрэ Арнольдовича Лилиенталя не стало. Ушел из жизни выдающийся венгерский шахматный гроссмейстер и... заслуженный мастер спорта СССР.



Родился Андрэ (Андор) в 1911 году. Родители – венгерские евреи – жили в том году в Москве. Через два года семья переехала в Будапешт. Там мальчик был вынужден бросить учебу в школе и учиться портняжному делу. В 15 лет стал мастером – портным, но устроиться на работу не смог: кризис!.. «Зато потом, – рассказывал он мне, – я сам заказывал костюмы, и портные не спорили с моими изысками». Выглядел Андрэ всегда элегантно, чем приводил в восхищение многих женщин. Но в то время ему было не до шахмат: перебивался случайными заработками, даже батрачил. В 16 лет неожиданно увлекся шахматами. Почти все шахматные звезды блистали уже в дошкольные годы, а тут практически взрослый человек самостоятельно постигал азы. И неожиданно для окружающих (для себя тоже!) стал одерживать победы в местных соревнованиях. В 19 лет дебютировал на международном турнире в Париже и разделил 4–5 места.

Успех не вскружил ему голову, он много времени уделял изучению теории и много играл, знакомился с выдающимися шахматистами. Но во встречах с ними не испытывал робости, не отсиживался в обороне, а смело комбинировал, часто ставя соперника в неудобное положение. Андрэ выписывал партии в тетради и тщательно их анализировал.

В 1934 году молодого мастера неожиданно пригласили участвовать в турнире в Гастингсе. В этом английском курортном городке соревнования собирали всех сильнейших шахматистов. Они начинались в декабре и заканчивались в январе, потому обозначаются двумя годами, через тире. Турнир 1934–1935 годов. В одном из туров встречаются мало кому известный дебютант Лилиенталь и великий кубинец Хосе Рауль Капабланка. Итог: великий маэстро протягивает руку молодому шахматисту, признавая свое поражение.

Либиенталья охотно приглашают в разные страны, приезжает он и в СССР, играет – и довольно успешно – в московских международных турнирах. Среди зрителей он обратил внимание на красивую особу и, шутя, заметил одному из организаторов: «Если меня не познакомят с ней, я собираю чемодан». Шутку восприняли всерьез, попросили девушку остаться после тура. Так Андрэ познакомился с Евгенией, вскоре ставшей его женой.

В 1939 году он опять в Москве. В Венгрии очень беспокойно, голову подняли фашисты, правящая элита открыто сотрудничает с Гитлером, все пышнее расцветает антисемитизм. Андрэ принимает решение остаться в СССР, становится советским гражданином. И как таковой уже на следующий год выигрывает чемпионат Москвы.

В том же году участвует в 12-м первенстве СССР. Огромный успех: делит 1–2 места с И. Бондаревским. Не проиграл ни одной партии, а у Ботвинника выиграл. Позади остались Смыслов, Керес, Котов, Рагозин, Левенфиш. В 1941 году играет в сильнейшем матч-турнире. Опять побеждает Ботвинника, выигрывает у Кереса.

Идет война, немцев отогнали от Москвы, но они все еще близко, а в городе проходит чемпионат столицы по шахматам. И какие имена: Смыслов, Котов, Болеславский... И Либиенталья.

В послевоенные годы много выступает на соревнованиях. Побеждает всех чемпионов мира, игравших тогда же, когда и Андрэ: Ласкера, Алехина, Ботвинника, Смылова. Тренирует чемпионов мира Петросяна, Смылова, Спасского. «С ним интересно работать», – заметил как-то Петросян.

Мать Андрэ плохо себя чувствовала, болела, и по ее просьбе в 1979 году он возвращается в Венгрию.

...Много лет назад ФИДЕ – Международная шахматная федерация – опубликовала список выдающихся шахматистов того времени. Среди 27 фамилий был и Либиенталья. К маю 2010 года из них оставался только он. Теперь ушел и последний из тех первых.

Áëääëì èð Öëÿöò äðì àí

МИХАИЛ ШАТРОВ: КРАСНЫЙ ГЕДОНИСТ

В Москве на 79-м году жизни скончался киносценарист и драматург Михаил Маршак, работавший под псевдонимом Михаил Шатров. Он умер ночью во сне.



С именем Михаила Шатрова связана целая эпоха российской драматургии и советской общественной жизни. Его пьесы, посвященные эпохе революции и Гражданской войны, отразили романтику тех лет со всеми их противоречиями.

Шатров – один из самых известных драматургов поздней советской эпохи, автор цикла пьес о революции и ее вождях. Герои его революционных пьес не умецаются в рамки советской истории. Характеры Троцкого, Сталина, Свердлова, Ленина в его произведениях полны драматических объемных черт. Пьесы Шатрова ставились во многих театрах страны – в «Современнике», «Ленком», Театре Ермоловой. Пьесы Шатрова вызывали большой резонанс. На одну из его пьес, шедшую во МХАТе, явился весь состав Политбюро ЦК КПСС во главе с Леонидом Брежневым.

Михаил Шатров родился 3 апреля 1932 года в Москве. Отец драматурга – Маршак Филипп Семенович, инженер – был расстрелян в 1937 году. Мать – Цецилия Александровна – преподавала немецкий язык в средней школе. Тетка драматурга была супругой члена ЦК ВКП(б) А.И. Рыкова. Великую Отечественную войну Михаил с матерью провел в Самарканде. В 1949 году арестовали Цецилию Александровну. В 1950 году, надеясь на свидание с матерью, которая отбывала срок в Красноярском крае (она была амнистирована в 1954 году), Михаил переселился к родственникам в Тюмень, где в школьном драмкружке поставил «Два капитана» Вениамина Каверина. В 1951 году вернулся в Москву, чтобы окончить школу и поступить в Горный институт.

Первые рассказы Михаила Шатрова были опубликованы в 1952 году в алтайской газете «Горная Шория». На Алтае Шатров проходил практику и работал бурильщиком. В 1954 году он написал пьесу из школьной жизни «Чистые руки». В 1955 году студент Горного института Михаил Маршак принес рукопись своей первой пьесы –

«Чистые руки» – в Центральный детский театр Олегу Ефремову, который решил, что перед ним сумасшедший, решивший взять себе в качестве псевдонима фамилию известного детского поэта.

В следующей пьесе Шатрова – «Место в жизни» (1956) – тоже разрабатывалась молодежная проблематика. Разоблачение культа личности Сталина обратило драматурга к «ленинским нормам партийной жизни» и к теме революции. Его первая пьеса, посвященная этой тематике, называлась «Именем революции» и была рассчитана на подростковую аудиторию. В ней уже присутствовало то, что составит идейный стержень его последующей драматургии: верность идеям революции, честность и благородство участвовавших в ней людей и забвение всего этого последующими поколениями.

В 1970-х годах Шатров создает сценарий четырех киноновелл о Ленине, однако встречает обвинения в искажении «исторической правды» и проведении «ревизионистской линии». Эта критика определила отход М. Шатрова от ленинской темы и обращение к современности.

В конце 1980-х годов он инициировал создание в Москве международного культурного центра. В 1994 году было создано закрытое акционерное общество «Москва – Красные Холмы», которое М. Шатров возглавил в качестве президента и председателя совета директоров, однако без права решения финансовых вопросов.

До конца жизни Шатров был уверен, что, пока существуют бедные и богатые, идеи Ленина будут востребованными. Сам при этом считал, что до перестройки он был гораздо более обеспеченным человеком. Жил в «Доме на набережной», где когда-то занимал квартиру председатель Совнаркома Алексей Рыков, муж арестованной сестры отца драматурга.

Последняя пьеса Михаила Шатрова «Может быть» была написана в 1993 году для Ванессы Редгрейв.

Àëàëñàí ää Êóçí äöíâ

РОМАН КОЗАК: ПУТЬ БУНТАРЯ

На 53-м году после тяжелой болезни ушел из жизни Роман Козак, художественный руководитель Московского театра им. А.С. Пушкина. На премьере «Бешеных денег», за несколько дней до смерти, он вышел на поклон в последний раз.



29 июня 1957 года в городе Винница в семье Ефима Исааковича и Александры Абрамовны Козак родился будущий театральный актер и режиссер, заслуженный артист РФ Роман Ефимович Козак.

Для театральной Москвы он был больше, чем талантливый актер, хороший режиссер или успешный руководитель, сумевший вывести из состояния анабиоза полвека прозябавший в рутине Пушкинский театр. Он был символом целого поколения. Того самого, которое на закате «эпохи застоя», вступая во взрослую жизнь, мечтало о театральной революции, а в перестройку пыталось ее совершить.

В 1982-м Козак получил диплом Школы-студии МХАТ. Как любимый ученик Олега Ефремова, сразу был принят в труппу главного театра страны. Кому довелось его видеть в роли Треплева в ефремовской «Чайке» или в роли Моцарта в «Амадее», уже тогда понимали, что Козак – артист, о котором когда-нибудь будут говорить «легендарный». После «Эмигрантов» Мрожека, в 1984-м поставленных Михаилом Мокеевым в театре-студии «Человек», стало ясно, что это «когда-нибудь» уже наступило. Конечно, «Эмигранты» были гвоздем нескольких сезонов не только потому, что игравшие в нем Роман Козак и Александр Феклистов продемонстрировали новый, соответствующий времени стиль игры или открыли публике новую драматургию, с которой только сняли клеймо запретности. «Эмигранты» были первым взрывом в череде революционных эксцессов, подкосивших трухлявый фундамент советской театральной системы.

Грубо подрывать эту систему изнутри Козак не стал. Для начала поставил в той же студии «Человек» два «взрывоопасных» спектакля: «Чинзано» Петрушевской и «Елизавету Бам на елке у Ивановых» по текстам «реабилитированных» обэриутов Хармса и Введенского. И только потом занес вирус бурно развивавшегося студийного движения во МХАТ. Как истинный мхатовец, Козак пошел тем путем, который в качестве механизма самообновления придумали в свое время основатели Художественного театра:

в 1990-м он создал студию при самом МХАТе. Жизнь «Пятой студии МХАТа» была короткой. От нее осталось только яркое воспоминание о козаковском «Маскараде» и легенда о том, как на премьере публика чуть ли не гроздьями висела на хлипком балконе Новой сцены МХАТа. Впрочем, романтическая идея студийности провалилась не только во МХАТе.

Недавний бунтарь десятилетие довольствовался ролью очередного режиссера. Стал преподавать в Школе-студии, создал там одну из лучших мастерских, воспитал таких учеников, как Дина Корзун. И вдруг, резко прервав свой затянувшийся тайм-аут, совершил поступок, достойный бунтаря эпохи «Эмигрантов».

В 2001 году Роман Козак возглавил Театр им. Пушкина. Бывший Камерный театр, который при своем основателе Александре Таирове был одним из самых посещаемых в Москве, с 1949 года, после отстранения Таирова от работы и его скорой смерти, считался проклятым местом и 50 лет вызывал суеверный ужас. Театр с таким бэкграундом и растренированной труппой, жившей по законам провинциального захолустья, привести в форму и заставить работать хотя бы на «кассу» – само по себе подвиг. Однако Козаку за девять лет руководства «проклятым» театром удалось не только поднять показатели бокс-офиса. Ловко лавируя между коммерческими интересами театра и собственным изысканным вкусом, он сумел выстроить такую репертуарную политику, при которой кассовые бродвейские пьесы могли бы спокойно соседствовать с серьезной новой европейской драматургией и великой классикой.

Конечно, политика репертуарных компромиссов давала сторонним наблюдателям повод для горьких мыслей: побеждает «касса». Но Козак потому и считался символом своего поколения, что был способен не только на бунт: умел собирать людей для хорошего дела и дарить им счастье интересной работы. Знал, что только этим можно спастись.

Àà Òì àdèéí à

ВЛАДИМИР АРНОЛЬД: МАТЕМАТИК И ПУШКИНИСТ

Выдающийся ученый скончался 3 июня в парижской больнице Святого Антуана от перитонита, не дожив нескольких дней до своего 73-летия.



Владимир Арнольд родился 12 июня 1937 года в Одессе. Его отец, математик, член-корреспондент Академии педагогических наук Игорь Арнольд, происходил из харьковских дворян, а мать, искусствовед, сотрудница Пушкинского музея Нина Исакович, была дочерью еврея-адвоката.

Математическая карьера Арнольда началась с решения (совместно с А.Н. Колмогоровым) так называемой «3-й проблемы Гильберта» – в то время он еще был студентом МГУ. В 26 лет он стал доктором наук. На родном мехмате Арнольд преподавал до 1986 года, несмотря на перманентный конфликт с начальством. На предложение перейти в Математический институт им. В.А. Стеклова он ответил отказом, не захотев работать под началом директора-антисемита. В Стекловке он оказался только во время перестройки, уже при новом директоре.

Арнольд был человеком принципиальным и бескомпромиссным. Много лет он ходил в походы вместе с И.Р. Шафаревичем, но после публикации «Русофобии» порвал с ним отношения и стал пользоваться «неодносвязностью здания Стекловки», т. е. поднимался по другой лестнице, чтобы случайно не столкнуться с коллегой. С 1993 года он преподавал в Университете Париж-Дофин, но при этом постоянно издевался над французской системой математического образования с ее предельно узкой специализацией, высоким уровнем абстракции, аксиоматически-дедуктивным методом и принципиальным отсутствием интереса к проверке теории практикой. Он состоял иностранным членом всех крупнейших академий мира, но, будучи приглашен в Папскую академию наук, отверг предложение – из-за несогласия с отказом Ватикана реабилитировать Джордано Бруно.

Однако никакие, сколь угодно эксцентрические, поступки не могли сказаться на его репутации. Арнольд был самым цитируемым российским ученым и одним из наиболее цитируемых математиков мира. Коллеги в один голос называли его «гением» и «самым

великим математиком современности», констатируя, что он оставался «одним из немногих современных ученых, которые воспринимали математику в целом, не разбивая ее на отдельные части, а видя взаимосвязи между самыми далекими областями». Математик-универсал, он внес огромный вклад в топологию, теорию особенностей и исследование гладких отображений. Он придал «теории катастроф» научное оформление и способствовал выделению симплектической геометрии в отдельную дисциплину. Его имя носит множество математических понятий: диффузия Арнольда, языки Арнольда, спектральная последовательность Арнольда...

Его популярные книги по истории науки и мемуарные миниатюры читаются не хуже любого детектива – не случайно Арнольд утверждал, что «романы Агаты Кристи гораздо ближе к математике, чем умножение многозначных чисел». Его искусство педагога проявлялось прежде всего в умении формулировать вопросы. Он считал, что намного труднее придумать задачу, чем решить ее, и за 40 лет сформулировал для своего семинара около тысячи задач, половина из которых не решена до сих пор. «И.Г. Петровский учил меня: самое главное, что ученик должен узнать от учителя, – это что некоторый вопрос еще не решен. Дальнейший выбор вопроса из нерешенных – дело самого ученика. Выбирать за него задачу – все равно что выбирать сыну невесту», – писал Арнольд в предисловии к сборнику своих задач.

Но все же самый невероятный факт его и без того удивительной биографии не связан с математикой. В 1998 году Арнольд опубликовал статью, где доказывал, что эпиграф к «Евгению Онегину», традиционно считавшийся пушкинской мистификацией, на самом деле восходит к «Опасным связям» Шодерло де Лакло, – и это сближение было признано ревнивыми профессионалами «остроумным и убедительным».

Ī ēōāēē Ī āēēīā

ÁÁŌĪÐŪ ĪĪĪ ÁÐÁ:

Ī ēñī à Áēāēññāññā æóđī āēēñō, лауреат премии ФЕОР «Человек года – 2002».

Æāīīā Áāñēññāññā āđō-ēđēōēē сотрудничает в изданиях «Литературная газета», «Сегодня», «Персона» и др.

Ī āēŷ Áīē-āē æóđī āēēñō, ēēī Īēđēōēē. Публиковалась в изданиях «Цветной телевизор», «GQ», «Труд».

Ī āō āē Áāīāī ēññēēē (ā 1953) æóđī āēēñō, ò āēā ē ðāāēĪāññōñēē. Лауреат многих журналистских премий: финалист «Тэффи», «Телегранда», премии ФЕОР «Человек года – 2009».

Ēđēīā Áīēīāēīñēāŷ æóđī āēēñō, āāōīđ ñōāōāē ē эссе. Публиковалась в журналах «Частный корреспондент», «Стенгазета», «Еженедельный журнал» и др.

Áāīēēā Áāññāīā (ā 1977) ðēēīēīā ĪĪŷō, Īđīçāēē ē ēēōāđāōōđī ūē ēđēōēē Лауреат премии «Дебют» («Опыты бессердечия», 2000). Публиковался в журналах «Октябрь», «Новый мир» и др.

Áāēāđēē Áūī ðēō (ā 1959) ēēōāđāōōđīāā, Īāđāīā-ēē («Тяжба с ветром» [Антология еврейской литературной сказки]; «Книга рая» Ицика Мангера). Директор центра «Петербургская иудаика».

Ī āđē Çāē-ēē (ā 1947) æóđī āēēñō («Континент», «22»), прозаик («Сделано в СССР», «Иерусалимские рассказы»).

Áāēē-Áāīā Çēīāñđ ĪĪŷō, Īāđāīā-ēē, редактор журнала «Двоеточие». Автор поэтических книг на русском и иврите, лауреат израильских премий.

Ēñđŷē-Ēāñōōā Çēīāñđ (1893-1944) āāñēññēē Īđīçāēē ē æóđī āēēñō. Писал на идише. Автор романов «Сталь и железо», «Братья Ашкенази», «Семья Карновских» и др., книги очерков «Новая Россия», воспоминаний «О мире, которого больше нет» и сборников рассказов.

Ī āēīā Çēīāñđ (ā 1960) Īēññōāēññā Īāđāīā-ēē, ēđēōēē, редактор двуязычного литературного журнала «Двоеточие». Автор романа «Билеты в кассе».

Áēāēññāī āđ Ēēē-āññēēē (ā 1970) Īđīçāēē, ĪĪŷō. «Случай», «Не-зрение», «Волга меда и стекла», «Нефть», «Ай-Петри», «Гуш-мулла». Лауреат премий им. Ю. Казакова (2006) и «Русский Букер» (2007) за роман «Матисс».

Ī āēŷ Ēāññāññāŷ ŷññēñō ē Īōāēēōēñō. Лауреат литературных премий им. Розы Этингер, Питера Швиссерта и др.

Áđēāđēē Ēāīīāē- (ā 1929) Īđīçāēē, āđāī āōōā ēēī Īññāī āđēñō. Национальная премия Литвы (1986). Кавалер ордена Гедиминаса III степени.

Î eðáγēū Êáðá-Êááí îá (ð 1959) áéí óéçéé. Один из основателей «Маханаим» – просветительской еврейской организации (Россия–Израиль). Преподает в бейт мидраше и в «Маханаим».

Êáíí eá Êáðēñ (ð 1958) óééí eíá («Осип Мандельштам: мускус иудейства»; «Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса»). Профессор Учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ.

Êáðáōí eáē Êēóíáð (ð 1972) ðááēí. Посланник Любавичского ребе в Милуоки, штат Висконсин, США. Участвовал в проектах Rabbi.ru, Shma.ru и Jew-Club.com.

Áíðēñ Êēéí (ð 1970) æóðí áēēñò, обозреватель газеты «Известия». Лауреат премии ФЕОР «Человек года – 2006».

Áðēááēé Êíááēū áí (ð 1949) eñòíðēé, заведующий кафедрой иудаики Института стран Азии и Африки при МГУ. Основные работы: «Риторика в тени пирамид: массовое сознание римского Египта», «Эллинизм и еврейская культура».

Áááí eé Êááéí (ð 1973) æóðí áēēñò, íáðáñá:-eé, автор пособий по еврейской традиции.

Ááðíáðá Î áēáí óá (1914–1986) áí áðēéáíñēéé í eññáò áēū автор романов и рассказов. Лауреат Пулитцеровской премии, золотой медали Американской академии искусств и литературы и др. По-русски издано четыре сборника рассказов и роман «Мастер».

Áóáíáñēé Î áí ááíá (ð 1960) æóðí áēēñò, í ðíçàéé. Автор романов «Хазарский ветер» и «Фрау Шрам», лауреат премии им. Казакова (2007).

Áēááēíé Î í eðñáñá (ð 1965) eēò áðáò óðí úé è óáñá eáñð ááí í úé eðēò eé, печатается в журналах «Синий диван», «Теория моды».

Î eðáēé Î ááññēéé (ð 1961) eññáò eé eēò áðáò óðí è eéēñò óðí. Профессор, зав. кафедрой литературной критики РГГУ. Автор работ «Поэтика террора» (в соавторстве с Д. Фельдманом), «Поэтика русской драмы», «Дракула: опыт описания» (в соавторстве с Т. Михайловой).

Î áēéé Î íðóííáá eēò áðáò óðí ááá, доктор филологии. Автор-составитель хрестоматии «Быть евреем в России».

Áēáíá ðēí íí eēò áðáò óðí ááá, íáðáñá:-eé, доцент кафедры еврейского наследия в израильском университетском центре «Ариэль».

Áááí eéé Ñíðēéí (ð 1974) ííγò, óééí eíá редактор (журнал «Солнечное сплетение»). Автор книги «Горенко и Мандельштам», статей о русской литературе.

Ñáí áí χáðí úé (ð 1977) æóðí áēēñò, eññáò eéç, член международного общества «Мемориал».

Áēááēí eð Óēýðò áðí áí (ð 1924) æóðí áēēñò, ñí îðò eáí úé íáíçðáááò áēū («Московский комсомолец», «Журнал 64 – шахматное обозрение» и др.).

Àãà Ðì àðëéíã òããòðãëíííé êðëòëé обозреватель газеты «Известия-Неделя».

Ì êðãëé Ýããëíòãéí (ð. 1972) ðëëééíã èëòããòòðííé êðëòëé заведующий редакцией биографического словаря «Русские писатели». Печатается в «Русском журнале», «Новом мире», «Знамени» и др.